

ПОДЪЁМ



- Год литературы в Воронеже, культурной столице СНГ: писатели Республики Казахстан в журнале «Подъём»



- «Чужой» – новые рассказы воронежской писательницы Натальи Моловцевой



- «Страницы Великой Победы»: роман Ефима Гаммера (Израиль) «Из детства уходили на войну»



- «Весенние мотивы впечатлений» – вернисаж фотохудожника Сергея Смирнова

Ежемесячный
литературно-художественный журнал



ПОДЪЁМ

Издается
с января 1931 года

Главный редактор
Иван ЩЁЛОКОВ

Редколлегия:

АВРУТИН А.Ю. (Минск, Беларусь)
АГЕЕВ Б.П. (Курск)
АКАТКИН В.М.
АРШАНСКИЙ В.С. (Мичуринск)
БОНДАРЕВ Ю.В. (Москва)
ГОЛУБЕВ А.А.
ЖИХАРЕВ В.И.
ИВАНОВ Г.В. (Москва)
КАН Д.Е. (Новокуйбышевск)
КОНДРАТЕНКО А.И. (Орел)
ЛАПИН А.А.
ЛЮТЫЙ В.Д. — заместитель главного редактора
МИЗГУЛИН Д.А. (Ханты-Мансийск)
МОЛЧАНОВ В.Е. (Белгород)
НЕСТРУГИН А.Г.
НИКИТИН В.Н.
НОВИЧИХИН Е.Г.
НОВОХАТСКИЙ В.Е. — ответственный секретарь
ПАВЛОВ Ю.М. (Армавир)
ПЕРМИНОВ Ю.П. (Омск)
ПОНОМАРЁВ А.А. (Липецк)
РОМАНОВСКИЙ А.Г. (Харьков, Украина)
СКИФ В.П. (Иркутск)
СЫРНЕВА С.А. (Киров)
СЫЧЁВА Л.А. (Москва)
ШАЦКОВ А.В. (Москва)
ШЕМШУЧЕНКО В.И. (Санкт-Петербург)
ЯКУНИНА Г.П. (Владивосток)

Воронеж

4 ■ 2015



В НОМЕРЕ:

ПРОЗА

Наталья МОЛОВЦЕВА. **Чужой**. Рассказы 4
Ефим ГАММЕР. **Из детства уходили на войну**. Роман . 90
Анатолий КРИЩЕНКО. **Ветушка калинушки**. Рассказ .. 149
Валерий АРШАНСКИЙ. **Звезда Альтаир**. Рассказ ... 158

ПОЭЗИЯ

Сагидаш ЗУЛКАРНАЕВА. **Не плачь стихами,
слушай голос мира**. Стихи 17
Вера ЧАСОВСКИХ. **Птица солнечного лета**. Стихи ... 166

**ГОД
ЛИТЕРАТУРЫ
В КУЛЬТУРНОЙ
СТОЛИЦЕ СНГ**

**Писатели Республики Казахстан — на страницах
журнала «Подъём»**
Валерий МИХАЙЛОВ. **Касаясь неба и земли**. Стихи . 22
Раушан БАЙГУЖАЕВА. **Мамина песня**. Повесть 26
Галым ЖАЙЛЫБАЙ. **Черный платок**.
Главы из поэмы-реквиема 50
Любовь ФЕОФАНОВА. **Синь-солончак**. Стихи 54
Сергей КОМОВ. **Попутчица**. Рассказы 57
Надежда ЧЕРНОВА. **Казачка-жизнь**. Стихи 67
Амантай УТЕГЕНОВ. **Восточные строки**. Стихи 72
Николай ЗАЙЦЕВ. **Возвращение памяти**. Рассказ 75
Илья КУЛЁВ. **Душа неумная**. Стихи 79
Любовь ШАШКОВА. **Девичьи потешки**.
Из цикла «Времена года» 81
Жизнь предсказуема только слегка. Стихи.
(Предисловие Евгения ТИТАЕВА) 84

**СТРАНИЦЫ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ**

Николай КАРДАШОВ. **Был бой у разъезда Пухово...**
(Школьная тропинка к истории Отечества) 169
Леонид АНТИПКО. **Старые письма** 172

ИСТОКИ	Александр ВЫСОТИН. Ратные поля России. Бородино: «Иль победить, иль пасть...» Эссе 179
МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ	Александр МАЛЫЦЕВ. Не забывается. (Украинский разлом проходит через человеческие судьбы) 195
ПАМЯТЬ	Нам жить и помнить. О жизни и творчестве писателя Валентина Распутина 200
КРИТИКА	Анна ГРЯЗНОВА. Отыскивать себя в потоке времени 217 Татьяна ТЕРНОВА. Нереализованный соблазн. (Проза писателя Александра Бунеева в оценках исследователей литературного процесса) 219
ОБЩЕСТВО	Мат — вне поля культуры. По материалам «круглого стола» на тему «Язык воронежских писателей: норма и традиция» ... 223
ТОЧКА ЗРЕНИЯ	Станислав ХАТУНЦЕВ. «Оптинский отшельник» в кругу учеников. (Новая книга Ольги Фетисенко о философе К.Н. Леонтьеве) 236

Вниманию читателей!
Заработал новый сайт журнала «Подъём»:

<http://www.podiemvrn.ru>

Подписные индексы: агентство «Роспечать» 73312; МАП 51228



Наталья Николаевна Моловцева родилась в селе Константиновка Ромодановского района Мордовской АССР. Окончила факультет журналистики Московского государственного университета. Работала в газетах Магаданской, Сахалинской, Воронежской областей, Якутской АССР. Публиковалась в газете «Литературная Россия», журналах «Молодая гвардия», «Подъём», «Странник», «Ковчег» и сборниках прозы. Автор книг прозы «Меня оклики», «Тонкий серпик луны». Член Союза писателей России. Живет в городе Новохопёрске Воронежской области.

Наталья Моловцева

ЧУЖОЙ

Рассказы

Он не знал, откуда пришел. О чем и сказал матери, когда вошел в сознательный возраст и понял, что у него нет, как у других сверстников, отца. Провал и темнота — вот что чувствовал Ким, когда задумывался о своем происхождении.

— Да какая темнота, — не согласилась мать. — Был у тебя отец, был.

Путаясь и запинаясь, она принялась рассказывать ему о том, как уезжала из родного села на заработки на шахты (родной дядька, материн брат, уговорил), ну и познакомилась там с парнем. Он работал под землей, она — наверху, выдавала каски и лампы шахтерам. Поначалу здорово робела — чужая земля, чужие люди, а тут вдруг раз — подошел парень, да так хорошо улыбнулся, что у нее сердце затрепетало, отозвалось на ту улыбку теплой, возникшей где-то глубоко внутри (у сердца?) волной.

— Ну, и где же он теперь? — отважился на другой (начал выяснять, так уж до конца) вопрос сынуля.

— Да кто ж его знает... Приехала однажды на шахту дивчина чернوبرова да гарна, и оказалось, что она его невестой была. После этого он только разок ко мне и подошел. Прости, мол. Собралась я да и вернулась обратно. В родной колхоз.

Мамка глядела в окно, но Ким все равно заметил, что глаза у нее на мокром месте. Ну, и чего человека донимать...

И все-таки, когда закончил восемь классов и поступил в педучилище, он заявил матери:

— Хочу на ту шахту съездить. На него поглядеть.

Мамка поняла, о ком речь, и в глазах ее возник вопрос: зачем? Но вслух его произносить она не стала, сказала только: лет-то сколько прошло... дядьки уже и в живых нет, а детки его Кима никогда не видели и, стало быть, не узнают.

— А зачем мне надо, чтобы узнали? Пустят переночевать — и ладно.

На родной станции сел на поезд, вышел в Макеевке. Дальние родственники, доселе ни разу не видевшие его, приняли, тем не менее, хорошо. Правда, когда узнали, зачем он приехал, только руками развели:

— Э-э, друг... Там большая семья. Куча детей. Жинка шибко боевая...

Но он все-таки пошел. Увидел: сидит во дворе, на бревнышке, широкоплечий плотный мужчина, задумчиво покуривает папироску. Ким уже за щеколду калитки взялся, но тут из сеней раздался женский голос:

— Мыкола, подь сюды.

Мужчина нехотя поднялся, а он подумал: и впрямь — зачем я в их жизни объявляться буду?..

Так ничего та поездка и не прояснила. Разве что одно: как была у него одна только мамка, так и будет.

И тогда он перестал об этом думать — откуда пришел.

Учитель рисования — такая ему светила профессия после окончания педучилища. Мать радовалась: в тепле, чистоте, среди умных людей...

Но в его сознании и миропонимании уже случился переворот. За время учебы (это тебе не школа) хлебнул вольницы, пристрастился читать разные книжки. Пристрастился, чего греха таить, выпивать. Часто было не на что, но иногда они с Колькой Чепурновым сбрасывались на бутылку «Солнцедара» и шли на речку, выпивали и закусывали уведенным из столовки хлебом. Чтобы было не так пресно, прикусывали кисленький щавель, его на приречном лугу много росло. Пили не до угару, а только чтобы свободней было о самостоятельной жизни говорить, которая — вот она — совсем скоро.

— В школу идти? Да ну ее, эту нудь.

— А куда? — спрашивал долговязый, с усыпанным веснушками лицом Колька.

— Черт ее знает.

Ким чувствовал, что взял от своего преподавателя все, что мог взять. Хотелось бы больше, но больше тот дать не мог. Эх, поучиться бы еще в Москве... Да разве содержать их матерям будет под силу? Они и здесь-то — из последних сил...

С работой все получилось неожиданно просто: когда он приехал на последние каникулы домой, председатель колхоза предложил:

— Плакаты, диаграммы, лозунги... афиши в клуб. Пойдешь?

Он хотел сначала отказаться — думалось-то, мечталось о другом, но потом, поразмысливши, согласился. Зарплату председатель обещал не сказать, чтобы большую, но топку на зиму на те деньги купить было можно. А поднакопивши, и обновки справить. Тем более что пришла пора влюбиться.

С Ниночкой они жили рядом, и доселе он ее только как соседку и вос-

принимал. Вечно в домашних заботах (детей в семье было много), вечно недочесанная, одетая кое-как. А тут увидел ее на танцах принарядившуюся: щеки пылают, глаза искры мечут — будущая рембрантовская женщина...

Домой — соседи же — пошли вместе. Аким решил взять Ниночку за руку. А у калитки так и вовсе осмелел — полез целоваться. Ниночка решительно отстранилась:

— Ты че, Ким. Я мечтаю... ну, пусть он будет хотя бы городской.

На этом бы и остановилась. Нет, пошла дальше:

— Ты мало того, что не городской. Ты хоть и нашенский, а все равно какой-то чужой. Не работаешь, например, а только рисуешь.

И тогда ему стало ясно: мало того, что он не знает, откуда пришел, он еще всегда будет жить один. Один с таким именем на селе. Один по судьбе...

Мать назвала его Акимом — в честь своего отца, не вернувшегося с войны. Но кого сейчас так называют? В школе его быстро переделали в Кима, и мать со временем тоже привыкла так называть...

Одиночкой-затворником после отставки, которую ему дала Нинка, он, конечно, не стал; когда жизнь круто поменяется и ему придется зарабатывать на жизнь уже на городском рынке, девахи-оторвы будут появляться в его жизни одна за другой, но никто не задержится с ним надолго. Одна, самая умная, сказала прямо: «Все у тебя как-то зыбко, ненадежно... Нынче картину удалось продать, а завтра?»

Получив очередное подтверждение догадке — один по судьбе — Ким только яростнее налег на работу. Еще в колхозный период своей творческой жизни, положив однажды перед собой ватманский лист бумаги с тем, чтобы изображать очередную диаграмму, он принялся вдруг набрасывать женский портрет: барышня в шляпке, в полуоборота к зрителю, глаза не горят, а лампадно светятся, и как бы о чем-то вопрошают... Чего нет в жизни — пусть будет в картинах. Хотя бы здесь — пусть дышат духами и туманами...

С тех пор так и повелось: то диаграммы и графики, то женские портреты. Так что, когда колхозы приказали долго жить, он уже знал, что и в начавшейся новой, странной жизни не пропадет. Жить будет в селе, картины на продажу возить в город.

Пошел на пилораму, выпросил у школьного еще товарища дощечек. «Бери, скоро брать будет нечего», — равнодушно сказал Витек. Из дощечек он мастерил рамки. Краски и холст покупал. Народу надо было «по-красивше» — и он рисовал натюрморты с красивой посудой, сирень в вазе, сирень, заглядывающую в окно... Сам про себя он пренебрежительно называл эти картины «открытками». И однажды взял и срисовал с листа из цветного журнала церковь Покрова на Нерли. Картину никто не брал, народ шел мимо. «Ничего-ничего, дождусь своего покупателя. Сколько можно им потакать»...

Но даже цветы стали брать уже неохотно. Народ сидел без денег. Потом появились богатенькие — в малиновых пиджаках, с золотыми цепями на волосатой груди. Этим — большие полотна подавай. И какие там барышни в шляпках — надо, чтобы бабы были почти не одетые, а лучше всего — нагишом...

Однажды рядом остановилась молодая женщина. Поднял глаза — Ниночка. Он знал, что она уже давно живет в городе, но встретиться не получалось. И вот...

— Ой, Ким... Как хорошо-то...

— Что хорошо? Что встретились?

— Рисуешь хорошо. Особенно вот эта...

Ниночка глядела на «открытку»: посреди озера остров, на нем тоненькая рябинка, а с берега тянет к ней руки-ветви кряжистый дуб.

— Как живешь-то? — вроде бы равнодушно поинтересовался он.

— Да так...

Стояла, глядела с грустинкой.

— Раз нравится — бери.

Она полезла в сумочку за деньгами.

— Бери, я сказал. Дарю.

— Ой, Ким...

И поцеловала. Быстро так. Словно украдкой...

В тот вечер он вернулся домой, сильно выпивши. Мать не ругалась (она никогда не ругалась), молча поставила перед ним тарелку с супом. Села напротив, смотрела, как он ест, подперев голову рукой. Вздохнула, высказав заветное:

— Женился бы. Что на ней, на Нинке — свет клином сошелся?

— Не сошелся, — согласился он. — Сегодня я это понял.

— Так чего же? — обрадованно встрепенулась Маруся.

— Ложки, плоски, поварешки... Зачем?

— Как зачем? Все люди так живут.

— Вот! «Все люди так!» А я не хочу! Понимаешь: не хо-чу!

Маруся знала, что теперь надо молчать. А то заходит по хате, начнет махать руками и извергать из нутра незнакомые, непонятные ей слова. В такие минуты она готова была согласиться со своей молодой соседкой, несостоявшейся невесткой: и впрямь — чужой. Уж матери-то можно спокойно сказать. А у него — все на взводе, все на нерве...

Тихонько поднялась и пошла из дома куда-нибудь.

При новой жизни появилось в селе два магазина, где, как в городе, стояли у стены столики, и можно было взять пива или чего покрепче и выпить, как говорится, не отходя от кассы. Он ходил к Наде — Надя была приветливой. Нальет с улыбкой, в душу не лезет. Попробовала однажды про «женился бы» сказать, он ей — про ложки, плоски, поварешки, и она неожиданно согласилась:

— И то правда.

Смотрел на нее и думал: эх, надеть бы на нее шляпу да платье в кружевах — вот и Прекрасная незнакомка. Над лицом и работать не надо. Лицо — из девятнадцатого века. Ей бы в каретах по балам разъезжать, а ее жизнь за прилавок поставила...

При новой жизни появился в селе батюшка. Был учителем — стал священником. Выходило, оба они своей профессии изменили. Батюшка по этому поводу задумчиво говорил:

— Есть профессия, а есть призвание.

В магазин он заходил за хлебом и колбасой и иногда, усталый, присаживался рядом с Кимом. Возрастная граница их разделяла не шибко большая, к тому же держался батюшка демократично, да и общая профессия их, что ни говори, сближала, вот почему говорить с ним у Кима получалось запросто. Однажды он спросил:

— Ну, со мной все проще. А вот ты... объясни мне, зачем ты надел рясу?

— И с тобой все не так просто, — не согласился батюшка. И совсем уж задумчиво добавил: — Мир вообще сложно устроен. Во всяком случае, одними законами физики его не объяснить.

Непоседа батюшка (в сорок лет летал по селу, как подросток) срывался с места и бежал по своим делам, которые закончились, в конце концов, тем, что закрытая по предписанию санэпидстанции баня (в селе, принявшем немало постороннего люда, участились случаи заболевания сифилисом) начала превращаться... в храм. Усталые от жизни бабенки и крепкие еще старухи дважды побелили здание изнутри и снаружи; Витек, заскучавший без лесопилки, разгородил помещение надвое: часть поменьше — для батюшки, откуда он будет начинать и вести службу, часть побольше — для народа, который придет молиться. Старухи принесли иконы, сохраненные из прежней, большой и красивой, но порушенной в тридцатом году церкви. С тем батюшка и начал службу, в первой же проповеди заявив:

— Раньше мы омывали здесь свои тела, а теперь будем очищать души...

Батюшка умел говорить такие слова, что когда он произносил проповеди, тишина в новоявленном храме стояла благоговейная. А когда при церкви, его же стараниями, появился свой хор, когда начались полноценные богослужения — народ сюда потек из других сел и даже из райцентра. Венчаться, отпевать усопших, крестить детей... Батюшка сопротивлялся, но приезжие упорно стояли на своем:

— Нет, только у вас хотим.

Пришел срок, и над церковью появился купол с крестом. Ким шел однажды мимо, глянул художническим глазом и поразился: от бани не осталось и следа; храм Покрова на Нерли — вот что стала напоминать сотворенная батюшкиной волей сельская церковь.

С началом весны заметила Маруся, что сын стал где-то пропадать, домой приходил совсем уж поздно. Тревожилась: опять в магазине засиделся? Спаивают народ, а называют это «культурным отдыхом»...

— Ты что-то и картины свои забросил, — отважилась она на вопрос.

Сын отрешенно молчал.

— Картины-то чего забросил? — решила не отступать она.

Посмотрел, словно от сна очнулся.

— Ага, забросил. Чтобы все силы бросить на одну.

— И что же это за картина?

Ким опять долго не отвечал. Маруся уже собралась уходить из дома (пусть сам супу нальет), как вдруг услышала:

— Христа рисую.

— Кого-кого?..

— Сказал же — Христа.

Теперь пришла очередь помолчать Марусе. Она собирала мысли: ни в свою, из бани сотворенную, церковь, ни в какую другую сын сроду не ходил, и вдруг...

— Батюшка, что ли, уговорил?

— Батюшка, батюшка...

Она уже несла на стол тарелку супа:

— Ешь. Питай организм.

— Вот-вот, организм... Ты что, думаешь, человек — это только тело?

— А чего же еще?

— А душа? — уже начинал сердиться сын. — Без души человек был бы простым куском мяса.

— Это тебе тоже батюшка сказал?

— Я это и без батюшки знал. Все знаем. Только предпочитаем не помнить.

— Ну-ну... ешь.

Маруся глядела на сына и страдала: исхудал-то... Кожа да кости. Уж не заболел ли? А там ведь, поди, работа тяжелая...

— Большая картина-то?

— Весь купол. Изнутри.

«Спаси и сохрани», — вспомнила Мария из детства. Весь купол... Как он туда забирается-то — на верхотуру?..

Старалась с тех пор кормить его получше. Но сын все равно таял на глазах. Стало понятно: болезнь и вправду в нем завелась и безжалостно вершила свое подлое дело. Маруся раздобыла мяса, стала варить мясные щи. Прознала, что большая польза бывает от геркулесовой каши — стала и ее варить по утрам. Да ведь он две-три ложки съест — остальное ей оставит.

Поскорей бы уж там, в церкви, дела закончил...

И такой день пришел: сын пришел усталый, как никогда:

— Все, спать завтра буду до обеда.

Однако не встал и к вечеру...

Батюшка похлопотал о машине. Кима отвезли в больницу. Там кололи уколы, давали таблетки, но назад привезли еще худей.

— Чего тебе хочется поесть? — жалобно спрашивала Маруся сына.

— Не знаю.

Метнулась к соседке, принесла остатней — она слаще первой — клубники. Только две ягодки и съел...

Хоронило чужого все село. И плакало, как по родному. Батюшка сам читал Псалтирь, хор пел так, что до мурашек пробивало. Маруся сидела у гроба каменным изваянием, на вопросы отвечала ничего не понимающим взглядом. Ее и спрашивать перестали.

Не заговорила она и в другие дни. Приходили люди, видели: сидит, смотрит на сыновы картины.

Но однажды вдруг встала и пошла в церковь. Служба уже закончилась, народ разошелся, только батюшка виднелся в раствор Царских врат. Подняла глаза вверх — и обомлела: сверху прямо в душу (вот когда поняла про душу) смотрели глаза, которые знали *всё*. Про нее и про весь этот мир, юдоль земную. *Всё и всех* вобрали в себя эти глаза, всех обнимали и утешали, даруя людям терпение и силу пройти отмеренный участок земного пути.

— Батюшка, как же он... смог? Выпивал ведь... с женщинами грешил...

Батюшка, неслышно подошедший к ней, терпеливо принялся разъяснять:

— Если бы ты читала Святое Писание, знала бы, что Господь всех любит. Даже грешников. И всем дает свои милости. Вот и сыну твоему... Ведь талант-то свой он успел реализовать! Что было ему определено — сделал!

— Кем определено?

— Эх, Мария... Да ведь Господь сотворил нас по образу и подобию своему. Господь — творец. Надо ли говорить дальше?

— Кажется, разумею, батюшка. Только Он велик, а мы...

— А мы малые мира сего. Но искра Его есть в каждом. Да не каждый ее чувствует, дает ей развитие. Твой Аким сумел. И успел...

Мария опять подняла глаза. По образу и подобию... Ее сын носил такие же длинные волосы, так же открыто было его лицо. Батюшка, конечно, про другое подобие говорил, но ей и такое сходство тоже ра... радостно. Какое невозможное слово сказалось-вырвалось из груди... И вслед за ним открылось: вот и нашел сынок своего Отца...

— Батюшка, можно я буду приходить, полы здесь мыть? Или еще чем помогу.

— Приходи, Мария, приходи.

Маруся низко поклонилась на иконостас, подняла руку ко лбу, перекрестилась.

Она была уже у дверей, у выхода, когда батюшка окликнул с амвона:

— А тебе известно, что отца девы Марии тоже звали Иоакимом?

Шла домой и думала: зачем, для чего он ее об этом спросил?..

АМБРОЗИЯ

...И вот когда она, в десятый раз услышав биение сердца будущего человечка, когда — в десятый раз! — подготовилась к встрече с ним, когда их сердца, казалось, уже начали перекликаться, но оно, маленькое, такое желанное и долгожданное, опять остановилось перед тем, как объявиться на этот свет, а лучший врач-гинеколог района только развела руками: «Это необъяснимо!», и она вернулась домой, заново узнавая родные стены, окна, любимую оранжевую клеенку на обеденном столе и в десятый раз услышала: «Да какая ты женщина, если не можешь родить мне ребенка?» — тогда она сказала:

— Давай возьмем малыша из детдома.

Целую неделю муж пил и куролесил; охочие до чужих мелодрам соседки передавали: вчера ночевал у Верки, а позавчера у Надьки... а сегодня... Сегодня и вовсе привел очередную пассию домой, и она, бессонно глядя в потолок, слушала доносящиеся из соседней комнаты сдавленные стоны и скрип кровати, повторяя бесчисленное количество раз: *как больно в марте тает снег... как больно ...* Но, когда она поднялась и стала собираться, чтобы уйти из дома, он непонятным образом учуял это и холодно сказал той, другой: «Вали отсюда». Темная тень мелькнула в проеме двери... Согрев чайник, она позвала мужа к столу. Упрямо не глядя на нее, он сел напротив. И она сказала опять:

— Давай возьмем ребеночка из детдома.

Алексей поднял на нее чужие, замороженные глаза, а потом вдруг вскочил, вытащил из брюк новый кожаный ремень и принялся охаживать ее по враз согнувшейся спине, по рукам...

Сестра на другой день возмущалась:

— Ты дура, че ли? Двадцатый век на дворе, социализм пережили, до коммунизма не дожили, но это ведь какое-то средневековье! Я бы в милицию пошла.

Зима все-таки отпустила свои скрепы, и снег растаял. Она выходила во двор, и, кажется, не дышала — пила губами потеплевший, влажный

воздух. Однажды он остановился рядом (то все мимо, мимо...) и, преодолевая себя, сказал:

— Ладно. Давай возьмем.

И появилась в их доме девочка Ася. Она, мама, быстро, словно это было ей не впервой, научилась пеленать, варить жиденькую манную кашку, вскакивать ночами от малейшего шороха из детской кроватки. Муж ходил мимо, смотрел со стороны. Но однажды, когда она в очередной раз собирала девочку на прогулку, не удержался от замечания:

— Кто так ребенка кутает? Ребенок должен дышать! Всем телом!

У нее дрогнуло сердце...

Девочка выросла в красивую кареглазую девушку. Настолько красивую, что отцу снова пришлось вмешаться:

— Ты от парней держись-ка подальше. Успеешь еще, нагуляешься.

И опять дрогнуло сердце...

Хотя совет — знала она — был бесполезный.

Почему она сама выбрала его, своего Алексея?

...Он пошел провожать ее с танцев, из клуба. Конечно, незамужние ровесницы обзавидовались: парень только что из армии, крепок и строен, шаг печатает еще по-военному... Но он не говорил ей никаких слов, не выказывал никаких знаков внимания. Они просто шли рядом. Но каждый — сам по себе. Отчего же она не свернула с дороги к своей калитке, когда проходили мимо? И пошла вместе с ним дальше, как будто кто-то невидимый вел ее за руку?

Предчувствие. У нее было предчувствие своей судьбы...

Вышли за село. Кончились последние избы. Остались только дорога и небо. И где-то глубоко внутри, в душевной беспредельности, опять замаячила догадка: теперь ей всю жизнь качаться на этих качелях — между землей и небом...

Обочь дороги стоял стог соломы.

— Посидим? — спросил он.

— Посидим, — эхом откликнулась она.

Наверное, именно в эту минуту ей стало уже не смутно, а отчетливо понятно: они уже не каждый сам по себе. Даже он этого еще не знал, а она — знала. И не стала убирать руку, когда он положил ее на плечо...

Мама тоже хотела ее предостеречь. И уберечь. «Глупость, — сказала она. — Все, что ты навывдумывала и наобъясняла — просто глупость. Просто ты не хочешь отдать себе отчета в том, что делаешь не самый удачный выбор. Вопрос — почему?»

Мама тоже была учительницей, мысли формулировала кратко и предельно точно. Алена так еще не умела; она опять залепетала про душевную беспредельность, про чью-то (чью?) подсказку и смутные свои догадки, на что та уже раздраженно махнула рукой: «Твоя жизнь — ты и расправляйся».

И она распорядилась...

У древних греков — рок, у восточных народов — карма. У нас — судьба...

Они пытались обсудить это с подружкой, к которой Алена поехала в город, когда мамин предостережение сбылось: Алексея арестовали прямо на свадьбе. Их собственной.

Все произошло быстро и просто. В дом зашли два милиционера: «Кто здесь Газелин?», «Я Газелин». Вошедшие недоуменно переглянулись:

уводить арестованных из-под венца им еще не приходилось. Еще больше удивилась она, невеста. Но жених сказал: «Все правильно. Рано или поздно... Прости, что сейчас...»

На другой день им разрешили свидание. Недолгое, всего на несколько минут. Он успел только сказать, что перед демобилизацией ударил старшего по званию. По лицу. «За что?» «Это долго объяснять... Когда-нибудь потом...»

Для выяснения обстоятельств дела и судебного разбирательства его увезли к месту службы — на Дальний Восток. А она, не в силах слушать маминьи вздохи и упреки («говорила тебе, говорила?»), поехала к подруге.

С Кирой они вместе учились в институте, но если подруга осталась в городе, устроившись работать корректором в областную газету, то она уехала учительствовать в село. Кира с этого и начала:

— В первый раз ты сошла с ума, когда в деревню вернулась неизвестно зачем и почему, хотя была прекрасная возможность устроиться в городе. Что — я не помню, как за тобой ухаживал Веня Урванцев? Хороший парень был, и квартиру родители ему к тому времени успели купить. Нет, ее чувство долга одолело. И еще что-то, менее определенное. Я помню твои туманные объяснения: хочу раствориться в лугах и лесах... хочу, где много неба... Ну, ладно, получила луга и небо... Замуж-то зачем надо было выходить? А теперь она к нему еще и в зону собралась. Это уж совсем ни в какие ворота!

Алена затем и приехала к Кире, чтобы опробовать на ней свое решение. Кирка всегда говорила, что думала. Без всякого тумана. Она ей доверяла.

— Кир, но разве жена не должна следовать за мужем, как ниточка за иголочкой?

— Ты правильно сказала: за мужем! Он тебе мужем стать успел?! Ты его женой почувствовать себя успела?! Со свадьбы увели — это, знаешь, надо умудриться — создать такую ситуацию. Лично я бы такого не простила. Лично я...

Кирка остановилась, чтобы прикурить новую сигарету, потом продолжила:

— Лично я один раз обожглась — и с тех пор умная стала. Теперь я своего мужика заводить ни за что не стану. А чужого дальше кухни не пущу. Ну, еще в спальню — когда этого захочется мне. И — ненадолго. А ты? Мало того, что добровольно сунула голову в хомут семейной жизни, так еще и в зону к нему собралась! Декабристка! Это, знаешь, уже верх безумия! Вспомни, ты стихи когда-то писала. Хорошие стихи. Вот — твоя судьба.

— Так я их и сейчас пишу.

— Да ты что?! Тогда вообще ничего не понятно. Чтобы писать, надо иметь письменный стол. Свободное от всякой обязаловки время. Свободной надо быть, свободной!

Кира продолжала говорить, а она уже перестала слышать, потому что провалилась в себя...

Кажется, она знала об этом еще до своего появления на свет — то, что ей всю жизнь придется искать и находить слова, которые будут помогать людям жить, перемогая все тяготы земного существования. Но при условии, что ничего в своей жизни она менять не будет: чтобы облегчить чью-то ношу, она должна узнать ее тяжесть. Радости и печали, боль и страдания — всего в ее жизни будет много, и все — через сердце... Поймет ли Кира, если до сих пор не поняла?

Но главное даже не это. Главное — сон, который приснился ей накануне. Во сне она увидела Алексея: он лежал на каком-то жестком топчане (она, кажется, собственной спиной почувствовала эту жесткость) в неудобном положении и не мог повернуться, чтобы лечь как-то по-другому. У него, сильного мужчины, на лице было страдание... Зачем же она медлит?!

— Кир, спасибо тебе. Ты помогла мне пройти дорогу сомнений до конца. Я побежала...

— Куда?!

— Туда. К нему... *Без рассуждений, все равно, я выпью горькое вино...* Кирка смотрела на нее изумленно.

Да-а-льный Восток, Да-а-льный Восток... — стучали колоса. И до сих пор перед глазами комната с лимонными занавесками, через которые бьет утреннее солнце. Свиданка — называлось это...

Они проснулись (так уж распорядилась судьба) после первой брачной ночи. Он смотрел на нее удивленными глазами: «Не верил, что приедешь. И сейчас не совсем верю». «Потрогай — убедишься», — улыбнулась она. И потом счастливо добавила: «И вся — твоя»...

В ответ на этот ее счастливый голос он опять потянулся к ней, но она тихонько отстранила его рукой:

— Теперь давай рассказывай — за что?

— За дело, — не стал медлить с ответом Алексей. — Я ведь и вправду ударил старшего по званию.

— Но почему?

— Сам не знаю. Он сделал мне замечание по поводу одежды. И если бы этим ограничился. А он взялся поправлять мне воротничок. Чужие руки почувствовал на своей шее — и...

Она осталась в недоумении: ну и что? Человек участие к тебе проявил, даже заботу... У нее хватило ума ни о чем больше не спрашивать, и только спустя время узналось главное: во время боев на Даманском рота, в которой Алексей был старшиной, пошла в атаку на китайцев; закончилось все рукопашным боем, в один из моментов которого старшина почувствовал, как его горло обхватили чужие, холодные руки...

— Знаешь, с тех пор я чужих прикосновений не выношу.

— Ты об этом сказал на суде?

— Никогда и никому об этом я говорить не буду. Ты поняла?

В голосе мужа звучала едва ли не угроза. Но она и без нее поняла в ту минуту многое. Поняла, какой непростой характер у человека, с которым она связала свою судьбу. Как трудно придется ей в начавшейся семейной жизни. Может, Кира была права? Может, и вправду сбежать, пока не поздно?

Поздно, поздно... уже успела полюбить... вот такого — взрывного и противоречивого, горделивого и упрямого. Ну, каждый ли сделает это: во время одного из боев на том же Даманском Алексей был так сильно контужен, что в медчасти ему выдали справку об инвалидности, которое он потом сжег. «Еще чего — чтобы меня инвалидом считали?..»

Жизнь шла своим чередом (он работал на лесоповале, ее взяли в местную школу), и параллельно ей шла другая, никому невидимая работа — ее строчки. Они всплывали поверх всего, что называлось жизнью, оставляя только слабое воспоминание об испытанном и прошедшем, наполнен-

ные уже каким-то новым светом и смыслом, и этот свет, этот смысл были куда важнее и значительнее того, что приходилось переживать. Как получалось все это? Бог весть... Твердо и четко она знала только одно: без этого света слово будет бессильно, оно и ей самой не поможет, не то, что другим. Не потому ли и выдохнула однажды едва ли не кощунственное: *о, Господи, наполни душу светом, или возьми — назад...*

В родные края они вернулись через четыре года. Она опять пошла в школу, Алексей работал в колхозной мастерской. А потом вдруг круто поменял жизнь: накупил книжек по пчеловодству, завел сначала два, потом четыре улья. Оказалось, кстати: когда страну залихорадило от перестройки и в колхозе перерезали скот за какие-то никому не понятные долги, распродали в частные руки технику, а потом стали думать: как жить дальше, кому-то из руководителей пришла в голову мысль завести пасеку. Уже не колхозную, уже... впрочем, названия хозяйства менялись едва ли не каждый год. Новое дело Алексею и поручили, и он не отказался: сорок ульев — это уже не мелочь, это работенка всерьез.

Домой он заходил, только чтобы поесть. Зимой — еще и поспать, потому что в теплое время года пропадал в поле, на пасеке. Бабы шептались: и не один пропадает... Аленка же — как не видит...

Ей, жене, он твердил одно: без детей семья — не семья.

Два выкидыша у нее случились еще на Дальнем Востоке, и здесь происходило то же самое. Врачи разводили руками, она мучилась сознанием своей вины, пока... пока в доме не появилась Ася. Пришел срок, когда маленькая девочка произнесла слово «папа». А однажды она пришла с уроков и увидела такую картину: отец держит дочку на коленях, а та с серьезным-пресерьезным видом поит его чаем с ложечки, и он вытягивает губы, чтобы капли на дочку не пролились, и вид у него довольный-довольнехонький, прямо счастливый...

А потом пришло время дочь провожать. Она, мать, ходила по дому, собирая и не находя нужных вещей, вытирала украдкой слезы, взглядывая на Асю потерянными глазами. Растили, любили, холили — и вот...

— Мам, ты чего? Я писать буду. По телефону будем разговаривать. Ты же сама говорила: надо в институт.

Конечно, говорила. Но не думала, что расставаться будет так тяжело...

Украдкой от дочери подошла к Владимирской иконе Божией Матери. Долго стояла, глядя на объятие Матери и Сына. Ни о чем, кажется, не думала, ничего не просила. Но вдруг пришла мысль-озарение: а ведь Она тоже отдала Его миру. На крестные муки отдала. А она отдает — для счастливой жизни.

Ну, не глупо ли лить при этом слезы?..

С отъездом дочери образовалось много времени. Дел, конечно, меньше не стало (ну и что, что учительница, а корову, раз в селе живешь, надо держать, поросенка тоже, курочек — обязательно, а еще огород), но голове стало свободней. Объясняла детям новый урок, доила корову Марту, делала месиво поросенку, полола грядки... и параллельно вершила другую работу. Ловила себя на мысли: вот совсем по-крестьянски выражаться стала. Те говорят: «Вывершен стог», а у нее — вывершено стихотворение. Доведено до конца, значит; отдельные строчки, которые нечаянно находились междурядьями огурцов и лука, выпадали из яслей коровы,

вместе с июльскими ливнями стекали с крыши или каплями падали с веток промокших вишен — укладывались в строфу, строфа — в стихотворение, и она вдруг обнаруживала (чувствовала сердцем?), что от этого образовавшегося целого начинает идти долгожданное свечение. Значит, все. Значит, пора искать другие строчки для другого стихотворения. Со стороны кажется: чего проще? Нагибайся да подбирай. Но это — со стороны, когда неведомо, каким образом...

— Ален, не слышишь — телефон звонит?

Она и вправду не слышала, уйдя в свои мысли. Бегом побежала к буфету, взяла трубку. Голос прозвучал не дочкин, чужой:

— Это комендант общежития говорит. Родители, вы бы навестили дочь-то. Да пеленки-распашонки начинайте закупать, и все, что в таком случае положено...

Она застыла, как соляной столб, не догадываясь задать необходимые вопросы. На том конце провода устали ждать, и вскоре ухо стали резать пустые телефонные гудки...

Муж уснул за полночь, а она до утра глаз не сомкнула. Почему ничего не говорила?! Они бы приехали, увидели, предостерегли...

Предостерегли... Разве ее маме в свое время это удалось? Почему же должно утаться ей? У дочери началась своя жизнь, своя судьба. Их дело — помочь или не помочь.

А утром... Таким она не видела мужа давно: злой, взъерошенный, нетерпимый.

— Зима на носу, а у нас весь огород в бурьяне. Мы заняты. Мы ду-у-маем. Черт с ним, с огородом...

Она несла на стол геркулесовую кашу, а он уже вернулся с улицы, после обхода их теперь уже небольшого хозяйства: полтора десятка кур и пять соток огорода — все, что они оставили, почувствовав возраст.

Долго смотрел на тарелку с кашей и взорвался опять:

— Ты когда мыла тарелку — на прошлой неделе?

Выпасть из реальности... Она не делала этого давно (не давал повода), но сейчас придется. Выпасть из реальности, чтобы не дать себе обжечься. Он ведь еще чего-нибудь скажет — еще более обжигающее. Вот:

— Есть такая трава — амброзия. Никому никакой от нее пользы — а зачем-то растет. Не объяснишь — зачем?

А вот теперь главное — промолчать. И сделать маленькое такое, изобретенное ей самой упражнение: вдох — выдох. Вдохнуть боль, выдохнуть — любовь. Когда она рассказала о своем изобретении Кире (время от времени они встречаются с подружкой юности в городе), та изумленно спросила:

— Ты что — мазохистка? Этого нельзя понять и принять. Это невозможно сделать. Как ты все это объяснишь?

— Есть вещи, которые надо делать не с помощью ума. Ум — не самый надежный помощник в решении трудных вопросов.

— Господи, какой же самый надежный?

— Ты и сама знаешь — сердце.

Вот и сейчас: вдохнуть — выдохнуть...

За окошком и впрямь пошел снег — первый в этом году. В голове тотчас возникли строчки:

Снег, и мы беседуем вдвоем,
Как нам одолеть большую зиму...

Строчки не ее, чужие, хотя... почему чужие? По большому счету, авторство не имеет значения. Потому что все лучшие строчки, когда-либо написанные людьми, хранятся в одной небесной копилке, из которой их кто-то достает и подает нуждающемуся в трудную минуту.

— Как ты думаешь... — выдохнула для начала она.

— Думать — это твоя прерогатива. А я не думаю, я знаю: надо ехать в город и забирать их сюда. Асю, и...

Она оставила ложку и смотрела на него, смотрела...

— Опять думаешь? — усмехнулся он. — И о чем же на этот раз?

— Думаю, какое это красивое слово — амброзия. Сколько в нем гласных... и как легко они складываются в согласие.

Насупленные брови мужа, однако, никак не хотели выравниваться; она опять сделала вдох... и вдруг:

— Алэн, а давай обвенчаемся?

Она почему-то не удивилась. Только спросила:

— Зачем?

— Чтобы нам с тобой и ТАМ быть вместе.

Она опять посмотрела за окно: белый снег по-прежнему падал на черную землю. Белое, черное — только два цвета. А в душе вдруг вспыхнуло разноцветное полыхание.

Как удивительно... *Мы не знали конец, мы не знали начало, когда судьбы связали единым узлом...*

Но все сошлось. Все узналось. Узналось, может быть, самое главное: она никогда не выдержала бы груза, предложенного судьбой, если бы не поняла, в конце концов, вот это:

Ты не здесь и не там, не за тысячу верст,
Не вчера, не сегодня, не завтра,
Но, однако, Ты есть...

И что с того, что Его нельзя увидеть и сделать шага навстречу? Пока — и не надо. Пока достаточно того, что *горит семицветною радугой день и от слов пламенеет бумага...*





Сагидаш Сайдулловна Зулкарнаева родилась в селе Благодатовка Самарской области. Поэтесса. Публиковалась в «Литературной газете», в журналах «Русское эхо», «Невский альманах», «Арина», «Отчий дом», «Аргамак-Татарстан», «Подъём», «Аманат» (Казахстан), «Настоящее время» (Прибалтика), в региональных коллективных сборниках и альманахах. Лауреат ряда сетевых литературных конкурсов. Живет в селе Большая Глушица Самарской области.

Сагидаш Зулкарнаева

НЕ ПЛАЧЬ СТИХАМИ, СЛУШАЙ ГОЛОС МИРА

* * *

В моем краю нет края синеве,
Она собой деревья облекает,
И с неба в реку днем перетекает,
А ночью тихо ходит по траве.

И стоит только резкость навести
На синеву, как в ней увидишь Бога,
Ушедших всех и длинную дорогу,
Которую и нам не обойти.

* * *

Я помню: с мамой моем окна,
От чистоты визжит стекло.
И ваты хрусткие волокна
Меж рам кладем — беречь тепло.

И руки мамы, словно птицы,
Летают с тряпкой по окну...
Ах, мне туда бы возвратиться
Сейчас, вот только дверь толкну...

От осознания невозврата
В пространство детской скорлупы
Я цепенею словно вата
На подоконнике судьбы.

* * *

Выжимают меня, как из тубика крем,
На ладонь пустоты, чтоб размазать по небу.
В лодке светлых надежд обозначился крен,
И сошла я на нет всем ветрам на потребу.

Дует ветер сквозной, и лечу я, кружа,
Опускаясь на дно без спасения круга.
А дорога наверх предстоит по ножам,
И средь морока дней нет ни брата, ни друга.

* * *

Ты говоришь: мир нем и жизнь — пустяк,
И мы немы душой, как в море гальки.
Стучат часы — не так, не так...
И снова бес закручивает гайки.
Перегорела лампочка души,
И свет потух в единственном окошке...
А ты смотри на листья и дыши,
Отогревая медные ладошки.
Смотри, как снег съедает рыжину,
Как синевою город оторочен,
Вливает небо в вены тишину...
Ну, вот и ты спокойней стала. Впрочем,
Давай-ка мы начнем с тобой стрелять
По целям жизни средь земного тира.
Открой окно, закрой свою тетрадь,
Не плачь стихами, слушай голос мира.

* * *

Там, где дали пусты, но наполнены души,
Где стареют дома от ветров и дождей,
И средь теми светло, и тепло среди стужи,
Где еще до сих пор чтут советских вождей;

Где по осени тополь ладонями листьев
Треплет холки коней — облаков кучевых,
По горчичным полям ходит поступью лисьей
Рыжевласый сентябрь — государь бахчевых —

Без подпорок властей, без защиты небесной
Средь раздолий степных и заволжских широт
Весь в кредитных долгах, но не сдавшийся бездне,
Без лукавств и затей проживает народ.

* * *

Перекодируй, Боже, шум на тишь,
Хочу, чтоб этот мир на время замер
И старый дом предстал перед глазами,
Где свил гнездо под самой кровлей стриж.
И там, вдали по берегу — ветла,
А рядом с домом дед узду латает,
Парит казан и косы заплетают
Мне бабушкины руки — два крыла.

* * *

Куда идти, дороги скисли.
Все больше тьмы, все меньше света.
Я ничего порой не смыслю
В организации планеты.

Не от того, что дальше стала
От окружающего мира,
А от того, что заплутала,
Утратив дней ориентиры.

Вот-вот предательски завьется
Змеей дорога подо мною.
И все вокруг перевернется
И обернется мир войною.

Луч божьей силы слаб и тонок,
И от того дышать мне нечем.
В двуногом стаде человечьем
Я потерялась, как ягненок.

* * *

Когда шальная пуля перемен,
Пройдя навывлет сквозь глухую осень,
Застрянет где-то в тканях зимних стен —
Придет мороз и степь оденет в проседь.
И станет даль бледна, как будто вмиг
В степную кровь прокралась анемия,
Где, прислонившись к небу, дремлет мир,
Где ритма нет — сплошная аритмия.
Где люди незатейливо живут,
Лишь по весне порою совершая
Полеты на метле и наяву.
И жить меж ними Богу не мешают.

* * *

Если выпарить воду неба,
Что останется там — на дне?
Крылья, книга, кусочек хлеба
И незыблемый свет в окне.

* * *

Дерево, на цыпочки привстав,
Ловит беса голыми руками.
Он проворный, с лунными рогами
Вывернулся влево, как сустав.

Все грехи и зло на нем одном,
Не поймать его, во тьме растает.
Он, порою мимо пролетая,
Мне бросает горсть тоски в окно.

* * *

В соломе света день сияет ныне,
Теплее молока вода в реке.
Пастух хмельной от зноя и полыни,
Как тучу, гонит стадо вдалеке.
Под вечер жар вдоль берега спадает,
Духмяно пахнут травы на лугах.
Как зев печи, закат огнем пылает,
Несут коровы небо на рогах.

* * *

Не молюсь перекрестью окна,
Не скучаю все дни напролет,
Из трясины житейских болот
Выхожу без подпорок одна.

Ныть и плакать ничуть не люблю,
Но порой, как костер в листопад,
Горький воздух осенних утрат
Сквозь себя пропускаю, дымлю.

* * *

Чей пульс на моем отбивает виске,
Чей разум все ведает разом —
Тот знает, качаюсь ли на волоске
От края, как хрупкая ваза.
Тот знает, что я в рукопашном бою
Порою стихи убиваю,
В степи обитаю, корову дою
И жизнь по глотку допиваю.
И он только знает, как, беды забыв,
Все миру прощаю худому,
И знает, какая из улиц судьбы
Меня приведет к его дому.



ГОД ЛИТЕРАТУРЫ В КУЛЬТУРНОЙ СТОЛИЦЕ СНГ



**ПИСАТЕЛИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН —
НА СТРАНИЦАХ
ЖУРНАЛА «ПОДЪЁМ»**

*Выражаем благодарность редакции
журнала «Простор» (Алматы)
за предоставленные материалы*



Валерий Михайлов

КАСАЯСЬ НЕБА И ЗЕМЛИ

* * *

Чабрец, полынь, да полынок,
Да в прах размолотый песок,
В поклоне ковыли склоняются...
От синих гор до синих гор
В дым зеленеющий простор,
Барханы волнами качаются,
И прямо в сердце из-под ног
Шальным кузнечиком стреляются.

Здесь было море — и ушло;
Куда? — и словом не сказалось;
И отшумело, отплескалось...
От синих гор до синих гор,
Судьбы услышав приговор,
Желтея, по ветру шаталось;
Быльем пустынным поросло
И с вечностью перемешалось.

И лишь на дне его река
Еще течет, не пропадая,
Меж синих гор, через века,
Плывет до самого до края,



Валерий Федорович Михайлов родился в 1946 году в Караганде. Поэт, писатель, публицист. Автор более 20 книг стихов и прозы, среди которых работа «Великий джгут», посвященная трагедии голодомора в казахской степи, жизнеописание М.Ю. Лермонтова «Роковое предчувствие». Главный редактор журнала «Простор». Член Союза писателей России и Союза писателей Казахстана. Живет в Алматы.

На севера, где океан
Водою черной с гулом плещет
И льдом под солнцем колко блещет,
Слепящею тоскою пьян.

ПТИЦЫ

Орел, как эпик, мыслит, воспаряя
Кругами в ледяную вышину,
И твердым глазом смотрит, не мигая,
На землю, небо, солнце и луну.

А ласточка стихи крылами пишет,
И росчерки сверкают, как струна,
И воздух синезвучной рифмой дышит,
Где летывала вольная она.

Сова-ворожея в ночи пророчит,
Хоть проспала она вчерашний день,
И пучит в темь свои слепые очи,
И тень наводит на лесной плетень.

А иволга поет на дивной флейте,
Она рисует в звуках акварель.
Налейте ей вина, скорей налейте —
И никогда не кончится апрель.

Вот воробей, частушечник, задира,
Бренчит на балалаечке шутя,
Смеется он над скучной прозой мира
И праздничает в жизни, как дитя.

И только черный, как проклятье, ворон,
Историк ушлый всех былых времен,
Ничьим не верит песням, разговорам,
А верит в кровь, что льется испокон.

* * *

Касаясь неба и земли,
Не зная смысла речи,
Цветы недолгие цвели
На поле долгой сечи.

Я в них уснул, и снились мне
Нелепые виденья:
Немые рты в слепом огне
Мученья и забвенья.

Но сквозь клубящуюся муть,
Себя не называя,

Лилась незримой тайны суть,
Прозрачная, живая.

Она была как сон во сне,
Но не могла сказаться.
И не хотелось больше мне
Вовеки просыпаться.

* * *

По осени лес памяти сквозит, прозрачен,
Осины треплются, как сердца лоскутки,
Березы легким золотом истлевшим плачут
На позамшелый мох и сонные пеньки.

Недвижно, тяжело, замороженно,
Скрутивши скорбь в окаменелый жгут,
Одни дубы чернеют в небо отрешенно —
И снега ждут.

* * *

Лишь солнышко веселое пригреет,
Как разом — будто бы всю зиму ждут —
Все девушки вокруг замолодеют —
И волосы весенние цветут:
Из плена шапок их освободили,
Взметнули в копны, в свежие стога,
И по плечам ручьями распустили
(Хотя кругом еще лежат снега).
О шум волос!

Ты по весне слышнее,
Ты жизни цвет, ты изнутри горяч!
И черные — блестят еще сильнее,
Льняные — светятся еще светлее,
А рыжие — горят еще теплее...
Да тут слепой — и тот проснется зряч!
Прямее плечи, веселей походки,
Зеленей и загадочнее взгляд, —
Летят, летят под парусами лодки,
Живой капелью каблучки стучат.

Так бабочки откуда-то берутся,
Дохнет весна — взлетают там и тут,
Порхают хрупко,
так, что сердцу жутко,
Ведь кажется — вот-вот и спотыкнутся
И замертво в сугробы опадут.
Еще снега, решив обороняться,
Плотней в своих окопах залегли,

Но розовым парком уже дымятся
То там, то сям проплешины земли.
И бабочкам, наверное, виднее,
И, силы поднабрав, летят они,
Где, соком нутряным едва алая,
Уже сочатся, пробуждаясь, пни.
О сладкий сок березовый, могучий!
Ты кровь живая розовой весны,
Ты напояешь влагою певучей
Всех бабочек весны и явь, и сны —
И вот они, как белый свет, красны!

Блескучая, зеленая, льняная,
Горячая, кругом поет вода —
И девушки от края и до края,
И бабочки от края и до края
Летят, летят...
Кто спросит их — куда?

* * *

В том забытом нечаянном лете,
Когда я незаметно рос,
Простодушнее птиц на рассвете
И беспечнее синих стрекоз;
Когда песни мне пели деревья
И шептала былины листва,
И — зеленым туманом — поверья
Выстилала муравка трава;
И катилось легко, ниоткуда,
Увлекая с собою меня,
Бессловесное круглое чудо
В волнах света, тепла и огня, —
Вдруг почуял я в людях тревогу,
Что в потемках у них на душе,
Непонятную, словно дорогу,
По которой бреду я уже...



Раушан Байгужаева

МАМИНА ПЕСНЯ

Повесть

-Ты уже большая девочка, — говорила мама, засовывая пачку рафинада в коржын. — Гульбаршин приедет, поживет с вами, папа договорился. Коровы нет, баранов — тоже. Всего-то дел: кур вовремя покормить да собаке не забывать что-нибудь бросить.

Отсутствие у нас какой-либо скотины, о чем говорилось всегда со скорбью, на этот раз играло положительную роль в маминых доводах.

Два больших бумажных кулька — один с шахматным печеньем, другой с дешевыми карамельками — последовали за рафинадом.

Мама металась по комнатам, выскакивала во двор и говорила, говорила, говорила. А я ходила за ней, как тень, и слушала, слушала, слушала. Когда я не успевала оказаться рядом, тут же раздавалось:

— Эй, Райхан, я тебе говорю! — хотя в иные минуты мне казалось, что она говорит не мне, а себе.

— Что же может с вами случиться? Слава богу, среди людей живем... Жанар-акпе обещала зайти проведать. Вермишели я накупила. Молоко будете у Жамили брать. Мясо есть. Да! Не забывайте его вывешивать, чтоб мухи не нагадили. Ты меня слышишь?..

Отрез ярко-пестрого шелка и голубая рубашка исчезли во втором коржыне, но я успела заметить пятно на ткани с краю. Шелк был вынут и заменен коричневым вельветом.

Лицо мамы досадливо сморщилось. Но даже это, портившее его выражение, не могло погасить радостного блеска глаз, какого-то греховно блеска. Он появился еще вчера вечером, когда папа сообщил ей, что их



Раушан Байгужаева родилась в селе Михайловка Джамбулской области. Окончила КазСХИ. Работала преподавателем в техникуме и инженером-проектировщиком. Окончила курсы в сценарной мастерской при «Казахфильме». Писатель, сценарист. Публиковались в журналах «Литературный Кыргызстан», «Простор», «Жалын», «Зеркало». Автор нескольких книг прозы. Лауреат ряда литературных и кинематографических премий.

приглашают на джайлау, на праздник-той родственника Мукаша. В связи с чем собирался Мукаш устраивать той, я не помню. Да это было и неважно. Гораздо важнее для меня был блеск маминых глаз, который означал ее готовность забыть на время о нас, своих детях, и ринуться в дружную жизнь.

Две лошади, гнедая и вороная, еще утром приведенные отцом из совхозной конюшни, стояли на привязи под яблоней белого налива и уже наделали две кучи навоза. Вороная была оседлана. Отец вышел из сарая с седлом для гнедой.

Во дворе, у дувала, мама пекла на кизячных углях лепешки комбешан. Она откинула верхнюю сковороду, вытащила из нижней последнюю, слегка подгоревшую лепешку и, очистив обуглившиеся места ножом, унесла ее в дом, бросив мне на ходу:

— Иди, залей угли.

Я кивнула, но осталась стоять на месте. На меня частенько находил вот такой столбняк. Я слушала и не слышала, и все делала не то и не так. Вместо стула приносила тарелку, вместо тарелки — ложку.

— Где ты все время витаешь?! — спрашивала мама в сердцах и удивлялась: — Как ты только в школе на пятерки учишься?..

Меня мучил один вопрос, и, войдя за мамой в дом, я спросила:

— Кого еще возьмете, кроме Галии?

Она помолчала, натягивая чулки и закрепляя их резинками.

— Каната возьмем.

Я облегченно вздохнула: мама прямо-таки прочитала мои мысли. Четырехлетний Канат был забиякой и бродягой. Если они его увезут, останутся только старшие: Заурешка и Тлеубек. Уж с ними-то я справлюсь.

Тут во дворе что-то произошло. Раздался отчаянный вопль двухлетней Галии и крики отца. Мы с мамой почти одновременно выскочили из дому. Папа держал на руках кричащую Галию и вылезавшими из орбит гневными глазами смотрел на нас. На тоненькой ножке девочки, у самой лодыжки, вздулся ужасный пузырь. Оказывается, она упала на угли, которые я забыла залить водой.

— О сорлы! О несчастная! Водяные мозги! — воскликнула мама и со всего маху огрела меня по спине. Потом она перехватила из рук отца Галию. — Чего стоишь?! — яростно крикнула она мне. — Неси эмульсию!

В этот момент из глаз ее исчез предательский блеск, и она снова была с нами. И ругалась своими обычными словами. И нетерпеливо топала ногой, когда я долго искала лекарство, ища, как всегда, не там, где нужно. На суматоху сбежались наши и чужие дети и с содроганием, зачарованно смотрели на пузырь.

— Ужас! Ужас! — вопила Заурешка, хватая себя за щеки.

Галия, не переставая, кричала. Лишь на короткий миг она умолкла, когда ожог смазали прохладной синтомициновой эмульсией. Но потом ее крик возобновился. Папа брал ее на руки, ласкал, целовал, утешал:

— А-а, не плачь, а-а, — потом снова отдавал матери.

Его взгляд, касаясь меня, метал молнии. Но всю силу своего гнева он обрушил на маму:

— Сама во всем виновата! Надо говорить так, чтобы было понятно!

— Как мне еще говорить, господи?! Что же мне теперь, следить за каждым ее шагом?

Слушать их перепалку было невыносимо. Я принесла воды и залила угли. Они злобно зашипели, заглушив на минуту голоса. Совесть мучила

меня, и душило раскаяние. А сердце разрывалось на части от жалости к Галие. Тогда я не знала о том, что раскаяние — самая бесполезная вещь на свете, и отдавалась ему с упоением, ненавидя себя за свою рассеянность. Между тем кто-то во мне, тот, которому неведомы ни жалость, ни раскаяние, шепнул: «Вот теперь они никуда не поедут. Во всяком случае, мама».

Они были подавлены. Папа шикнул на детей, путавшихся под ногами, и их тут же как ветром сдуло. Мама отдала Галию мне и принялась вдруг подметать двор. При этом она опять говорила, говорила, говорила.

— Что это за девочка, господи? И в кого это она уродилась? Мозги у нее, как вода, утекли, что ли? Райхан, несчастная Райхан, чтоб ты осталась под двенадцатью кусками, Райхан!

Последнее выражение плохо доходило до моего сознания. Мне на днях исполнилось двенадцать лет. Когда мне было одиннадцать, она говорила: «Чтоб ты осталась под одиннадцатью кусками». Одно было понятно: число это будет расти вместе со мной. Но что это были за куски? Мне почему-то представлялись огромные комья кизяка, посылаемые сверху невидимой карающей десницей. И когда-нибудь они должны будут убить меня? Нелепо было бы думать, что моя мама желала этого. Нет. Это были просто слова. Слова, которые она слышала когда-то от своей матери, нашей бабушки, а может быть, от соседки. Слова, чтобы излить свою злость на рассеянную дочь. Свой гнев и свое бессилие. Ведь гнев и бессилие, в сущности, — одно и то же. Это я поняла гораздо позже. А тогда слова мамы падали и падали на меня, как кизяки, и их было намного больше, чем двенадцать.

— Хватит! — оборвал ее отец, появляясь в дверях.

Мама замолчала, собирая мусор в аккуратную кучу.

— Мама, Галия уснула, — сказала я.

Она подняла голову и как-то странно посмотрела на девочку, забывшуюся у меня на руках от усталости и боли.

— Уснула, иди, положи на кровать, — сказала она задумчиво.

Когда я вернулась, они вполголоса, как нашкодившие дети, говорили о чем-то. И я заметила, что в маминых глазах снова появился тот греховный блеск. Еще я увидела, что папа седляет гнедую, а мама повязывает голову новым нарядным платком. «Что это они? Неужели...»

— Ну, Райхан, будь детям опорой. Ты же умница, — сказал папа, пряча глаза.

— Каната мы заберем, — бодрым голосом вставила мама, подавая папе переметные сумы. — Эй, Канат, ты где?

— А... Галия? — выдавила я еле слышно.

— Что Галия? Как мы возьмем ее больную? — вскинулась мама, готовая к этому вопросу. — К тому же уже большая, сиси не просит, — продолжала она, натягивая на прибежавшего с улицы Каната свежую рубашку. — Будешь мазать ей на ножку эмульсию. И потом вы же не одни будете, Гульбаршин приедет. Сегодня же, семичасовым автобусом обещала быть. — Мама посмотрела на меня и поняла, что в ее доводах не хватает чего-то главного. Подумав, она добавила:

— Если на приглашение не отзовешься, то потом вовек его не дождешься.

Но эта известная народная мудрость не возымела того действия, на которое рассчитывала мама.

Я полными слез глазами умоляюще посмотрела на маму:

— Заберите Галию, пожалуйста...

После всех приведенных, как мне думалось, убедительных аргументов моя просьба показалась маме просто капризом, и она взорвалась:

— Хватит! Сказала, не возьму, значит, не возьму! И больше не буду повторять.

И это было ее спасением и ее щитом. Спасением и щитом от материнских чувств и инстинктов. Она ехала с мужем на джайлау. Три-четыре дня отдыха в этой нескончаемой чередѣ суеты и забот. Три-четыре дня свободы от кухни, от детей, от огорода, от вечной нужды. Ей было всего тридцать два года, и она любила веселые пиры, хмельной кумыс, нежную молодую баранину, душистую конину, особенно, если в казы положат побольше чеснока и черного перца. И, как венец всего этого великолепия, — песни. Вдвоем с мужем, под его домбру. И пусть не всегда она выдерживала нужную тональность, голос у нее был сильный и чистый. И стар и млад кричали одобрительно: «Молодец, келин!.. Ай-да женеше!» И щеки ее рдели от похвалы, разглаживалось лицо, которое она привыкла к месту и не к месту морщить. Дышала взволнованно высокая грудь, выбивались из-под платка непослушные завитки волос, и, млея, она ловила на себе одобрительный взгляд самого дорогого ей на свете человека... Возможно, ради этих минут она и любила праздники.

Эти мысли опять принадлежат мне теперешней, которая намного старше моей тогдашней мамы.

А тогда....

Они уехали. Незаметно, точно на цыпочках, подкрался вечер. Галия проснулась и снова заплакала. Я согрела на керогазе молока, накрошила туда хлеба и покормила ее.

Семичасовой автобус пришел без Гульбаршин. Она жила в соседнем Комене, в пяти километрах от нас. Я насыпала курам ячменя и слила су Актосу остатки вчерашнего ужина. Потом созвала с улицы заигравшихся детей, и мы поужинали маминым борщом. Перед тем как лечь спать, мы с Заурешкой вывесили мясо на проволоку, протянутую под самой крышей. Мясо у нас хранилось таким древним способом, ибо холодильник был в те годы роскошью, которую могли себе позволить разве что самые верхи совхозного начальства.

...Ах, как сладок детский сон! Опять хнычет Галия. Чего ей надо? Так спать хочется. Яркий свет заставляет крепче зажмуриться.

— Ужас, ужас! — слышится голос Заурешки. — Галиюшка обкакалась.

Я открываю глаза. Галия лежит между мной и Заурешкой и жалобно хнычет.

— У нее понос, — говорит сестра, как будто я и сама не вижу. Греть воду на керогазе долго, и я обмываю тощие ягодицы Галии остывшей водой из чайника. Она дрожит от холода. Повязка с ее ноги сползла, обнажив сморщившийся пузырь.

Зауреш застлала клеенку чистой пеленкой, я уложила Галию.

— Дай ей тетрациклина, — вдруг деловито сказала Зауреш. Меня разозлило, что она командует.

— Сама дай! — огрызнулась я.

— Ты же старшая, — возразила сестра. Но у меня уже не было ни сил, ни желаний отвечать ей. Выключив свет, я юркнула под одеяло и погрузилась в прерванный сон. Он ждал тут же, словно притаился за занавеской. Сон прыгнул на меня, как кот, мягко обнял лапами, обвил пушистым хвостом, стал что-то нежно мурлыкать в ухо...

Гульбаршин приехала утренним автобусом. Ее с торжествующим воплем привела Зауреш. У нее был просто какой-то нюх на гостей.

Гульбаршин была приемной дочерью тетюшки Кайши, папиной дальней родственницы. Тетя Кайша не рожала, и пришлось им с мужем удочерить девочку. Я не знаю, у кого они ее взяли, но думаю, что им повезло: Гульбаршин была очень красивая. Она уже успела окончить школу и провалить экзамены в институт, но хуже от этого не стала. Скорее даже наоборот. На овальном лице ее все было именно там, где должно быть: черные искрящиеся глаза под высокими дугами бровей, прямой точеный носик, сочные пухлые губы. Волосы были уложены в модную «бабетту», а на ногтях сверкал алый лак. Прямое платье из хан-атласа едва доставало до колен девушки, на ногах были белые остроносые туфельки на крохотном каблучке.

Последнее мое впечатление от Гульбаршин относилось к тому времени, когда еще жива была бабушка, и мы ездили с ней в Комек погостить. Это было лет пять назад. Уже тогда Гульбаршин пользовалась косметикой, и я любила копаться в ее тумбочке, разглядывая тюбики и баночки с кремами, флакон духов «Жасмин», пудру «Лебяжий пух». Этой пудрой, скорее похожей на ароматизированную муку высшего сорта, Гульбаршин выбелила как-то мою смуглую рожицу и вытолкнула на лужайку возле дома. Там тетя Кайша и бабушка пили вечерний чай, сидя на лоскутных одеялах за низким круглым столом. Увидев мою «неземную красоту», бабушка испуганно вскрикнула и чуть не выронила пиалу из рук. Потом они с тетей Кайшой долго смеялись и журили Гульбаршин, которая, спрятавшись в комнате, веселилась от души. По словам бабушки, Гульбаршин была баловницей...

— А почему ты не приехала вчера? — поинтересовалась я.

— На автобус опоздала, — сказала она спокойно и, отобрав у меня ве-
ник, принялась подметать пол.

Делала она это не так виртуозно, как мама, но в движениях ее было столько изящества и легкости, что я сразу почувствовала, как с меня спадает груз непосильной ответственности.

Я заметила, что у Гульбаршин умопомрачительная стопа. Красивые ноги были моей слабостью. Изыщная круглая пятка и высокий подъем в сочетании с длинными, ладно пригнанными друг к другу пальцами, — такие стопы бывают разве что у богинь на картинах великих художников.

Девушка оглядела веселым взглядом комнату и распорядилась:

— А теперь принесите картошки.

Не помню, когда началась эта блажь, но я делила необычные по звучанию голоса на стеклянные, хрустальные, деревянные, жестяные, шерстяные, байковые, бархатные, шелковые. Но у Гульбаршин был очень редкий голос. Он напоминал хруст маминого креп-жоржетового платья, когда потрешь его между пальцами. Теперь я знаю, что такие голоса бывают у курящих женщин на средней стадии курения. Вряд ли Гульбаршин курила, тогда это еще не вошло в моду. Мое определение очень понравилось Заурешке, она даже сбегала в спальню и похрустела там маминым платьем, висевшим в шкафу.

Картошка, жаренная с зеленым луком на хлопковом масле, получилась очень вкусная. Заурешка с Тлеубеком долго гоняли сковородку по столу, отбирая друг у друга поджаренные кусочки. После обеда Гульбаршин мыла посуду, а Зауреш — эта лентяйка Зауреш! — вызвалась вытирать ее. Явно она была без ума от гостыи. Я заметила, что она норовит погладить ее налакированные ногти.

Галия продолжала поносить. Я только успевала таскать в уборную ее горшки.

— Что она ела? — спросила Гульбаршин голосом доктора, беря Галию на руки и заглядывая ей в рот, словно хотела разглядеть там следы вчерашней ее пицци. Я не смогла удержаться от смеха. Заурешка строго посмотрела на меня, показывая всем своим видом на неуместность моего веселья, и скорбно сообщила:

— Она ела урюк. Это Тлеубек ей дал.

Тлеубек съезжился от нависшей угрозы.

— Так я и знала, — вздохнула Гульбаршин, ощупывая опавший живот девочки.

— Я говорила Райхан, чтобы она дала ей тетрациклин, а она не дает, — опять влезла эта ябеда Заурешка.

Гульбаршин пропустила ее слова мимо ушей и скомандовала:

— Бегите, насобирайте терна, хотя бы кружку.

— У нас терн не растет, — развела я руками.

— У дяди Коли есть и у Черной бабки! — выпалила Зауреш и выразительно посмотрела на брата.

— Пойдем, — буркнул он и потянул ее за руку.

— Не пойду, — выдернула она руку. — Ты кормил ее, ты и иди.

— Там высоко, я не достану, — захныкал Тлеубек.

— Достанешь! — отрезала Зауреш.

Я не выдержала и толкнула ее:

— Вредина! Иди с ним.

Сестрица моя надулась, насмерть обиженная тем, что я унизила ее перед Гульбаршин. Собрав всю свою волю, она взяла кружку, схватила Тлеубека за руку и потащила к выходу. У самой двери Зауреш вдруг повернулась ко мне и пропела, точь-в-точь как мама:

— О несчастная!

Гульбаршин вдруг опрокинулась на спину и начала хохотать. Галия сидела у нее на животе и тоже заливалась смехом. Насмеявшись, Гульбаршин сказала:

— Молодец, Заурешка! Боевая девчонка. Не пропадет.

Гульбаршин не первая высказывала такое пророчество в адрес моей сестрицы. Обычно оно задевало мое самолюбие намеком на собственное пропащее будущее. Но теперь пронеслось мимо и бесследно растворилось в воздухе.

Потом девушка велела мне принести бинт и ловко сделала Галие перевязку.

— Ты поступала в медицинский? — спросила я.

— Не-е. В педагогический, на биолога-географа...

— Ты любишь ботанику? — спросила я с недоверием, с ужасом вспоминая строение клетки и всяких туфельек и инфузорий.

— Я люблю географию, — ответила Гульбаршин. Она усадила Галию рядом с собой. — Когда я была маленькая, у нас на столе вместо клеенки была карта мира. Так вот, вечерами, когда мать с отцом уходили спать, я усаживалась возле стола и... путешествовала! — Глаза ее загорелись, ноздри затрепетали. — Я смотрела на кружочек, где было написано «Москва», и тут же оказывалась на ее улицах! Шла по Красной площади, заходила в магазины, музеи, каталась по Москве-реке на катере... Потом р-раз — и я уже в Индии! Иду по Бомбею, на мне красивое шелковое сари, на лбу — большая черная родинка... Захочу — могу оказаться в Лондо-

не. Там такие чистые зеленые парки, по ним гуляют важные англичане. Или перенесусь в Японию, покатаюсь на рыбацкой лодке, похожу в кино и деревянных туфлях.

— Деревянных?! — удивилась я.

— Да, у них такая толстая деревянная подошва, идешь — цокают: цок-цок...

Тут в дверях появился Тлеубек.

— Ну что, принес? — спросила Гульбаршин. Он поспешно кивнул и понес к ней в вытянутых руках кружку, почти полную крупных сизых плодов. Заурешка, боясь расплаты, не стала заходить и напрямиком отправилась к подружкам прыгать через скакалку. Оттуда донесся ее звонкий голос: «Оп-па, оп-па, Америка — Европа! Азия — Китай, из круга вылетай!»

Гульбаршин сварила из терна густой компот и попоила им Галию. Потом быстро усыпила ее, покачав на вытянутых ногах, и положила на кровать. Я обложила изголовье подушками и накрыла кружевной накидкой — от мух.

— Ужас! Ужас! — раздался вдруг голос Заурешки. — Мясо забыли снять!

Я мгновенно похолодела и бросилась во двор. Над кусками мяса роились зеленые мухи. Следующие мои движения были совершенно бессознательными и лихорадочными. Кое-как приставив к стене почему-то сопротивляющуюся лестницу, я полезла наверх с тазом в руках. Прислонив его на перекладину перед собой, я начала скидывать в него злосчастные куски мяса. Потревоженные мухи злобно жужжали и, не веря тому, что пир их пришел к концу, носились вокруг меня. На мясе не было живого места. Еще не успевшие подсохнуть участки сплошь были покрыты ровными рядами белых личинок.

— Вот теперь от мамы влети-ит! — пропела Заурешка, с притворной участливостью взглядывая на меня.

От свалившейся неприятности на глаза мои навернулись слезы.

Гульбаршин зачем-то посмотрела на часы, словно мама должна была явиться с минуты на минуту, и сказала:

— Невелика беда. Принесите-ка мне чеснока! — А сама взяла нож и, присев на корточки перед тазом, начала снайперски, точными движениями удалять личинок.

Пока я ходила за чесноком в огород, мясо было почищено и восстановлено в своем прежнем виде. У меня отлегло от сердца. Гульбаршин вымыла мясо в растворе марганцовки, ополоснула кипяченой водой и насухо оберла марлей. Потом накрошила чеснок, концом рукоятки ножа раздавила его в кашлицу и стала натирать этой кашлицей куски мяса, особенно в подпорченных местах. Движения ее были ловкими, как у фокусницы. Присев на корточки, мы с Зауреш, не отрывая глаз, следили за ее работой.

— А теперь, — сказала она, моя руки под умывальником, — принесите мне хворосту, только не сильно сухого.

Совсем сбитые с толку, мы наперегонки бросились выполнять ее новый приказ.

Гульбаршин нашла в сарае кусок проволоки, растянула ее меж стволлов двух яблонь и развесила на ней мясо. Потом разложила под ним дымный костер.

— Было мясо сушеным, теперь будет копченым! — сказала она весело, поправляя хворост.

Мы с Зауреш разулыбались в ответ. Вскоре от мяса пошел приятный аромат.

— Вы всегда дома так делаете? — не удержалась я от вопроса.

— Нет, — качнула головой девушка. — Это я сама придумала.

Мы с изумлением переглянулись.

— Я тоже хочу шашлыка! — заявил Тлеубек, едва появившись в воротах.

— А что, чем не шашлык? — сказала Гульбаршин. — Будете потом кушать и меня вспоминать.

От нахлынувшего чувства признательности я потеряла дар речи и только сияла, как начищенный мамин поднос. Этого, однако, не произошло с моей сестрицей.

— Ты такая красивая, Гульбаршин! И голос у тебя креп-жоржетовый! — выпалила она на одном дыхании.

— Какой?! — вытаращила глаза девушка.

— Креп-жоржетовый, — уже тише повторила Заурешка и на всякий случай взглянула на меня: — Это Райхан так говорит.

Я смущенно зарделась, а Гульбаршин повалилась от хохота прямо на траву и задрогала ногами. Поняв, наконец, что никакого шашлыка не ожидается, Тлеубек снова убежал на улицу.

На пороге веранды появилась заспанная Галия и возвестила:

— На горшок хочу!

Я опрометью бросилась к горшку. А Гульбаршин между тем собрала продымленные куски мяса в таз и, накрыв салфеткой, спустила в погреб. Потом разожгла керогаз. Из кухни неслись вкусные запахи жаренного с луком мяса.

После сытной лапши, щедро одобренной зеленью, мы с Гульбаршин убрали со стола. Было еще светло. Тлеубек снова убежал доигрывать в бабки. Зауреш взяла Галию за руку и вышла погулять. Галия выздоровела. С улицы слышались азартные голоса моих сверстников. Судя по глухим стукам палок, они играли в «чушку». По всему моему телу разлился мгновенный призыв, сладостное волнение, предшествующее вхождению в игру. Гульбаршин я нашла в гостиной, которую мы называли большой комнатой. Удобно усевшись на диване, она поправляла на ногтях лак, успевший за день обшарпаться. Приготовленные мной слова: «Можно мне пойти поиграть?» рассеялись где-то на полпути. Я под села к девушке и стала замороженно наблюдать за ее занятием. Закончив свою работу, Гульбаршин оглядела растопыренные пальцы и начала дуть на них. С каждой минутой она мне нравилась все больше и больше. «Как бы я хотела быть похожей на нее!» — думала я, томясь несбыточностью этого желания.

Когда лак высох, Гульбаршин подошла к шифоньеру и открыла дверцы. Там висели в ряд мамины и папины вещи. Она быстро пробежала рукой по маминой одежде и остановилась на крепдешиновом платье.

Это было самое лучшее мамино платье. Нашу маму можно было упрекнуть в чем угодно, но не в старомодности. Это платье сшили ей весной по модели в журнале «Крестьянка». Оно было с пышными фонариками и удлиненной талией. По салатному полю, словно подмигивая всем, кто на них посмотрит, разбежались веселые оранжевые цветочки. Фигурный вырез горловины венчала искусно сделанная из той же материи розочка. Гульбаршин вдруг скинула с себя свой скромненький хан-атлас и влезла в мамино платье. Я следила за ней, оцепенев. Обаяние этой девушки было

так велико, что не давало мне даже усомниться в правильности ее поступков. Платье ей очень шло, правда, сидело чуть мешковато.

— Хорошо мне? — спросила Гульбаршин, вертясь перед зеркалом.

— Хорошо, — выдохнула я и добавила: — Только немного большеватое.

Гульбаршин потрогала себя за талию:

— А поясок какой-нибудь есть?

— Есть! — с готовностью откликнулась я и, покопавшись в другом отделе шифоньера, отыскала пластиковый ремешок изумрудного цвета с золотистой пряжкой, который мне самой очень понравился.

Гульбаршин быстро натянула ремешок и улыбнулась:

— Вот теперь и вправду хорошо!

Она взглянула на часы. Сердце мое тревожно сжалось. Гульбаршин распустила волосы, напихав в рот шпильки, и быстро соорудила новую «бабетту». Потом слегка подвела карандашом глаза и сказала, оглядывая себя в зеркале:

— Мне тут надо ненадолго отлучиться.

— Куда ты пойдешь? — спросила я упавшим голосом.

— В кино! — ответила она беспечно и подмигнула мне в зеркале: — Чего ты скисла, глупышка? Да я скоро вернусь!

Она провела по губам пурпурной помадой и стала похожа на героиню фильмов тех лет. Затем девушка надушилась духами «Красная Москва». Сунув флакончик в ридикюль, она вдруг шлепнула себя по бедрам и выскочила во двор. Я, как тень, последовала за ней. Гульбаршин вытащила из погреба мясо.

Приставив лестницу, она сказала мне:

— Сама развесь, у меня руки в духах.

— Зачем? — спросила я недоуменно. — Ты же его прокоптила...

— Оно еще не досушилось. Может протухнуть.

Пока я развешивала мясо, девушка стояла рядом, придерживая лестницу. Я не видела ее, но чувствовала нетерпение, которым она была охвачена. Когда я слезла, она отставила лестницу в сторону, чтоб не забрались кошки.

— Ну, что там еще осталось сделать? — спросила девушка, ополаскивая руки под умывальником.

— Курам ячменя насыпать и Актоса отпустить.

— А он ночью меня не укусит? — поинтересовалась Гульбаршин, уже направляясь к калитке. Она очень спешила. И даже перспектива быть покусанной Актосом не могла ее остановить. Честно говоря, вряд ли перспектива такая существовала. Мне казалось, что Гульбаршин способна приручить любого зверя.

Ее каблучки, удаляясь, звонко процокали по двору. Я выбежала следом:

— Поскорей приходи, Гульбаршин!

— Приду, приду! — не оборачиваясь, откликнулась девушка. Она уже была не здесь. Она неслась на крыльях свободы, подгоняемая сумасбродным ветром юности...

Тяжело ступая и поднимая пыль, возвращались с пастбища коровы. Они раздували ноздри, водили вокруг глазами и небрежно роняли лепешки. Предчувствие стояла со свежей пахучей травой или тазом с нарезанными яблоками, а также близкого освобождения набрякшего молоком вымени заставляло их нетерпеливо взмыкивать.

— Ау-хау, ау-хау! — неслись навстречу им призывные крики хозяек. В воздухе, смешиваясь с пылью, стоял запах навоза и нагретой солнцем коровьей шерсти.

После коров, бляя на разные голоса, дробно топоча и поднимая клубы пыли, прошли овцы и козы. Привычные запахи. Привычные звуки. Но почему мне так грустно? И это даже не грусть, а какая-то сосущая, ноющая тоска, точно я одна-одиошенька на целом свете. И хочется скулить по-щенячьи, глядя на оранжевый диск уходящего на ночлег солнца, словно оно уходит навсегда.

Ах, если б только мама сейчас оказалась тут! Пусть бы она сердилась и щипала себе щеки, но лишь бы слышать ее ясный сочный голос, вдыхать дымный запах ее крепкого сильного тела. И знать, что она все устроит и уладит, все вычистит и выскоблит, приготовит самую вкусную на свете пищу, сядет за машинку и нашьет всем нам обновы и сделает еще уйму больших и маленьких дел. А когда она бывает доброй, — размягченная после бани, с влажным узлом волос на затылке, или когда привечает гостей, расторопная, хлебосольная, раскрасневшаяся от пары рюмок вина; или кормит кашей Галиюшку, лаская ее потешными словечками: «Да умереть бы мне за эту вот дырочку в твоём горлышке!», — в такие минуты хочется смеяться без причины и позволить себе выкинуть какую-нибудь шалость. И даже, когда мама, ничего не делая, сидит вечером с журналом в руках, кажется, что в мире царит несокрушимый порядок, и все в нем зависит от этой маленькой беспокойной женщины...

С самого дна моей тоски всплыл немой вопль: «Почему ты уехала, мама?!»

Мы допоздна прождали Гульбаршин, чутко прислушиваясь к шорохам вокруг дома и подбегая к окошку каждый раз, когда Актос лаял особенно яростно. Галиюшка уснула прямо на горшке. Нарисовав в старой тетради целый арсенал боевого оружия, Тлеубек прикорнул на полу. Мы с Заурешкой уложили их, и легли сами, не гася света. Я стала читать «Золушку», чтобы не уснуть.

Но понемногу сон сморил нас. Сначала уснула Заурешка, по привычке закинув на меня правую ногу. Я скинула ее с себя. Ступая по-кошачьи, сон добрался и до меня.

Мне снилось, что Гульбаршин бежит в полночь с королевского бала. Подол маминого платья развеивается, туфельки гулко цокают по каменным ступеням замка. Почему-то вместо принца ее преследуют какие-то люди в страшных масках. Я кричу ей: «Беги скорей!», но из горла моего вырывается хрипкое сипенье. Гульбаршин роняет туфельку, я в ужасе ахаю...

В комнате стоял предрасветный сумрак. Дети сладко посапывали. Очень хотелось по малой нужде. Я поднялась и, накинув платье, вышла в коридор. И сразу увидела белую туфельку Гульбаршин. Нижняя часть ее и весь каблук были вымазаны уже подсохшей грязью. Пришла! Как и предполагается по сюжету сна, вторая туфля отсутствовала.

Гульбаршин безмятежно спала в гостиной на диване, укрывшись пледом. Одна нога ее высунулась наружу. Я невольно залюбовалась на безупречный изгиб стопы.

— Ты чего? — спросила вдруг девушка, не открывая глаз. Со сна голос ее был еще более креп-жоржетовым. — Спи, еще рано.

Все слова упрека, приготовленные мной с вечера, вмиг куда-то улетучились.

— Гульбаршин, а где твоя вторая туфля? — этот вопрос мне сейчас казался более существенным.

— Какая туфля? — не поняла девушка. Веки ее при этом были крепко сомкнуты, словно склеены, только брови поползли вверх. Она вздохнула, сладко зевнула и отвернулась от меня, укрывшись пледом с головой и заодно спрятав свою божественную стопу. Это меня окончательно успокоило, и я побежала по своим делам. Вечерней тоски моей как не бывало. Я с удовольствием вдыхала бодрящий воздух и слушала звуки утра. Мычали коровы и телята, блеяли овцы. В соседнем дворе тетя Жамиля доила свою Марту: «Стой, говорю! Ах, шалунья!»

Глаза мои были полузакрыты — так я пыталась уберечь в себе остатки сна, чтобы, вернувшись в постель, снова нырнуть в его самые сладкие недра. Собаки уже были посажены на цепь, но по инерции продолжали переключку. Актос, подметая хвостом землю и улыбаясь, подошел ко мне. На черной морде его с маленькими добрыми глазками было написано желание поиграть. Я отмахнулась от него, подняла голову и увидела мясо. Оно черным ожерельем четко выделялось на фоне белой стены. Мух не было видно. Я принесла таз, приставила лестницу и сняла мясо. Ставя таз на полку в погребке, я чувствовала себя так, словно получила пятерку.

Возвращаясь, я увидела вторую туфлю Гульбаршин. Она лежала на боку, в углу под низенькой табуреткой. Влетев в детскую и юркнув под одеяло, я прижалась к теплой Заурешке.

Проснулась я от переплетения восхитительных запахов. Пахло горячим молоком и еще чем-то малознакомым, но непременно вкусным. На миг мне показалось, что мама дома. Ни Заурешки, ни Тлеубека с Галией в комнате не было. В кухне я застала идиллическую картинку: дети сидели за столом и уплетали блины, запивая молоком. Гульбаршин со скромным хвостом вместо «бабетты» и в прежнем своем хан-атласе вся светилась умиротворением и покоем.

— Иди умойся и садись завтракать, — сказала она мне. — Не то все блины съедим.

«Ну что за прелесть эта Гульбаршин!» — думала я, поспешно шоркая зубы щеткой.

Весь день был похож на сказку. После завтрака мы дружно убрали со стола. Даже Галиюшке хотелось помочь нам. Потом Гульбаршин предложила сходить к речке и насобирать полыни на веник — старый уже облез. Ее предложение вызвало у нас бурю восторга. Мы смастерили себе шляпы из газет, а Гульбаршин повязала голову веселым ситцевым платком мамы, низко надвинув его на глаза.

Девушка заперла дверь на замок и закрыла на засов калитку. Потом посадила Галию на закорки, и мы неспешным шагом тронулись в сторону гор.

Лето нынче выдалось очень жарким. Стоял конец июля, но склоны гор уже успели выгореть. Несобранная вовремя колдовская трава адраспан пожелтела и наполовину осыпалась. В жалкие скрюченные скелеты превратились и наши любимые колючки, из которых мы в самом начале лета добывали упругую, с молочным вкусом жвачку. Позже я узнала, что научное название этой колючки «бодяк туркестанский». В отличие от своего мужиковатого собрата, который рос повсюду, этот напоминал увешанного кинжалами стройного горца. Вдоль шумливой речки у подножия гор все лето росла серебристо-зеленая полынь, которую использовали в

основном на веники. Терпкий аромат ее, усиливаемый припекающим солнцем, заглушал запахи остальных трав: цикория, незабудок, клевера.

Мы рассыпались по берегу, срывая невысокие, легко поддающиеся стебли полыни. Галия не смогла осилить полынь и стала собирать незабудки.

Речка обмелела. Гулко-бранчливая весной, теперь она успокоилась и что-то вполголоса бормотала на перекатах.

— Рыба! Рыба! — закричал вдруг пропавший из виду Тлеубек. Мы все бросились к речке. В прозрачной воде, сверкая на солнце серебром пятнистых спинок и ловко огибая камни, проплыла стайка форели. Тлеубек долго бежал за ней вдоль речки.

— Вырастет, рыбаком будет, — сказала Гульбаршин.

Так и случилось. Тлеубек вырос страстным рыболовом и охотником. Эта страсть периодически одолевала его, как вирусная инфекция, и он, забыв обо всем на свете, уезжал на реку или в заросли камышей. Оттуда он привозил кукан карасей или парочку селезней, но сам никогда не призрагивался к своим трофеям. С какой-то невыразимой отстраненностью и даже толикой ужаса смотрел он на то, как другие поедают привезенных им рыб и дичь. В нем удивительным образом переплелись дикие инстинкты далеких предков и аристократическая безразличность ближайших.

Из ущелья появился всадник. Он неспешно подъехал к месту брода, и конь его жадно прильнул к воде. Это был черноусый молодой мужчина, один из совхозных ветеринаров. Он с интересом взглянул в нашу сторону. Мы собрали веники в кучу.

— У меня руки горькие! — пожаловалась Заурешка.

— Пойдемте, умоемся, — сказала Гульбаршин и, подхватив Галию на руки, спустилась к речке. Она присела на корточки и принялась натирать руки мокрым песком. Мы, как мартышки, повторяли все ее движения. Потом девушка ополоснула лицо и руки чистой водой и вдруг быстро лизнула ладони.

— Попробуй, уже негорькие, — сказала она Заурешке.

Тут раздался смех ветеринара. Гульбаршин вскинула голову и прищурилась:

— Чего ты смеешься, дядя?

«Дядя» открыто любовался ею.

— Чья ты? — спросил он. — Я тебя никогда не видел.

Гульбаршин спохватилась и стыдливо натянула на колени свой ханатлас.

— Сапара я дочь, — ответила она нехотя.

— Какого Сапара? Поливщика?

— Нет! — мотнула Гульбаршин головой и поднялась. — Сапара-конокрада из Комека.

Она говорила чистую правду. Дядя Сапар и впрямь не на шутку увлекался кражей лошадей и уже пару лет отсидел за это.

— А-а, — протянул ветеринар. Однако в голосе его не было разочарования, на которое, видимо, рассчитывала Гульбаршин. Скорее в нем слышалось сомнение в том, что презренный вор мог произвести на свет такое сокровище. Как известно, он был рядом с истиной.

— Как тебя зовут? — спросил мужчина с удвоившимся после сообщения девушки интересом.

В моей груди вдруг поднялось странное волнение, щеки запылали. Было томительное желание спрятаться от этого откровенно мужского

взгляда, какого я прежде никогда не видела. Разве что в кино. И то, что взгляд этот был обращен не ко мне, ничего не меняло. Я чувствовала себя соучастницей происходящего и с замиранием сердца ждала дальнейших действий.

— Ехал бы ты, дядя, своей дорогой, — сказала Гульбаршин уклончиво. Но при этом она сохранила улыбчивый прищур.

Вдруг Заурешка, исподлобья, враждебно смотревшая на всадника, крепко взяла девушку за руку и громко крикнула:

— Вон твоя коняга уже да-авно напилась!

Ветеринар взглянул на нее и рассмеялся. Гульбаршин тоже не удержалась от смеха.

— Ох и защитница у тебя, сестрица! — качнул головой мужчина и, еще раз обняв глазами стройную ладную фигуру девушки, нехотя тронул поводья.

Когда всадник скрылся за ближайшими деревьями, на Гульбаршин нашло неожиданное веселье. Она посадила на шею Галиюшку и затеяла «догонялки». Зауреш с Тлеубеком сломя голову бегали за ней и не могли угнаться. Делая резкие виражи, она ловко увертывалась от них. Галия весело пищала. Бредя с охапкой полыни в руках, я отстраненно смотрела на эту игру. Я уже догадывалась, что Гульбаршин таким образом празднует свою победу над ветеринаром, угодившим в тенета ее чар. Я знала наверняка, что это одна из многих побед девушки, и в моей душе рядом с привычным восхищением и обожанием зашевелилось неосознанное еще желание быть на ее месте.

Пока мы с Заурешкой подметали двор пышными запашистыми венками, Гульбаршин приготовила обед: тоненькие, как соломка, кусочки мяса зажарила с разной зеленью и залила яйцами. Это было объеденье! Даже Тлеубек, не любивший лука, лопал так, что уши ходили ходуном. Потом он убежал с рогаткой, а мы пошли в сад и, расстелив одеяла, растянулись на них. Галия тут же уснула. Гульбаршин лежала, запрокинув голову, и, не мигая, смотрела куда-то в небо, рваными голубыми лоскутками проступавшее меж зелени листвы. Шелковистые волосы, освобожденные от шпилек, ореолом сияли вокруг ее головы. Зауреш подседа к девушке и, не спрашивая разрешения, принялась играть ими. Гульбаршин блаженно зажмурилась:

— Заплети мне косички, много-много!

Польщенная Заурешка с радостью отдалась любимому занятию. Я не удержалась и присоединилась к ней.

— Гульбаршин, а почему ты не поступила в институт? — спросила я.

— В институт? Химию завалила, — ответила она, не открывая глаз.

Неведомая мне тогда еще химия выступила из глубин будущего и погрозила пальцем. Я даже поежилась.

— Гульбаршин, а ты хочешь пожениться? — спросила Заурешка. Видимо, она решила, что заплетание косичек дает право на фамильярность.

Гульбаршин засмеялась.

— Не пожениться, а выйти замуж! Сколько раз тебе говорить!

— Выйти замуж, — послушно поправилась Зауреш.

— Хочу, но не сейчас, — ответила девушка. — Заурешка, а кем ты будешь, когда вырастешь?

— Артисткой. Как Роза Багланова, — ответила моя сестрица, как бы даже удивляясь вопросу.

Гульбаршин взглянула на ее круглое живое лицо и сказала:

— А что? Ты на нее очень похожа. Осталось только научиться петь.

— А я умею петь! — понесло Заурешку. Оставив косички, она поднялась и скрылась за толстым стволом соседней яблони. Гульбаршин облокотилась и подмигнула мне. На цыпочках, будто она на высоких каблучках, Заурешка появилась из-за дерева и остановилась перед нами. Сомкнув руки в замок перед грудью, как это делали популярные певицы, она запела громким голосом песню из репертуара Баглановой «Саулем». Я не выдержала:

— Потихе ты! Галиюшку разбудишь.

— Не разбудит, — махнула рукой Гульбаршин, — она спит крепко. Утомленная походом, Галия и вправду не шелохнулась.

Заурешка, чуть понизив голос, допела припев и с достоинством поклонилась.

— Молодец! — похвалила ее Гульбаршин и, притянув, поцеловала в щеку.

Заурешка победно взглянула на меня.

— Хвастушка, — сказала я снисходительно.

Гульбаршин вдруг вскочила и, пританцовывая, начала петь шуточную узбекскую песенку:

— Ох, мамочка моя, мама!
Головушка моя болит!
— Ох, доченька моя, дочка,
Отчего ж она болит?
— На базаре они бывают,
На прилавках их выставляют,
Они называются золотые серьги,
Вот из-за них голова болит...

Косички ее смешно подпрыгивали в такт движениям головы. Она так лихо двигала ею вправо-влево, что казалось — та вот-вот оторвется. Глаза девушки сверкали и искрились. Извивающиеся змеей руки казались бескостными. Голос Гульбаршин не отличался силой, но это был один из тех голосов, который может приноровиться к любой песне. Для полноты картины ей не хватало лишь тубетейки и насурьмленных бровей.

Напоследок Гульбаршин сделала глубокий поклон, приложив руки к груди, и свалилась между нами.

— Молодец! — воскликнула Заурешка и чмокнула ее в щеку.

Отдышавшись, Гульбаршин запела популярную в те годы песню «На утренней заре».

— Мамина песня! — почти в один голос сказали мы с Заурешкой. Это была любимая песня мамы, исполняемая ею в минуты особого воодушевления.

Я представила, как она сидит сейчас в юрте среди веселящегося люда и, опустив глаза, вытягивает:

Свежий ветер кроны сосен шевелит.
Птицей вольной лодочка моя летит.
Здесь, со мною, лунолика моя,
И плывем мы с ней вдоль берега реки.

Отголосок вчерашней тоски сжал мне сердце. Я заметила, что глаза Заурешки тоже подернулись грустью.

Сказочный день подошел к концу. После ужина Гульбаршин, что-то напевая под нос, принялась поправлять лак на ногтях.

— Ты снова уйдешь? — спросила я с замиранием сердца.

Она кивнула и подмигнула мне:

— Чего ты киснешь? Я же вернусь.

— Опять в кино?

— Нет. В Комак съезжу, на концерт.

— В Комак?! — ужаснулась я. — Как ты ночью приедешь оттуда?

— На попутке, — сказала с обычной беспечностью девушка, любуясь рукой. — А нет, так пешком приду. Всего-то пять километров.

Остальное все повторилось в той же последовательности, что и вчера. Однако, уже одевшись, Гульбаршин вдруг сняла мамино платье и снова повесила его на плечики. Несколько мгновений она смотрела на него с сожалением, даже погладила едва заметным движением. Потом решительно натянула свой хан-атлас.

— Дома у меня есть красивое платье, — ответила она на мой вопро- сительный взгляд и, взяв ридикюль, направилась к калитке.

Мне хотелось броситься за нею вслед, преградить ей дорогу, умолять, плакать, лишь бы она осталась. Но я стояла как вкопанная. Когда девушка была у самой калитки, в голове моей, как молния, сверкнула спаси- тельная мысль.

— Гульбаршин! — закричала я. — Подожди! — Я подбежала к ней и стала взволнованно говорить: — Этот концерт завтра будет здесь. Они все- гда так делают: сначала в Комаке, а потом у нас. Завтра и посмотришь его. Как раз мама с папой вернутся, вместе сходите, ладно?

Я смотрела на нее, не в силах удержать счастливую улыбку. Реше- ние это умиляло меня своей простотой и гениальностью. Моя улыбка слабо отразилась на лице девушки и угасла. Она вдруг взяла меня за руки и заговорила глубоким ровным голосом, как на гипнотическом сеансе:

— Ничего не бойся, Райханка. С вами ничего не случится, слышишь? Если боишься, закрой дверь на крючок. Я постучу в окошко. Я обязательно приду. Пришла же прошлой ночью...

Поток ее слов вмиг погасил угольки моей радости. Я тупо смотрела на нее, мучимая недоумением. Почему эта замечательная во всех отноше- ниях девушка, которую я искренне люблю, никак не может понять, что мне нужно ее присутствие рядом со мной, а не возвращение среди ночи?

— Зачем ты едешь туда? — вырвался у меня вопрос, который, хотя и был уместным, но входил в число запретных, ведь Гульбаршин была уже взрослой.

Она отпустила меня, взглянула на часы и ахнула:

— Автобус ушел! — потом вдруг вздохнула и проговорила со страстью в голосе: — Понимаешь, сегодня там будет один человек, которого я дол- жна увидеть. Обязательно!

Она обращалась ко мне, как женщина к женщине. Дыхание чужой, непонятной жизни, в которую я нечаянно вторглась, опалило меня. Опять внутри что-то сладко заныло, предчувствие каких-то моих собственных будущих страстей. Я растерялась.

— Ну что, теперь ты меня отпустишь? — спросила Гульбаршин. В го- лосе ее послышалась мольба, глаза лихорадочно блестели.

Я поспешно кивнула. Гульбаршин юркнула в калитку. Я вышла сле- дом и проводила смятенным взглядом ее удаляющуюся фигуру...

Куры одна за другой взлетели на сучья белого налива — свое обыч- ное место ночлега. Я позвала домой детей и отвязала собаку. Оглушитель- но лая и воинственно вытянув хвост, Актос помчался на улицу.

Опять сон не шел ко мне. Но теперь причиной была загадочная жизнь Гульбаршин, которой она жила там, в Коменке. Кто он, ее избранник? Воображение рисовало каких-то слащавых джигитов с усиками, вроде сегодняшнего ветеринара. Но в отличие от него они лихо и в то же время с лентой ездили на велосипедах. Осадив своего конька возле Гульбаршин, они сажали ее на раму и увозили в туманную даль. Отправив девушку в путешествие с очередным кавалером, я выбралась из постели и пошла в большую комнату. В шифоньере, порывшись среди фотографий разных лет, я нашла самую свежую. Потом, усевшись с ногами на диван, жадно прильнула к ней.

Гульбаршин тут же взглянула на меня своим обычным, чуть насмешливым взглядом. Только вместо «бабетты» у нее была коса, небрежно лежавшая на груди. Мужская часть класса была представлена десятком парней с совершенно одинаковыми головами, стриженными по моде тех лет, под ежика. От этого они казались похожими друг на друга, как братья. Наконец выбор мой пал на смуглого парня с прямым носом и полными губами. Однажды я видела его играющим в футбол на школьном поле. Мне понравилось тогда, как он легко бежит, запрокинув голову и приподняв плечи. Я в мыслях соединила «футболиста» с Гульбаршин и, удовлетворенная, отправилась спать.

Ночью нас всех разбудил страшный грохот и звон разбившегося стекла. Оглушенная страхом, я долго металась впотьмах в поисках выключателя. С улицы слышались чьи-то голоса, рокот мотора, потом все стихло. Галия испуганно плакала. Актос, обычно лающий ночь напролет, не подавал голоса. Когда я, наконец, включила свет, мы увидели, что между рамами, среди осколков стекла лежит огромный камень, а сверху, в наружной раме, зияет дыра. При виде камня Галия заревела пуще прежнего.

— Мама! Хочу к маме! — плакала она.

Я лихорадочно прижала ее к себе, но вряд ли могла успокоить девочку и заменить ей маму. Тлеубек еле сдерживал слезы.

— Ужас! Ужас! — прошептала Заурешка, хватаясь за щеки, и заплакала, а за ней и Тлеубек.

Ах, как мне хотелось тоже безоглядно броситься в эту реку детского плача! Но я не смела. Не имела права. Я уже хорошо знала многие свои права и обязанности. В ту ночь мне показалось, что обязанностей гораздо больше, чем прав, и в который раз за эти два дня я пожалела, что родилась первенцем.

Было около трех часов ночи. Мы постелили на полу и легли вместе, тесно прижавшись друг к другу. В злобещей тишине ночи чудились шорохи, словно кто-то подкрадывался к окну. Казалось, что крошечной тьме за окном не будет конца.

— А почему не пришла Гульбаршин? — спросила Зауреш.

— По кочану! — отрезала я.

Заурешка понимающе вздохнула.

— А где Актос? — спросил вдруг Тлеубек.

— Наверное, его убили, — предположила Заурешка злобещим шепотом.

— Кто? — ужаснулся Тлеубек, тоже переходя на шепот.

— Бандиты, — уверенно сказала Заурешка.

— Я боюсь! — захныкала Галия, пытаюсь залезть мне под мышку.

— Хватит болтать! — строго оборвала я детей. — Спи. Еще хоть слово скажете, получите по лбу!

Эта угроза подействовала лучше всякого снотворного. Вскоре я услышала их мерное сопение.

Зато сама я еще долго лежала с открытыми глазами. Мне представлялось, что где-то там, в горах, в юрте спит мама. Неужели она ничего не чувствует?! Было бы справедливо, если б ей снились кошмары, подумала я. Эта мысль принесла мне некоторое облегчение. Потом перед моим взором явилась Гульбаршин: «С вами ничего не случится!» Я назвала ее «врущей» и долго не могла придумать ей наказания. Немалую роль в этом, думаю, сыграло признание девушки. Каждый раз, когда я готова была наказать ее, выдав замуж за Сакена, известного на всю округу драчуна и пьяницу, передо мной вставал вчерашний образ Гульбаршин, охваченный страстью к неведомому мне юноше. И она оказывалась в зоне безопасности.

— Атаматтас! Атаматтас!

Я оторвала голову от подушки. В окно стучала соседка тетя Жамиля.

Она называла меня одним из моих трех имен, придуманных невестками ветвистого семейного древа Алиевых. Далекого предка их мужей тоже звали Райхан, и чтобы согласно обычаю не произносить его, алиевские невестки наградили меня сразу тремя именами: Атаматтас — Носящая имя предка, Дадем — Предок и Алтын-Кекиль — Золотая Челка. Он чем-то был знаменит, этот их пращур. То ли обладал даром целительства, то ли совершил хадж в Мекку. Не вдаваясь в исторические подробности, я охотно откликалась на все три имени. Но последнее, Алтын-Кекиль, нравилось мне больше всех.

Тетя Жамиля принесла молока в бидоне.

— Что у вас с окном? — спросила она встревоженно.

Ночное происшествие, временно стертое сном, восстановилось в моей памяти.

— Не знаю, — сказала я тоном потерпевшей кораблекрушение, — ночью кто-то разбил.

Тетя Жамиля охнула.

— А где эта девушка?

Я печально опустила голову:

— Уехала. На концерт.

— Так вы одни были?! — ее добрые глаза в один миг наполнились бесконечной материнской жалостью: — Ах вы, мои цыплята!

И тут из глаз моих хлынули слезы. Тетя Жамиля привлекла меня к себе и прижала мою голову к груди.

— Ах вы, мои светики, натерпелись... Ну ладно, успокойся, душа моя, — приговаривала она, поглаживая мои волосы и всхлипывая.

От ее одежды пахло коровой и парным молоком. По моей классификации, голос у соседки был шерстяной. Когда-то ей неудачно удалили гланды. Это сделало ее голос хрипловатым, точно, вырываясь из горла, он проходил через ворох овечьей шерсти и приглушался в ней. Слезы мои текли и текли, и казалось, им не будет конца. Зверек моих обид не мог насытиться одним утешением. Он требовал еще каких-то слов. Но добрая женщина не знала их.

— Ну-ну, Атаматтас, не будь плохой девочкой, — увещевала она меня. — Ты большая уже, не плачь. Детки сейчас проснутся, увидят, что ты плачешь, испугаются.

Она говорила о чем-то совершенно естественном и простом, как она сама, как это летнее утро или пенистое, теплое еще молоко.

— Ах вы, мои душеньки! — продолжала тетушка Жамиля, лаская меня шершавой ладонью. — Мама, поди, измаялась, о вас думаячи, бедняжка...

Это были не те слова, которых я ждала. Теперь мне хотелось, чтобы тетя Жамиля поскорее ушла. Словно почувствовав это, она отпустила меня, перелила молоко в кастрюлю и, ободряюще улыбнувшись, вышла.

Актоса нигде не было видно. Я раза три обежала вокруг дома, то и дело натываясь взглядом на зияющую дыру в окне.

Пес лежал под урючиной, с распухшей и сползшей вправо окровавленной мордой. Он кротко и виновато глянул на меня и завил хвостом. У меня даже спина вспотела от желания тут же отомстить за Актоса.

Я кое-как заставила себя снять мясо.

Мы позавтракали горячим молоком, потом вышли на улицу и выстроились у разбитого окна. Кругом валялись осколки стекла. Заурешка вдруг подобрала один из них и сказала радостно:

— Ура! Я сделаю секретик.

Секретиками мы называли ямки, наполненные разноцветным битым фарфором, кусочками фольги и прикрытые сверху стеклышком. Осколок стекла перед этим тщательно обрабатывался по краям до круглой формы. Инструментом обработки служили металлические жгуты, которыми вязались электрические столбы. Вокруг секретики аккуратно облепливались бордюриком из глины. Получалось загадочно и красиво. Однако ввиду случившегося события поведение сестры показалось мне просто кошунственным. Я хотела сделать ей пару едких замечаний, но не успела.

— И что это за проходимцы такие, а?! Руки им оборвать да в тюрьме сгноить! Ишь, нашли, над кем потешаться!

К нашему дому приближалась Жанар-акпе. Видно, ее уже успела уведомить наша соседка. Тетя шла по улице своей стремительной походкой, прямая и сухопарая, со вскинутой головой, с горящими в гневе глазами. Руки ее были сжаты в кулаки, подол платья вился в чеканном шаге вокруг ее худых ног, обутых в легкие рыжие ичиги.

Сколько я помню нашу тетю, она курила самокрутки, но на голосе ее это никак не отражалось. В минуты ярости он бывал звонким и хлестким, как удар камчи, и слабым и беспомощным, когда она хотела у собеседника вызвать участие. Мне нравилось слушать ее разговоры с мамой. У Жанар-акпе был свой мир, населенный какими-то гнусавыми мужичками и шепелявыми бабами. Но главной героиней своих рассказов являлась она сама и вершила над этим никчемным народом суд, ставя точку в любом споре. Для меня так и осталось загадкой устройство ее глаз, которые, как по мановению волшебной палочки, вмиг наполнялись слезами. Красивым, полным драматизма жестом, смахнув слезы рукой и мелодично потянув носом, Жанар-акпе продолжала повествование. И в следующее мгновение она могла уже смеяться, обнажая свои крупные белые зубы, перед которыми также бессилён был горький табак.

Жанар-акпе была хорошей портнихой и обладала даром лечить младенцев, когда у них западали лопатки. Но больше всего меня восхищало ее умение кончиком языка вытаскивать соринку из глаза.

А сейчас она шла наказывать ночных разбойников. Их физическое отсутствие ее мало трогало. Спустя годы я поняла, что наша тетя была прирожденной актрисой и из любой ситуации могла создать целый спектакль. Кстати, Золотой Челкой назвала меня именно она, так как волею судьбы тоже входила в число алиевских невесток.

— Жанар-акпе! — закричала Заурешка и, выбросив стекляшку, бросилась навстречу тете.

Та подхватила ее на руки и страстно чмокнула в щеку. Потом она по очереди облобызала нас всех, как чудом спасшихся жертв ночного разбоя.

И только после этого окинула взглядом окно. Огромная рваная дыра в верхней раме заставила ее громко охнуть. Опустив глаза и увидев бурый камень, лежащий меж рам, как музейный экспонат, она вздрогнула всем телом и, схватившись за сердце, отступила на шаг. Так она стояла целую минуту, потом покачала головой, и глаза ее вмиг наполнились слезами.

— Нет, вы только посмотрите! — воскликнула она, едва сдерживая рыдания. — Ведь они могли вас убить!

Мы дружно зашмыгали носами. Но Жанар-акпе уже смахнула слезы и заговорила с бесконечной печалью в голосе:

— Эх, непутевые ваши родители! Что мне делать, господи?! Кто же таких маленьких детей оставляет одних? И что у них вместо сердца, а? Камень, что ли? — вопрошала она, пригорюнившись. — Ну ладно, отец, мужчина, спрос с него невелик. Но мать-то, мать, как она могла?!

Каждое ее слово ласкало мой слух нежнее самой чарующей музыки. Зверек моих обид, как пьяница, которому щедрый гуляка кинул целый бочонок вина, жадно глотал поток обличающей речи акпе. Тут взгляд тети упал на ножку Галии со сползшей повязкой.

— Что у нее с ногой, Алтын-Кекиль?!

— На угли упала, — сказала я.

— Угли?! Что она говорит, господи!

— Это все Райхан виновата! Мама ей сказала угли залить, а она забыла! — затараторила Заурешка, предусмотрительно отходя от меня на безопасное расстояние.

Жанар-акпе ущипнула себя за щеку и проговорила в горестном изнеможении:

— Что мне делать, господи, что делать? Доверить детей молоденькой девушке! Ведь это надо додуматься!.. — Она пощелкала языком. — Да и она тоже хороша! Вон у меня такая же девчонка есть, не носится по ночам, как угорелая. Сходит в кино, и той же дорогой — домой. Сейчас вот в институт поступает. Уже три экзамена сдала на пятерки. А эта? Избаловала ее Кайша на свою голову.

Из дальнейшего монолога тети я узнала, что злополучный камень, застрявший между рам, может иметь самое непосредственное отношение к Гульбаршин и ее похождениям. Эта новость потрясла меня. Я силилась представить девушку, ее виноватое лицо, опущенную голову. Но нет, это было невозможно. Гульбаршин, вызванная моим воображением, окинув всех невинным взглядом, деловито подходила к окну и, ловко распахнув створки, как ни в чем не бывало принималась убирать следы ночного происшествия. Все мои усилия придавить ее гнетом вины потерпели крах. Она не подчинялась мне даже в собственном моем воображении.

Жанар-акпе хотела увести нас с собой, но я отказалась, так как все еще надеялась на возвращение Гульбаршин с минуты на минуту. Еще раз потискав нас на прощание, тетя ушла, сказав, что подойдет ближе к вечеру.

Гульбаршин так и не появилась. Зато после обеда, победно крича, влетела в калитку Заурешка:

— Приехали! Мама и папа приехали!

Мы с ней отворили ворота. Сначала въехал папа на вороном коне, обнимая сидящего впереди Каната. За ними показалась и мама. Загоревшие лица их были слегка утомленными от дороги. Пока они спешили, Заурешка и Тлеубек наперебой рассказывали о наших злоключениях. Даже Галиюшка возбужденно что-то лопотала. Я тоже не молчала, вставляя в нужные места красноречивые подробности. Результаты нашего общего спича превзошли мои ожидания: родители выглядели совсем жалкими. Папа оглядел раненого Актоса, и глаза его гневно вспыхнули. Он стал покрикивать на уставших лошадей и швырять чем попало в разгорланившегося петуха. Обычная мишень его плохого настроения — мама — каким-то колдовским образом оказалась скрытой от него, точно надела шапку-невидимку. Но я-то видела маму очень хорошо, и ни один ее взгляд, ни одно движение не могли укрыться от меня.

Такой потерянной я ее не знала. Она все прижимала к себе ошалевшую от счастья Галию и шептала ей что-то, чистила нос, делала свежую перевязку на ранку. Потом отдала ее Заурешке, чтобы распаковать вещи, но вдруг побежала к окну и принялась убирать осколки стекол, да так неловко, что порезала палец. Перевязав палец, мама забыла про окно и начала хлопотать вокруг печки. При этом она была необычайно молчалива. Я заметила, что она избегает смотреть на меня, словно я была ей не дочерью, а зловредной свекровью. Поразительным было то, что ни отец, ни мама не проронили ни слова упрека в адрес Гульбаршин, будто та находилась под покровительством неведомых сил.

Неожиданно явился дед Ердын-ата, доводившийся папе троюродным братом. Тогда это был крепкий сорокапятiletний мужчина, но согласно семейно-родственному укладу мы обязаны были называть его дедом. Он жил в сотне километров от нас, в нашем родовом селении и частенько навещался к нам. Они с женой были бездетными, и Ердын-ата мечтал удочерить или усыновить чьего-нибудь «лишнего» ребенка.

В старину казахи были многодетными, и с этим вопросом трудностей не возникало. Иногда усыновленные дети оказывались счастливей родных. О существовании настоящих родителей обычно не скрывали, и ребенок рос как бы на два дома. Это не мешало ему исполнять свой сыновний долг по отношению к новым родителям, не принося морального ущерба родным. Но со временем ситуация изменилась. И причина была не только в снижении рождаемости. К детям стали относиться, как к какой-то супердорогой собственности или части собственного тела, с которой можно расстаться лишь ценой жизни. Но Ердын-ата надежды не терял и, едва услышав о чьих-нибудь родинах, спешил туда с тайной целью замолвить словечко. Однако эта его тайная цель давно уже для всех стала явной. Над ним подшучивали, его журили и всегда отказывали. Но вот два года назад поиски Ердына-ата, наконец, увенчались успехом, и он удочерил женину племянницу. Поговаривали, что теперь он охотится за сыном.

Помимо этой своей страсти Ердын-ата имел еще одну, не менее оригинальную: он питал неискоренимую любовь к философии, и насмешников здесь было не меньше. Четырех классов образования и чтения десятка книг оказалось для него достаточным, чтобы всю жизнь интерпретировать их на свой лад, сдабривая пословицами и поговорками.

Ердын-ата был сутул, сухощав, пол-лица его занимал массивный горбатый нос, под которым торчал чахлый кустик рыжеватых усов. Светлые бараньи глазки находились в плену у нависающих век, которые словно

грозились совсем закрыть от него белый свет. Круглый год он ходил в скрипучих хромовых сапогах.

Никогда прежде приезд этого родственника не оказывался так кстати, как теперь. Более того, он был просто спасительным.

Раздался знакомый скрип сапог и гнусавый голос:

— И-и-и, мои золотые, ну-ка, где вы, дайте головки ваши понюхаю!

Мы с Зауреш по очереди подошли к Ердыну-ата «на понюшку». Папа тут же оставил мучимых им животных и чуть ли не вприпрыжку побежал навстречу гостю:

— Ассалом магалейкум!

Глаза мамы тоже радостно вспыхнули. Обменявшись приветствием с родичем, она вдруг вся преобразилась, и движения ее приобрели четкую направленность. И хотя мама еще не совсем преодолела некую незримую преграду между нами, голос ее зазвучал уверенней.

Вскоре под яблоней апорта стоял низкий круглый стол, накрытый к чаю. На нем горкой лежали гостинцы с джайлау: баурсаки, шарики курта, конфеты. Мама подала всем по чашке ядреного пенистого кумыса, затем притащила поющий самовар. Ердын-ата возлежал на подушках и вел неторопливую беседу с сидящим подле него папой. Мы с Зауреш чинно прихлебывали чай и с интересом слушали их. Темой беседы, разумеется, были недавние события.

— Дети созданы из мяса отцовских рук и материнского сердца, — глубокомысленно изрек Ердын-ата, поднимая вверх сучковатый палец. И тут же добавил: — Это не я сказал, это сказал народ.

Папа с готовностью кивнул. Он был похож на провинившегося школьника, которому обещанный вызов родителей учитель милостиво заменил нравоучением.

— Пойду, сниму пену, — вдруг пробормотала мама, ни к кому не обращаясь.

— Разливайте чай, — бросила она нам и упорхнула, как испугнутая птица.

— Твоя ошибка была не в том, что ты уехал, оставив детей, — продолжал гость. — Что ж, отдохнуть надо, ты весь год работал... Твоя ошибка была в том, на кого ты их оставил! — Тут он сделал паузу и вонзил свои сонные глазки в папу.

Отец наш молчал.

— Ты оставил их на молодую девушку, единственного ребенка в семье, баловницу! — сказал Ердын-ата с пафосом и прищурился. — Стезя девица узка! Это не я сказал, это сказал народ. И он тысячу раз прав, потому что у молодой девушки много соблазнов. Оступиться ей ничего не стоит. — Он снова пытливо посмотрел на папу. — «Быть или не быть? — вот в чем вопрос», — говорил Гамлет. Почему? Потому что он — мужчина. Но семнадцатилетняя девушка не знает таких мук сомнения! И тебе это известно. Памятуя об этом, ты оставляешь на нее детей.

Папа поежился. Только с этим человеком он позволял себе такие слабости.

И тут, не дав ему опомниться, Ердын-ата вдруг пригвоздил его риторическим вопросом:

— Какой же ты после этого педагог?!

Папа вздрогнул. Он не ожидал такого быстрого приговора. Однако распалившийся в судейском пылу старший брат был неумолим. Папа повесил голову, но, спохватившись, накинулся на нас:

— Чего расселись? Нечего слушать разговоры взрослых! Идите!

Мы нехотя покинули застолье: Заурешка с трудом оторвалась от шоколадных конфет, которые мама щедро выставила гостю, я же была не прочь еще послушать взрослых.

Дальнейшая их беседа доносилась до нас, как негромкое журчание арыка, дополняя собой общую картину восстановленного миропорядка.

Когда мама подала мясо, пришла Жанар-акпе. Как истинный дипломат, она вмиг оценила ситуацию и ограничилась сестринским упреком. С ее приходом и появлением на столе бутылки вермута, привезенного с праздника, разговор за столом стал более оживленным и приобрел даже звучание родовой симфонии. Нарушила ее Заурешка.

— В клубе сегодня концерт! — притащила она с улицы новость.

Это был тот самый концерт, с которого так и не вернулась Гульбаршин. Как я и предсказывала, теперь он, согласно графику гастролей, перекочевал из Комека к нам. Концерты в ту пору, когда еще не успели массово распространиться телевизоры, были редким и единственным развлечением, если не считать кино. В клубе обычно битком набивался народ, так что невозможно было протиснуться.

От меня не ускользнула мгновенная радость, вспыхнувшая в глазах обоих родителей, которая тут же была погашена воспоминанием об их теперешнем положении.

— Идите, — вдруг сказал Ердын-ата, размякший от сытного ужина. — Правда-правда, идите! — кивнул он на недоверчивый перегляд отца и матери. — Я посижу с детьми.

Жанар-акпе наградила его неодобрительным взглядом. Для моих родителей, обожавших любые концерты и не пропустивших еще ни одного, его предложение было большим искушением.

— Да нет, мы не пойдем, — сказала вдруг мама и вопросительно взглянула на папу. Папа махнул рукой, как бы ставя резолюцию под этим решением.

— И правильно! — подхватила Жанар-акпе. — Ничего там интересного нету. Поете вы не хуже тех артистов. Спектакли они привозят каждый год одни и те же. А играют-то, играют! — Жанар-акпе махнула рукой. — Особенно та, молодая, которая у них старух изображает, — она вдруг поднялась и, подоткнув с одной стороны подол, пошла вперевалочку.

Мы все покатались со смеху.

— Еще! Еще! — закричала Заурешка, хлопая в ладоши.

Жанар-акпе вошла в раж и изобразила разговор глухих стариков:

— Старуха, а старуха! Где мой чапан?

— Капкан, говоришь? А зачем он тебе?

— Пойду хворост собирать.

— Воробьев стрелять?

Мы с Заурешкой смеялись до колик в животе.

— Да ты прямо Хадиша Бокеева! — восхищенно сказал Ердын-ата.

Сравнение с известной актрисой смягчило сердце Жанар-акпе, и она одарила родича благодушным взглядом. Потом тетя с особенным удовольствием скрутила из обрывка газеты папироску и, прикурив ее, выпустила густую струю дыма, картинно отставив руку в сторону.

Папа взял домбру, настроил ее и запел. Тетя подпевала ему в припевах. Мама тем временем убрала со стола и накрыла его снова — к чаю. Для нас было удивительным не слышать привычных окриков: «Принесите! Унесите! Помойте!» Ее необычное состояние озадачило Заурешку. Она

шепнула мне: «Мама заболела». Может быть, впервые в жизни я не подвергла осмеянию замечание сестры. Мне нравилась притихшая, кроткая мама, но мысль о том, что она может навсегда остаться такой, приводила в замешательство. К счастью, через пару дней мама наша «поправилась» и постепенно стала прежней. Или почти прежней.

Зверек моих обид стал таять, как весенняя сосулька. Только на самом дне сердца еще долго оставалась мутная лужица недоумения. Временами оттуда поднимался немой вопрос и, так и не найдя разрешения, вновь опускался обратно.

Кто-то из соседей сообщил, что Гульбаршин украли. Так вот почему она не вернулась той ночью! Я сразу подумала о незнакомце, тайну о котором девушка доверила мне.

Через неделю приехала тетя Кайша. Она принесла нашим родителям свои извинения, которые, помимо словесного, имели еще и натуральное выражение: кулек комкового сахара, пачка печенья и отрез ситца. Тетя Кайша рассказала, что после концерта из-за ее дочки произошла возле клуба драка. Одному из дравшихся парней пришла в голову мысль украсть девушку, видимо, чтобы навсегда поставить точку в многочисленных спорах из-за нее. Гульбаршин бежала от жениха-самозванца и спряталась у подруги. А наутро тайком прокралась домой, собралась и укатила в город.

Незадачливые похитители, среди которых был и «сорвиголова Сакен, по которому тюрьма плачет», решили, что она вернулась сюда, к нам.

— Ужас-ужас! — вскричала Заурешка, когда я поделилась с ней этой новостью.

— Я знаю, кто нам окно разбил! Это Сакен разбил, вот кто!

Но мне было не до окна.

Несмотря на разочарование, которое мне пришлось испытать после рассказа тети Кайши, я с трепетом носила в сердце тайну Гульбаршин. Встретила ли она своего избранника? Если встретила, то почему он ее не защитил? Или любовь ее была без взаимности? На эти вопросы могла ответить только она сама. Но Гульбаршин была далеко.

О дальнейшей судьбе ее я узнала от мамы. В городе Гульбаршин устроилась техничкой во Дворец строителей, а вечерами выступала на его сцене с песнями и танцами. Там девушка приглянулась какому-то военному, вышла за него замуж и уехала с мужем во Владивосток. Потом они жили в Москве, Киеве и даже за границей — в Будапеште и Берлине. Вот каким образом увенчалась ее любовь к географии.

Я увидела Гульбаршин лишь спустя пятнадцать лет на свадьбе одного из родственников. Теперь это была слегка располневшая молодая женщина в модном костюме, мать троих детей. Голову ее вместо памятной мне «бабетты» украшала французская стрижка. Движения Гульбаршин не потеряли былую стремительность, а глаза — искрометность. И голос был все таким же креп-жоржетовым, а стопа — божественной. С годами разрыв в возрасте сократился, и я говорила с ней почти на равных. Муж ее оказался невысоким и коренастым, с простым загорелым лицом, но в нем чувствовалась военная выправка. Говорили, что он уже в чине полковника.

— А где тот, другой? — спросила я, волнуясь, когда мы в антракте уединились с ней в саду.

— Кто? — не поняла Гульбаршин.

— Ну, помнишь, ты из-за него убежала в Комек на концерт?

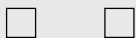
Гульбаршин озадаченно молчала. Потом по лицу ее промелькнула тень воспоминаний, и глаза вспыхнули. Она вдруг крепко обняла меня и прошептала в самое ухо: «Ах, Райханка, а никого ведь и не было! Мне пришлось его придумать, а то ты меня не отпустила бы на концерт».

От ее признания я ослепла, оглохла и превратилась в соляной столб.

— Ты обиделась? — донеслось до меня как сквозь вату. — Не обижайся. Я тогда была дурная. Так любила концерты, хотела попасть на него два раза: в Комаке и здесь. Прости меня!

Объятие Гульбаршин, похожее на смирительную рубашку, было в то же время полно горячей сестринской любви и покаяния. В который раз я убедилась в том, что на Гульбаршин невозможно обижаться...

Вот и прожила я снова три дня и три ночи своего далекого детства. Может быть, на самом деле не все было в точности так, и крылья фантазии унесли меня несколько в сторону от действительности. Но так ли уж это важно? Неизмеримо значимей то, что вместе с этим рассказом со дна моего сердца испарилась последняя капелька недоумения, оставшаяся от обиды на молодых родителей. Оглянувшись напоследок назад, я увидела лишь долгий-долгий летний день, белесую полынь на берегу горной реки, голубые глазки незабудок, высокое синее небо, а в нем — жаворонка, рассыпающего серебристые трели. Тетя Жамиля несла нам бидон с парным молоком. Ердын-ата скрипел хромовыми сапогами и улыбался своими сонными глазками. Жанар-акпе раскатисто смеялась, сверкая белыми зубами и картинно отставив руку с самокруткой. Гульбаршин танцевала узбекский танец в своем хан-атласе. Папа играл на домбре, а мама пела свою любимую песню «На утренней заре». И голос ее был чистым и сильным, как трель жаворонка в небе.





Галым Жайлыбай

ЧЕРНЫЙ ПЛАТОК

Главы из поэмы-реквиема

Самая большая ветвь в структуре ГУЛАГа — Карагандинские исправительно-трудовые лагеря (Карлаг) организованы 19 декабря 1931 года на базе совхоза «Гигант», подведомственного ОГПУ — КазИТЛАГ. Центр находился в селе Долинка Карагандинской области.

В 1939 году Карлаг по числу заключенных занял девятое место в СССР среди 42-х лагерей НКВД.

Если в местах заключения и тюрьмах подведомственного Главному управлению лагерей НКВД СССР сидело около 4 миллионов осужденных, то более 1-1,5 миллиона из них прошли через Карлаг. В общем, если в составе ГУЛАГа был 61 лагерь, то Карлаг один из крупных среди них.

Д. Шаймуханов, С. Шаймуханова. «Карлаг»

КАМЕНЬ И ПИЩА

...Однажды утром, зимой, мы шли из Жаланашколя и тащили на спине связку камыша. На дороге встретились бедно одетые местные люди. Рядом с ними были дети. Увидевшие нас взрослые что-то сказали детям, и дети тут же стали кидать камни в нашу сторону.

Конвоиры сказали: «Вы заметили, что вас ненавидят не только в Москве, а ненавидит все человечество!» — и стали громко смеяться. Женщины-заключенные возмущались: «Это ли воспитание, которое они



Галым Жайлыбай родился в 1958 году в ауле Женис Жанааркинского района Карагандинской области. Первый заместитель председателя Правления Союза писателей Казахстана. Автор сборников стихов «Листья моей души», «Крылья птицы», «Простые стихи о любви», сборника статей «Корни моей судьбы». Лауреат международной литературной премии «Алаш», международной премии турецких литераторов. Награждён золотой медалью им. С.А. Есенина.

дают детям?» Я упала, споткнувшись, на один из этих, брошенных в нас камней и как будто уловила запах молока и творога. Когда откусила кусочек от камня, он оказался таким вкусным — язык проглотил. Словом, собрала я камушки и принесла в барак. Женщины-казашки в бараке объяснили, что это не камни, а высушенный творог — курт.

Из воспоминания заключенной «Алжира» Гертруды Платайс.

...Драгоценнее камня на свете
Не отыщешь, наверно, вовек,
Чем соленые «камешки» эти,
Что для пицци слепил человек.

Среди звезд она будет Плеядой,
Степь — страна родовитых племен.
Она вышла живою из ада,
Кочевала сквозь пламя времен.

Наши матери курт отжимали —
Это любящих пальцев печать.
Утолял он тоску и печали.
Кто упал — поднимался опять.

Строки ожили. Пишет Гертруда.
Как стихи, ее память ведет.
Знак любви, знак великого чуда —
Этот курт, что придумал народ!

От зари ждешь добра и сиянья.
В это утро над Сарыаркой
Были дали светлы и бескрайни
И повсюду разлился покой.

Русло жизни наполнено светом,
И арба тянет груз бытия.
Твоя память пришла за ответом
В эту степь,
 где Отчизна моя.

Пусть расскажет о стонущей вьюге,
О ребенке, что бросил вам курт,
О казахском, неведомом друге,
О тепле приютивших вас юрт.

Пусть расскажет германцам, Гертруда,
Эта степь, что такое любовь.
Никакая метель и остуда
Не убьют, не разделят нас вновь.

Эх, ты, степь, в ковыле да полыни!
Верблюжонок ревет на заре —

О минувшем, об утренней стыни,
О печали на нашем дворе.

Белый конь пусть о прошлом расскажет.
Кобылицу, что снега белей,
Пусть хозяин покрепче привяжет.
Были вьюги — но не было злей.

За добычей охотник крадется.
Он коварен, ведь он — человек.
Пусть вовеки слеза не прольется
И не властвует алчность вовек.

Мой оглан¹ соплеменников выше.
Из полынных пределов он вышел.
И он ел у отцовских дверей
Курт, соленый от слез матерей.

Отжимали, на солнце сушили.
И глаза мои слезы пролили —
Солон курт и от песни моей.
Для него все родные, все люди.
И никто обделенным не будет —
Степь не бросит вослед вам камней!

Это вам не баланда в бараке,
Окрик злой и для смертников ров.
Сострадания добрые знаки —
Курт и лица моих степняков.

О, потомки сидельцев Карлага!
Все вам снится ребенок-казах,
Курт спасительный в детских руках...
Стерлись перья. Истлела бумага.
Только память бессмертна в веках.

И в окрестностях Жаланашколя,
Над землею страдальцев святой,
Пусть народной поднимется волей
Лучший памятник золотой:
Мать-казашка. Бесстрашные дети.
«Камни» курта у ног лагерей...

Драгоценнее «камешков» этих
Нет, наверно, на свете камней.

Лист окончен. Письмо дописала.
Все прошла, пролистала сначала,
Отделяя от правды обман.
Всем Гертруда теперь рассказала,
Что в пустыне, где смерть лютовала,
Есть страна доброты — Казахстан!

¹ О г л а н — джигит, батыр.

ТРИ УДАРА ПО СТРУНАМ

Жаланашколь,
Бидаик,
Дария...²
В небо взлетевшая птица моя!
Мир облетев, возвращайся в гнездовье.
Черный платок и рыдание вдовье
В песнях моих настигают меня.

Век свой последний прошел перевал.
Сталина,
Берии нет
И Ежова.
Корм я птенцам по утрам рассыпал,
Птицу с руки я прикармливал словом.

Буду в ладонях лелеять я птах.
Только на сердце запекшейся раной,
Черным пятном — оживающий прах
Жертв лагерей.

Из ночного тумана
Двигется, движется черный отряд,
Тех, кто расстрелян,
Повешен,
Распят.
Двигется, движется черный поток,
Тех, кто в холодных степях изнемог,
Тех, кто убит или вышел калекой.
Черный Карлаг — словно черный платок
На голове отстрадавшего века.

Перевод с казахского
Надежды ЧЕРНОВОЙ

² «Жаланашколь», «Бидаик», «Дария» — точки Карлага.



Любовь Феофанова

СИНЬ-СОЛОНЧАК

ИЗ ЦИКЛА «РУСЬ»

* * *

А помнишь, поймы рек твоих
Тогда кишели язем и плотвою...
Луга пышнели девственной травой,
И каждый вечер был, как шепот, тих.

И рясно в ряме ягода цвела —
Брусника, ежевика и морошка...
Опята сами прыгали в лукошко,
И от груздей кружилась голова.

И было вволю всякого добра
В лесах твоих — и соболь, и куница...
И зорко стерегла твои границы
Березовая роща у пруда.

* * *

Но снова коршуны кружат,
Гнетет ярмо орды поганой...
И вновь, и вновь сочатся раны —
И мертвый падает закат.

Бежит, беду почуяв, зверь,
И ворон черный наготове.
Можайск, Владимир, Суздаль, Тверь —
Прольют еще немало крови...



Любовь Феофанова родилась и живет в городе Усть-Каменогорске. По образованию — учитель английского языка. Публиковалась во многих казахстанских и российских журналах. Автор поэтических книг «Дочки-матери», «Боль Земли», «Прикосновение к Тайне». Лауреат ряда литературных премий, в том числе Международного поэтического конкурса «Звезда полей — 2013».

* * *

О, как пуглива тишина
На чутких ветвях краснотала...
От храпа лошади усталой
В Непрядву падает луна.

Огонь раскосых хищных глаз,
Кривые сабли в темных ножнах —
Крадутся тихо, осторожно...
Воспрянь, о Русь, перекрестясь!

Встань под знамена — близок час!
Отринь усобицу и страхи,
Надень кольчугу на рубаху —
И да хранит тебя твой Спас!

* * *

...И тянется к Москве народ —
Судьбой ли, верою ведомый?..
И сила эта прорастет
На поле Славы, возле Дона,

Где, неподвластные мечу,
Сплетясь корнями и сердцами, —
Иваны, Федоры, Харламы —
Все как один, плечом к плечу!

* * *

Но снова слышу свист кнута
И улюлюканье погони...
И топчут, топчут Душу кони —
Однажды снятую с креста...

* * *

Так и живешь — не раз тебя секли —
Разгульно и бесхитростно, и ленно...
Но никогда не встанешь на колени
И не отдашь врагам родной земли!

* * *

Вдруг встрепенется душа на рассвете —
Снова Ты кличешь меня сквозь столетья...
Косы разметаны. Нищенский плат.
Стоны да слезаньки... Кто виноват?!

Все-то мне чудится, все-то мне кажется:
Лугом ромашковым, степью да пажитью,
По бездорожью — в метель и распутицу —
Вместе бредем мы, блаженные спутницы.

Сквозь вековую печаль и усобицу —
К светлому Храму, где ждет Богородица...
Каемся, молимся вместе неспешно мы —
Русые, тихие... гордые, грешные...

ПАВЛУ ВАСИЛЬЕВУ

Как ветер степной, как волна Иртыша,
Ты мчался по жизни, любя и греша, —
То в песне, то в страсти сгорая...
Взрослел на ходу,
Искушая судьбу
И тайных врагов наживая.

Уж сети наветов плелись за спиной...
Отравленной зависть летела стрелой, —
И злобой подрезано стремя...
Не держит седло. Нестерпимо клеймо.
Стреножило, предало Время.

Куда устремлял ты прощальный свой взор,
Когда злою пулей настиг приговор?..
Быть может, в просторы степные —
Где синь-солончак,
Где гуляет казак...
И песни — до боли родные.

* * *

Россия, родина моя исконная, —
Непостижимая и непокорная...
До боли — вьюжная, до хруста — снежная,
Как осень — грустная, как песня — нежная.

Россия, белая моя березонька, —
Глаза бездонные да русы косоньки...
Глядишь растерянно, печально строгая, —
О чем задумалась?.. Что ждешь от Бога ты?!

Русь отлученная, многострадальная —
Такая близкая... и очень дальняя...
Встряхнись, любавушка! Прозрей, родимая!
Душой — окрепшая, судьбой — хранимая.



Сергей Комов

ПОПУТЧИЦА

Рассказы

Было это в прошлом году. Бабье лето стояло в разгаре, удивительное. Янтарное купалось в небе солнце. Возвращаясь в Риддер, я взял с собою попутчицу. На выезде из Усть-Каменогорска много народу голосовало в ожидании попутных машин. А она одна стояла поодаль. В робком неуверенном колебании руки ее угадывалась природная стеснительность.

— Садитесь.

— Мне до Черемшанки.

— Можно и до Черемшанки, все равно по дороге.

Света сидела рядом и, стесняясь своих рук, пыталась спрятать их на коленях под сумочкой.

— Вы не смотрите на мои руки, некрасивые они, изработанные. Да и известкой их поело, дома белила я на днях.

— Да вы не стесняйтесь, я и сам родом из деревни...

Аллея тополей рыжей сквозной стеной возвышалась с обеих сторон дороги. Солнце, просеиваясь сквозь ветви и редкую листву деревьев, пятнало бликами дорогу.

Освоившись, моя попутчица разговорилась. Расспрашивая меня, она выказывала неподдельное душевное тепло и искреннее человеческое участие, свойственное людям, которых изрядно потрепала жизнь. Мне запомнилась глубокая печаль ее красивых глаз и редкая полуулыбка, с которой она, задумавшись, рассказывала о своей жизни.



Сергей Комов родился в 1967 году в селе Ново-Тимофеевка Восточно-Казахстанской области. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет. Публиковался в региональных изданиях. Автор книг «С вечной верой в добро», «Бухтарминская лилия».

— Жизнь у нас обычная, деревенская. Держим с мужем хозяйство небольшое да огород, десять соток. Лет двенадцать я проработала в пекарне, с тех пор, как вернулась из России...

Эта большая тема о переезде на историческую Родину была известна мне не понаслышке. И чем дальше, тем интереснее становился ее рассказ. Я попросил ее подробнее рассказать о своих скитаниях. Начала она издалека.

— А родилась я тут неподалеку, в Первомайке. Отец настругал нас восемь девчонок, все сына ему хотелось. В советское время и выучиться могла бы, да оно задним умом-то все хорошо. Замуж побежала. Уехала с мужем в Узбекистан. Родила там сына Сережу. Вскоре и Союз развалился. С мужем не пожилось. Вернулась я снова в Казахстан. Теперь уже в Черемшанку, поближе к дому. Здесь работы тоже никакой. Время помните, наверно, крах повсюду был. А тут сестра старшая позвала к себе, в Вологду. Выбирать было не из чего. Дай, думаю, попробую. Поехала в Вологду. Да не в сам город... Там еще на перекладных чуть ли не сутки ехать. Тмутаракань, одним словом. Сестра встретила неплохо. Только у нее своих детей двое, младший, как мой Сережка, лет семь ему было в то время. Поначалу все хорошо, а потом, как говорится: «Поврозь — скучно, а вместе — тесно». Работу Иринка мне свою уступила. Стала я поварихой по заездам ездить. Отвезут в дремучий лес, и живешь там целые недели. Ох, и скучала я по своему сыну! А ему-то каково было без меня! Терпеливый и понятливый он рос. Сам маленький, а характер крепкий у него, мужской.

Съездила я раз, другой на работу. Дали мне зарплату. Я все деньги сестре отдавала. Подошла пора Сереже в школу идти, а Иринка все деньги на своих пустила. Зло меня взяло, говорю сестре: «Что же ты моего сына не одела, ведь ему в школу?» А она не помню уж, что мне ответила, да только обидное что-то. Сынок ко мне прилип, наскучался по мне. Я ведь только с заезда приехала. Видно, разобижали его родственники без меня. Жалко его, аж сердце разрывается. Понятно стало мне — лишние мы с сыном. Тогда и задумала я вернуться домой. А на работе начальник как почуял, зарплату не выдает уж несколько месяцев, и говорит мне: «Тебе деньги дай, ты снова в свой Казахстан уедешь». На что я ему в лицо и говорю: «Я и дня здесь не задержусь, домой поеду, прямиком в Казахстан! Пешком пойду!»

Денег я так и не увидела. Наскробла крохи, что на черный день оставляла. А он оказался не за горами. Приехала я с заезда, а сестрин сынок старший меня в дом не пускает, говорит: «Папа не велел». Это они специально так обрядили, чтобы не сестра крайней была, а муж ее. Да я на них и не обижаюсь, Господь им судья. И тогда, помнится, не злилась уже на них. Взяла я своего Сережку и пошли мы с ним куда глаза глядят. Долго ль голому собраться — только подпоясаться! — В этот момент на лицо ее легла тень грустной улыбки. От переживаний за собеседницу я почувствовал, как вспотели руки на руле. Нервно протер тряпкой руль и попросил попутчицу продолжить свой рассказ.

— Была уже осень. С год, получается, мы там с сыном промаялись. Дошли до районного центра, верст десять. Благо, там двери на ночь в автовокзале не запирали. С собой поклажа небольшая была: сумочка, еда какая-никакая в ней. Перекусили с усталости, и уснули прямо на лавках. Утром сели на автобус и добрались до Вологды. Там на поезд и до Москвы.

Матушки ты мои, какая Россия огромная и какая она для нас бесприютная! В Москве вроде была, а не видела ее. Вышли на Ярославском вокзале, а сели на Казанском, метров триста между ними, наверное. Почему я села на электричку? Да деньги закончились, не хватило на поезд. Пришла в милицию. А он накинулся на меня: «Иди отсюда, бомжиха!» Так горько стало, ведь и вправду, кто я такая? Самая что ни на есть бомжиха. Нет у меня места, где голову преклонить. И жить неохота, а жить-то как-то надо. Ведь дитя-то мое ни в чем не виновато! И нет у меня ближе его на целом свете никого. Обтерла я ему слезы платком, купила калач, разломила его пополам, тем и были сыты. Купила билеты на первую электричку, идущую на восток, докуда денег хватило. А часа через два нас высадили на незнакомой станции. И еще пару раз высаживали, пока мы не оказались в Гусь-Хрустальном. В милицию я больше не пошла, а ходила прямо возле поездов, все смотрела, как поезда идут в Сибирь, в Казахстан. Вот уж второй поезд пропустила в Лениногорск, а он через сутки ходил. Ночевали с Сереженькой прямо на улице, не то речка, не то озерце там какое-то есть. Укроемся моей курткой вместе с сыном, обниму его, родненького, и греемся друг о дружку. Осень была. Курточка по утрам аж заиндевет. А в последний день даже снежком присыпало. Ту ночь помню как сейчас, все заснуть не могла от холода. Укрылась с головой и дыханием своим щупленького сынишку своего грею. В один момент помутилось в голове, и я отключилась. А когда глаза открыла, все кругом белым-бело. Все эти дни мы не ели. Воровать-то мы не приученные, отец шибко строго нас держал. Спасибо сынку, терпеливый он у меня. Весь аж прозрачный от голода, а не плачет, жалеет меня, как взрослый. Мы бы в том городке, наверно, околели от холода и голода, если бы не одна старушка. Мир не без добрых людей! — И снова тень благодарной улыбки упала ей на лицо. Светлана задумалась и на какое-то мгновение забыла обо мне. Видимо, вспомнила ту далекую старушку.

— Увидела она нас у платформы и спрашивает: «Уж который раз я вас здесь вижу. Беда какая приключилась, что-ли?» Я ей все по порядку и рассказала. А она бойкая такая, крепенькая. Фронтовичка. Все вспоминала, как друг другу в войну помогали. Звали ту старушку баба Фрося. Дай Бог ей здоровья, если она жива! Ну а если померла (ей тогда уже за восемьдесят было) — светлого места в Царстве Небесном. Спасла она нас. Накормила в буфете. Узнала, далеко ли нам ехать, сколько нам туда надо денег. Пожурила маленько меня за то, что я людей дичиться стала, куда, мол, мы без людей — одни поругают, другие приголубят. Говорит мне: «В общем, вот что, Светлана, пойдем просить с тобой милостыню». Я ни в какую. Она схватила меня за руку (а рука у нее такая цепкая), прямо в запястье, и потащила за собой. Другой рукой я потащила Сережу. Между ними — руки нарастяг — будто распнули меня. «Дайте-подайте, люди добрые, ради Христа!» — кричит тетя Фрося и волокет нас между людей. Бойкая старушка, хлебнувшая горя побольше моего! Ради меня с сыном не побоялась унизиться: «Помогите, люди добрые! Пожалейте дитя малое, домой добраться не на что...» А я глаза от земли не могу поднять — стыдом прибывает. Кто-то дал денежку, а другой чуть не плюнул в меня, попрекнул: мол, такая молодая, а уже нищенка. Я вырываюсь, плачу, а баба Фрося крепко держит меня: «Господь терпел и нам велел! Терпи, дочка, не за себя терпишь, а за сына своего терпишь». Я в слезах волокусь за ней, прошу: «Ради Христа...»

Насобирали мы все-таки на билет, благодаря заступнице нашей. А

ведь живут люди в том Гусь-Хрустальном сами беднее бедного. Зарплату им хрусталем выдают, и бегут они наперебой к вагонам остановившихся поездов, унижаются, предлагают незадорого тот хрусталь. И нам, горемычным, помогли, не отринули. Мало того, наша баба Фрося пошла в милицию, дала нагоняю милиционеру за то, что у них под носом женщины с детьми умирают, а они и не видят. И когда подошел долгожданный поезд, идущий в Лениногорск, милиционер в сопровождении неотступной фронтовички бабы Фроси проследовал к начальнику поезда, и нам выделили место в плацкартном вагоне. Да еще белые простыни выдали. Я хотела вернуть Христа ради выпрошенные деньги нашей спасительнице, а она за это пристыдила меня по-матерински: «Деньги эти людские на еду оставь, четверо суток ехать — не шутка!» Попрощалась со мной, как с родной: «Прощай, дочка. Береги внучка!» И ушла. Так мы вернулись домой. Здесь я родилась. Здесь я выросла. Здесь мой дом. А есть ли у человека еще что-нибудь более родное, чем его дом?

Она закончила свой рассказ, никого не осудив и не виня никого в жизненных испытаниях, с благодарностью вспоминая людей, принявших участие в ее судьбе. Мы уже въезжали в Черемшанку, и я задал ей прямой вопрос: «Есть ли обида на свою историческую Родину за то, что она не приняла никакого участия в ее судьбе?» Ответ можно было предугадать, но что он будет таким простым и исчерпывающим, я услышать не ожидал.

— Как нам не любить Россию? Ведь она наша мамка! А когда я под курточкой на голой земле в Гусь-Хрустальном ночевала с сыном, ему-то было за что меня любить, нищую, неспособную добыть ему даже хлеба кусок?! А вы видели когда-нибудь большую семью, где нет отца, а мать от горя спилась? Так вот, ходит этот выводок за ней по пятам, полураздетые, полубосые, впроголодь, маленькие держатся за мамкину юбку, а старшие готовы кинуться с кулаками на того, кто попытается ее оскорбить. И ведь, казалось бы, не за что ее любить, больную, грязную, всеми презираемую. Ошибаетесь! Именно эти обделенные дети умеют любить как никто другой. Так и мы любим свою Россию, как мамку свою, какой бы она ни была.

Светлана вышла на окраине села. Бабье лето, не поскупившись, застелило ковром из рыжей тополиной листвы тропинку к ее дому. Дорога, по которой она шла, была солнечно-золотистой.

ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ

Недаром все утро стрекотала сорока, сидя на верхушке старенькой, закипевшей цветом яблони.

— К вестям — стрекочи, к гостям — улети!

Сорока срывалась с места, осыпая яблоневого цвет, улетала, а через несколько минут снова появлялась в округе, назойливо стрекоча. Настрекотала вещунья и гостей на пирушку, и вестей коробушку.

К обеду, раздурманенная от быстрой ходьбы, пришла Любаша, моя двоюродная сестра. Поздоровалась и с порога выпалила: «Сашка из тюрьмы весточку прислал, скоро приедет». Нечего сказать — обрадовала. Это все равно, что предупредить о надвигающемся урагане.

— Прячьте ваши ценности, сумочки и денежки, — меня холодил мой недобрый язвительный смех. — Значит, закончилось наше спокойствие!

— А, может, он изменился? — неуверенно предположила сестра.

— И непременно в лучшую сторону! — я откровенно ерничал. — За последние двенадцать лет он сменил несколько тюрем. Ты наивно полагаешь, что он стал добрее и нравственнее? Думаю, что в воровском деле он уже защитил свою докторскую диссертацию, профессор воровских наук.

— Как бы там ни было, а поедет он именно к нам. На всякий пожарный, хоть и немного у меня добра, а колечки я спрячу.

Сестра прошла в зал и поместила свою крупную фигуру в скрипучее кресло.

— Только от него прятать бесполезно! — обреченно заключила она и добродушно засмеялась. Дробя речь смехом, растянула: — А, может, на па-а-льцы их на-а-деть, поди, не сни-и-мет с сонной!

Сестра ушла, а тревога осталась. В доме стало неуютно и промозгло, словно в комнатах прошел дождь, будто кто-то незаметный бродил по дому и наследил на домотканых половицах. Теперь с этим ощущением нужно было жить, дожидаясь приезда двоюродного брата. В последний раз, много лет назад, он сделал яркий, многим запомнившийся вояж по области. Где-то под Зырянском, навестив старого друга, вытащил у него деньги. В Усть-Каменогорске, заночевав у моего родного брата, прихватил с собой магнитофон и ценные вещи. В Лениногорске, в общежитии трикотажной фабрики, «почистил» комнаты Любкиных подруг, выбросив через окно в снег ворованные вещи. Что он приготовит на этот раз?

Ах, Сашка, Сашка! Горемычная душа! Родился он с бедой — сестрой своей близнецовой, сросшись с ней по-сиамски в одно неделимое целое. Дышала она, родимая, ему в лицо, неотвратно следуя с ним по жизни. Знал бы Толик, старший брат его, что спасает будущего картежника и беспринципного вора, может, и не кинулся бы за ним в темный яр зато-на, не утонул бы в манящей глубине Бухтармы вместо брата. В детстве подбивал Санька младшего брата Борьку на всякие проделки. Раз оставил его сторожить вход, а сам тем временем отыскал ключ и проник в квартиру своей тетки, Любкиной матери. Взял серьги, но на лестничной площадке встретилась им сама тетя Вера.

— Что это у тебя в руке, Саша?

Тот нехотя разжал кулак и заплакал. Никому не сказала тетка про своих племянников и покрывала их всю свою жизнь. А жалела их многочисленная родня по причине того, что росли они обделенные вниманием. Мать их, чернявая, как цыганка, привезенная отцом издалека, умирала в страшных муках от тяжелой женской болезни. Была весна. Над окном больничной палаты висели сосульки. Звенела капель. Детей позвали прощаться. Сашке было семь лет, Борьке — четыре, а Таньке всего два года. Младшим было совсем непонятно: «Чего это мамка лежит, не поднимается?» А она, не в силах уже поднять руки, попросила деток по очереди наклониться к губам. Целуя их сохнувшими губами, она едва слышно просила у них прощения за их раннее сиротство, предвидя их беспросветное будущее. Так и получилось. Отец их продолжал крепко выпивать. Мачеха, тетя Люба Скударнова, низкорослая добродушная женщина, взвалив на себя тяжкий крест, как могла, заменила им мать. За эту ее покорность судьбе уважали в селе тетю Любу. И у нее был недолгий век. Умерла она от такой же болезни, что и Сашкина мать. Это было в тысяча девятьсот восемьдесят четвертом году. Я заканчивал школу. Борька уже сидел в тюрьме. А Сашка отбывал остаток срока на вольном поселении. По случаю смерти мачехи и отпустили старшего брата в тот злополучный год,

когда он прошелся по всей родне и друзьям, оставив о себе незабываемую память. С тех пор мы не виделись.

В этом тупиковом городке я мог бы и не оказаться. Если бы в него не уехала из нашей деревни сестра, если бы не было дня рождения зятя, и если бы, возвращаясь с этого дня рождения в Усть-Каменогорск на пригородном поезде, я не встретился с удивительной девушкой, в которую легко влюбился. Сюда несколькими годами ранее меня прикочевал из тюрьмы брат Борька, свалившись со всеми своими проблемами на плечи сестры. Поэтому и Сашка долго не раздумывал, куда ему возвращаться.

Это лето было в меру дождливым. В один из таких дождливых июньских дней Сашка появился у сестры, промокший насквозь. Над городом висела туча, зацепившись одним краем за гребень горы. Небо чернело, словно его заасфальтировали. Где-то за городом, над ущельем, в небесную прореху упал сияющий косой солнечный луч. Сашка сидел в кресле, положив руки на подлокотники. Когда я вошел, он повернул голову в мою сторону. Встал легко, словно был невесомый. Сноп солнечных лучей вдруг осветил его всего и резко обозначил черты его лица. Сашка напоминал существо из другого чуждого нам мира, куда не проникает солнце, где постоянный лунный блеск мертвенно запечатлевался на лицах ночных жителей. Неживой синевой отсвечивало его лицо. Словно кто-то взял и выпил из него кровь. При этом брат не сильно изменился за эти годы, лишь четко обозначились впадинки морщин, да поредел волос.

— А ты почти не изменился! — озвучил я свою мысль вслух. — Где это места такие, что люди так хорошо сохраняются.

— Что может сделаться малосольному огурцу в прохладном погребе?! Все кругом от туберкулеза дохнут, а у меня легкие на снимке, как у новорожденного ребенка. — Он окатил нас волной раскатистого смеха.

Угнездившись в облюбованное им кресло, он подмял под себя ноги, потирая стопы рукой, словно пытался их согреть. Смеялся он по поводу и без повода. Манера у него была такая — сопровождать свою неказистую речь вспышками смеха. Будто выпускал черта из табакерки. Смеялся он легко и непринужденно.

Всякий раз, зараженный его весельем, я невольно смеялся вместе с ним. А однажды, успокоившись, поймал себя на мысли, будто я был соучастником немислимого кощунства. Брат рассказывал об одних похоронах, если это можно назвать похоронами.

Тогда Сашка был на вольном поселении под Павлодаром. Старый арестант с двадцатилетним стажем попросил его помочь похоронить жену. Та лежала в гробу в бедном своем одеянии, видимо, в чем и ходила в последний земной день. Взяв трех вольнопоселенцев, вдовец назначил главным Сашку. Пьяные, в метельном мареве, только успели они выдолбить землю по колено, как со стороны села послышалось гиканье и удары бича. Вдовец сидел на гробу, погоняя запаленную лошаденку. Подъехал к самому краю, заорал:

— Хватит! Ей и так пойдет.

Взяли гроб и небрежно бросили в яму. Забросали мерзлыми комьями. Вдовец потоптался кирзовыми сапогами по холмику:

— Теперь не вылезет.

Он запрыгнул в телегу и стеганул лошадку так, что Сашка свалился на дно телеги.

Рассказывая это, Сашка весело смеялся. Немного остыв, засобирався в город, не терпелось ему на мир посмотреть, надышаться воли воль-

ной. Попрощался со мной и пошел бесшумной, неразмашистой, легкой походкой. Выглянув из окна, я увидел, как Сашка неторопливо, размеренно шагал по тропе в тополя. Руки, которым он не находил места, в конце концов сцепились за спиной в более привычное для них положение. Среди размашисто идущих людей, эти сцепленные руки выдавали старого арестанта.

Сашка ходил среди людей, ничего не узнавая. Как же изменилась за эти годы жизнь! На каждом лице лежала тень жестокого перестроечного времени: редкие улыбки, огрубевшие лица, вспышки гнева по пустяковому поводу то тут, то там. Это вам не брежневские времена, когда его посадили в тюрьму! Он был как морская раковина, выброшенная на берег волной, выпитая и зализанная насмерть соленым ветром, в грубой и омертвелой глубине которой, где-то на самом дне, подобно шуму волны, слабо трепетало воспоминание о другом, далеком советском времени. Вернувшись к сестре, только и произнес: «На зоне хоть какие-то законы действуют, а на воле — бардак чертов».

Жизненный багаж, накопленный им к тридцати семи годам, состоял из небольшой, но тяжелой поклажи — два года армии и шестнадцать лет лагерей. Картежный игрок и профессиональный вор. На его небольших, как у подростка руках с тонкими пальцами, под бледной кожей тонкой паутиной просвечивали венки. Этими чуткими руками хотел он взять за глотку свою судьбу. Сыграть с ней крапленой картой. И проиграл все подчистую. С воровским прошлым он завязал, но наметки воровские остались. Каким-то животным чутьем он чувствовал, «где клад зарыт». Бродя по рынку, он прокручивал в уме всю цепь от приобретения товара до денежной реализации, мечтал сорвать свой куш. А это было не просто при пустом кармане и при честной игре.

Спустя несколько дней Сашка исчез ранним утром. А вернулся вечером с полным ведром полевой клубники. Продал ее на рынке. В следующий раз он принес два полных ведра. Через неделю он уже знал все лучшие клубничные места в округе, расписание поездов, чтоб добраться до них, и дни зарплат в городе, стараясь подгадать под них свою торговлю. Вскоре он и нас сманил за ягодами в Орловку. Это была запоминающаяся поездка. Сорок километров по трассе до Черемшанки, да еще пятнадцать по горам, через узкие мосточки, на которых едва вписывался наш «КамАЗ». На такое могли решиться только люди, которые совершенно не разбираются в машинах. День был яркий, как пасхальное яйцо. Орловка эта оказалась затворенной от всего мира кержацкой деревней. На единственном в нее въезде — железные ворота в виде шлагбаума, открывающегося вбок. Самостоятельно открыв их, мы проехали по улице под неодобрительные взгляды сельчан. Километрах в двух от села на взгорке небольшой горы лепились легковые машины. Туда мы и поехали.

Напрасно мы переживали, что нам не достанется ягоды. Ее там столько! Господь милостивый, не покупившись, наградил дарами нашу Алтайскую землю. Десятки гектаров шел сплошной клубничник, все предгорье осыпано ягодой, так и рябит в глазах. Собрав полное ведро и разомлев на солнце, я думал о чем-то своем, чуть не наткнувшись на свинью. Она, похрюкивая от удовольствия, потребляла ягоду вместе с травой. За ней, крутя крючковатыми хвостами, шел целый выводок поросят. Вот так клубничник! Санька и тут, идя по наитию, находил самую крупную ягоду. Целых три ведра насобирал. Я, держась ближе к нему, два.

Остальные по одному, полтора ведра. К вечеру пожаловал дождь. Мы переждали его в будке «КамАЗа», перекусив прихваченной из дому едой. Все остальные ягодники внезапно собрались и разъехались при первых каплях дождя. Лишь на обратном пути мы поняли, почему люди торопились. Нашу дорогу так развезло, что движение по ней больше напоминало сплав по реке. Если бы не набитая колея, то, летя с горы, мы (шесть человек в кабине) рисковали не вписаться в маленький мостик и могли рухнуть в обрыв. Это экстремальное движение раскочило даже выдавшего виды Сашку, сидевшего до мостика молча:

— Меня на зоне не убили, а вы на воле порешите незадорого.

И он, опьяненный жизнью на свободе, исходил раскатистым смехом. Немного не дотянув до трассы, машину стянуло с пригорка в глинистую жижу. И мы с братом Сашкой, до колен вымазав брюки, плелись в Черемшанку за подмогой. В чистом предзакатном воздухе звенели птицы, и солнце веером выпустило свои лучи из окантованного золотой каемкой распластанного облака. О чем мы тогда говорили с братом, я уже не помню. Да и не так это важно. Это был чудесный промельк из той жизни, где люди поддерживают и прощают друг друга. Мы бродили по улицам в поисках тягача, а, увидевдвигающийся трактор Т-150, бросились ему наперерез. Уже в сумерках он вытянул нас на трассу. «КамАЗ» проехал вперед, пропустив длинный трос под рамой, между колесами. Дернул же меня черт пойти назад к дверям будки! Заглядывая в нее, я не заметил, как вокруг моих ног стала с металлическим шипением об асфальт сужаться петля троса, вытягиваемая трактором. И если бы не Сашка, лег бы я на погост раньше его. В тот момент брат, будто ужаленный осой, вскрикнул, усмотрев в темноте своим наметанным волчьим глазом грозящую мне опасность. Мгновенно протянутой рукой он вырвал меня из железной петли, которая, глухо позвякивая, змеей уползла под брюхо «КамАЗа», едва не порвав меня. А за гулом работающего дизельного двигателя мой крик вряд ли бы смогли услышать.

Когда мы вернулись домой, над городом стояла ночь, прошитая густой звездной дробью.

Подкопив немного денег, Сашка вскоре напился. Сидя в квартире сестры Любаши в облюбованном им кресле, он учил нас жить:

— Сидите без дела, когда можно делать деньги. Скоро пойдут яблоки. Нужно рвать в Талды-Курган. У меня там «семейник» живет. Набьем будку и сюда на рынок. Возьмем солидный прикуп.

В тот вечер я ушел раньше, оставив раскрылатившегося старшего брата на попечительство благоразумной сестры.

Сашка добывал деньги непростым трудом и с легкостью их пропивал. В первую же поездку в Усть-Каменогорск он умудрился потерять справку об освобождении. С той поры пошла его жизнь по иному руслу.

Его тянуло на родину, в нашу деревню на берегу Бухтармы, где еще оставалась родня. Поселившись у тетушки Веры, он помогал ей по дому. Выпивал постоянно. Не в силах войти в дом, он падал, едва ступив за ограду. Тетя Вера, большая шутница, на вопросы соседок отвечала:

— Сашка-то?! Да парень-то он хороший! Только из тюрем не вылезит... — И озорно, не по-старушечьи, смеялась.

Как-то подошла она утром к Сашке (тот снова спал на траве в ограде, пьянешенек в стельку), рядом бегал пес, метя территорию.

— Пахнешь ты, Саша, не как цветы на лужайке пахнут, а по-другому совсем...

— Как же я пахну? — спрашивал тетку непослушным языком племянник.

— Вот уж который раз разит от тебя, Саша, собачьей мочой. И это потому, что Барсик наш тебя пометил. Он все у нас метит. А ты давеча, наверно, опять как бревно лежал...

Стоило тетушке пожаловаться на плохую газплиту, как Сашка в ту же ночь приволок на ворованной тележке ворованную газплиту.

— Утащи туда, где взял, — упрашивала теть племянника, а тот снова свалился в глубоком хмелю прямо в ограде.

Закопала она углем ворованное. А утром к ней заявился участковый, Сашкин одноклассник Бирюков. Высматривал все, вынюхивал, даже в угольнице был. Знал, что Сашкиных рук дело, а доказательств не отыскал: глухо запрятала теть Вера чужую вещь, покрывая, как всегда, кровного родственника. А вечером заставила племянника утащить вещь обратно, и больше не жаловалась ни на что, чтобы не спровоцировать легкого на руку Сашку.

Бирюков все равно привлек Сашку за проживание без документов. Шантажируя, заставлял того работать по хозяйству. И Сашка перекрывал крышу, копал картошку, одним словом, претерпевал от участкового, беспаспортная, ненужная душа.

А к зиме он снова подался в Лениногорск, вырвавшись из цепких лап одноклассника-милиционера. У родного брата Бориса жил. Порой Сашка исчезал на несколько дней. Борька не спрашивал, куда и зачем он уходит. А однажды утром в дверь к Борису настойчиво постучали. На пороге стоял милиционер. В руках он держал кроссовки.

— Это твоего брата вещи?

— Да, — узнал кроссовки Борис.

— Придите в морг на опознание.

Сашку зверски убили малолетки на Первом районе, возле магазина. Двое мальчишек и три девчонки. В правой руке он держал наручные часы. Подростки, избив, затащили его в дом и оставили на площадке третьего этажа, где он мучительно умер. Добытые часы не отдал никому, так и не разжав затекшей кисти.

Придя в морг, Борька долго всматривался в распухшее от побоев лицо и не узнавал брата. Лишь когда перевернули того спиной вверх, уверенно опознал его по наколкам. На одной из них черти подбрасывали лопатами уголь в печь, растопляя адский пламень. На другой — парусник, плывущий по волнам.

Оперуполномоченный, составлявший акт опознания, сообщил брату, что подростки уже найдены и дают показания. Забросив в папку бумаги, он сообщил Борису, приторно улыбаясь:

— Малолетки говорят, что брат твой называл себя Летучим Голландцем. Экий весельчак! — Поперхнувшись, он сухо кашлянул в ладонь: — Был...

С похоронами творилось что-то неладное. Гроб заказали, сняв мерку без запаса. Гроб делал явно не специалист. Лицо его мне было знакомым, но я не мог вспомнить, где мы с ним пересекались. Лишь глядя на неумело держащие рубанок руки, будто опаленные коряжины, с вьевшимся в них мазутом, я смог его вспомнить. Еще несколько дней назад он работал на тракторе в районе очистных сооружений. У него я покупал сольрку. Бывший тракторист стругал гроб моему брату. Вот такие фантазмагории нашей жизни. Крест мы остругали вместе. Оставив тракториста-плотни-

ка на время, я поехал на кладбище, где неподалеку друг от друга врывались в промерзшую землю две группы людей. Два старых «каторжанина» рыли могилу Сашке, звеня киркой. А наши соседи, нарвавшись в земле на камень, привезли отбойный молоток и закончили копать к обеду. Когда мы, наконец, выкопали могилу, снова поехали в столярную мастерскую. Наш знакомый столяр, изрядно пьяный, спал на гробу, свернувшись клубком. Когда положили в гроб брата, он оказался Сашке мелковат. Похоронная процессия состояла из одного «КамАЗа». Горсткой людей мы похоронили брата и отвели обед. Поминали его два заматерелых «каторжанина», да три человека родни.

По весне, когда зимние кресты, подмытые вешней водой, вваливаются в землю, самая пора поправлять могилы. Мы пришли с Борисом поправить могилу брата, да вот беда, не нашли ее. На разросшемся за зиму кладбище зимовали бомжи. Они повытаскивали кресты, пробавляясь кое-как кострами до весенней оттепели. Много близнецовых могил осталось той зимой не только без табличек, что сдали бомжи на цветные металлы, но и совсем без крестов.

Борька, сняв шапку, растерянно бродил меж похожих холмов и чужим, хриплым от горечи голосом шептал в апрельскую набухающую синеву:

— Где ты, братка? Откликнись!

Сухо шелестя прошлогодним семенем, откликнулся пробудившийся клен: «Ти-ш-ш-ше...»

— Видать, подался Летучий Голландец в да-а-а-льнее плавание... В небеса...

Борис надел шапку и неспешно поковылял домой.





Надежда Чернова

КАЗАЧКА-ЖИЗНЬ

КНИГА БЫТИЯ

Я открываю Книгу Бытия!
Сверкают снегом отчие края.
Трещат дрова. В окне мигает сальник.
Натоplen дом. И тени надо мной
Качаются молочной пеленой,
И длинным свитком
крутится свивальник.

Теленок спит в соломе у печи.
Клюет петух сухие калачи.
Под лавкою, теснясь, притихли цыпки.
Их от мороза в избу занесли.
И я среди заснеженной земли
Плыву в своем ковчеге — в белой зыбке.

Куда несет меня мой новый дом?
Я выжила в Потопе мировом,
Что родовыми вел меня путями.
И вот — земля! Вот — над землею твердь!
Еще сырою бездной дышит смерть,
Но Жизнь ко мне с любовью руки тянет.



Надежда Чернова родилась в поселке Баянаул Павлодарской области. Окончила факультет журналистики КазГУ. Поэт, прозаик, переводчик, критик. Редактор отдела поэзии литературно-художественного журнала «Простор». Автор 17 книг стихов и прозы. Награждена орденом «Курмет», лауреат международной литературной премии «Алаш».

Я открываю Книгу Бытия!
Я в ней лишь точка. Неприметна я
Среди нетленных вековых сказаний.
Но для чего-то выдохнул Господь
Живой огонь, вложил в нагую плоть,
И дал урок ошибок и терзаний.

Блестят снега. Темнеет колея.
И, может, не однажды жизнь моя
Прочитана была под небесами,
И не зачеркнут ни один глагол:
Его пропел кузнечик иль щегол,
Или ветра над синими лесами.

Я только отзвук дальней песни той,
Сияние над вечной мерзлотой,
Строка воды у скифского кургана.
Меня читают солнце и луна,
Меня стирает новая волна —
И возвращают волны океана.

Я прорастаю солью сквозь века.
Блестит кристаллом каждая строка
В раскрытой Книге солонцов и соров.
Идет ко мне верблюжий караван,
Бегут сайгаки из далеких стран,
И чертит солнце клинопись узоров.

Я открываю Книгу Бытия!
И никогда о том не знаю я,
Куда свернет сюжет судьбы житейской,
Кем буду через миг и через век...
Былинка в поле, слово, человек,
Я снова выхожу из тьмы летейской!

У этой Книги не видать конца.
Непредсказуем замысел Творца:
Передохнув, он пишет продолженье.
Над миром вечным переключка птиц,
Шумят их крылья шелестом страниц,
И длится жизнь моя,
не зная тленья...

МАМЕ

Я девочку встречу, босую, в степи у колодца,
В венке васильковом, в холщовой рубашке худой.
Скажу: «Ты не мать ли моя?» — и она засмеется,
И брызнет в лицо мне колодезной синей водой.

И в степь побежит, подгоняя гусей хворостиной,
Как бегала мама когда-то — легко побежит.
И нет ничего — только воды подернулись тиной.
И нет ничего — только маревом воздух дрожит.

Но всюду, везде я живое дыхание слышу,
Твой лепет младенческий, ножек твоих топоток.
Мгновенье — сидишь на горячей, на глиняной крыше.
Мгновенье — расцвел в этом месте багряный цветок.

Так манишь, меняешь и новые ищешь обличья,
И бабочкой вьешься, и вихрем в пылице слюдяной.
И если мне в поле послышится песенка птичья,
То я не одна — ты со мной, ты повсюду со мной...

* * *

Еще я легка, я еще безмятежна,
Спокоен мой утренний сон,
Но катится красным,
скрипучим,
тележным

Несмазанным колесом
Огромное солнце.
И травы сминает,
И давит поющих стрекоз.
И сердце болит.
И душа моя знает,
Что близко до счастья и слез.

Сначала — до счастья, а после — до горя,
Как всем заповедано жить.
Сначала — до речки, а после — до моря,
Которое не переплыть...

КАЗАЧКА-ЖИЗНЬ

Как ярмарка, шумит степное поле,
Бьют шапкой оземь красные цветы.
И колокольчики с небесных колоколен
Звенят и плачут звоном золотым.

Гуляет Жизнь!
Медами степь обносит.
Казачка-Жизнь, в тебе огонь и стать!
Тебе в ладони медь бросает осень,
Но ничего не хочешь покупать.

Сидят холмы пузатые, в халатах —
Они надулись солнца из пиал.

И чистым потом катятся по скатам
Ручьи дождя,
что мимо пролетал.

Лежат в траве и яблоки, и груши —
Бери хоть все! Вновь ветер натрясет.
И бабочек, как будто чьи-то души,
Казачка-Жизнь задаром отдает...

* * *

Покуда боль сгорит до дна,
Дотла — пройдут века, быть может.
Еще и снится, и тревожит
Протяжный стон Бородина.

И Куликова поля стон —
Кровавый отблеск Божьей кары.
Дерутся с русскими татары —
Мои родные с двух сторон.

Гремят и палица, и щит,
И Русь ордынцев атакует —
И русский дух во мне ликует,
И кровь татарская кипит.

Когда же боль моя пройдет,
Во мне затихнет поле брани,
И никогда уже не ранит
Взошедший на костях осот?

Но гром грохочет по полям —
Там одуванчик перезрелый
Пускает огненные стрелы
И возвращает память нам...

БАЯН-АУЛ

Лес и горы издали пришли
В эту степь, да вот залюбовались
На простор, на солнце — и остались
Посредине выжженной земли.

Так, видать, и прадеды мои,
Сквозь Сибирь пройдя,
остолбенели:
Перед ними горы зеленели
И кипели чистые ручьи.

А за ними — степь и тишина,
Вольный воздух, воля без предела —

Не того ли душенька хотела?
Не того ли жаждала она?

...Холм в степи, а на холме — погост,
Весь в крестах — он из моей родовой:
Казачи Сибири, Бутаковы
Разнотравьем вытянулись в рост.

Здесь последний пост сторожевой
Моих предков — казаков-буянов.
Из рассветной дымки, из туманов
К ним табун торопится живой.

И с могил срываясь тяжело,
Комья глины сыплются к копытам —
Будто смертью насмерть не убитый,
Прах казачий просится в седло.

И летит по утренней земле,
И звенит подковами о камень
Конница
с лихими седоками
В просоленном кожаном седле.



Амантай Утегенов

ВОСТОЧНЫЕ СТРОКИ

РУБАЯТ

Вновь утверждая, что во всем ты прав,
Толпу опять вокруг себя собрав,
Бороться призываешь ты со злом.
Не лучше ли расширить мир добра.

* * *

Зачем уткнулся в телевизор ты,
Когда и сквозь асфальт взошли цветы.
Вглядись в цветенье яркое тюльпанов,
Они сгорают быстро, как мечты.

* * *

Любуйся возвращением птичьих стай,
В глазах любимых нежность прочитай,
Дари друзьям хорошие слова,
Ты гость недолгий в мире, Амантай.

* * *

Я луч из тьмы одной в другую тьму,
Миг, впаянный в телесную тюрьму,



Амантай Утегенов родился в 1951 году в городе Уральске. Окончил факультет журналистики КазГУ. Поэт и переводчик. Автор книг стихов «Лучи в ладонях», «Картинка», «Мужские стихи», «Мост через остров», «Запретный плод» и др. Член Союза писателей Казахстана и Международного ПЕН-клуба. Живет в Актобе.

Меня родив, свершила чудо мать —
В дар принесла меня мне самому.

* * *

Я каждым мигом жизни дорожу.
О каждом миге только не сложу
Своих заветных строк я. Не успею.
Но, что успею, то и расскажу.

* * *

Умен ты и талантлив, и ленив...
Но, как ни праздно ты проводишь дни,
Быть нужно глупым, чтоб корить тебя,
И быть бездарным, чтоб тебя винить.

* * *

Опять в ночи тоскует соловей
И трели льет из зелени ветвей.
Когда б не тосковал он — то не пел бы,
Чаруя слух мелодией своей.

КЫТЪА

Жизнь не сахар. Будь упрямым, будь упорным, сильным будь.
А иначе станешь жалким и презренным станешь, брат.

Не топи в вине обиду, не томи родных и близких,
Если так пойдет и дальше, будешь сам себе не рад.

Обрекла на испытанья жизнь, а времена на стужу.
Лишь коварным, хитрым, скользким здесь достаточно тепло.

Не проси богатств у Бога, а достатка добивайся
Повседневным своим потом и уменьшишь в мире зло.

Каждый за себя в ответе. Уж такое нынче время.
Каждый выторговать больше метит, каждый чтит барыш.

Не скажу, чтоб ты таким же стал. Но только, умоляю,
Не топи в вине обиды, просто попусту сгоришь.

ГАЗЕЛИ

Не верь, любимая, поэту никогда.
Другой он увлечется без стыда.

Жизнь для него лишь поиск той души,
В которой раствориться навсегда.

И в поисках поэту не помеха
Ни суд людской, пожалуй, ни года.

Но знай, любимая, что никому поэт
Ни зла не сделает, ни боли, ни вреда.

И не покинет он тебя вовек,
Коль приключится вдруг с тобой беда.

Но лишь в тебе почувствует он фальшь,
В миг отвернется от тебя тогда.

* * *

Во чреве молчанья рождаются строки.
А путь к совершенству даруют пороки.

Средь тысяч знакомых, десятков друзей я
Себя ощущаю всегда одиноким.

Премудрых творений слова мне понятны,
Но мысли доступны, знать, только пророкам.

Бесстрастное и бесконечное время
Всему намечает предельные сроки.

Любимым, любимая, быть не мечтаю,
Тебя не считаю, однако, жестокой.

Ты так неприступна и этим чаруешь,
Тянусь к тебе, зная, что ты недотрога.

Из всех своих ребер подруг сотворил я
И всех растерял навсегда ненароком.

Когда ты других увлечешь за собою,
Восторги их переродятся в упреки.

Есть сотни дорог, проторенных под солнцем,
Во тьме лишь ступаешь своею дорогой.



Николай Зайцев

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПАМЯТИ

Рассказ

Володька Фомин разбился. Разбился насмерть. Бывало у него, сядет на мотоцикл, уедет за город и гоняет там по бездорожью, будто помешанный. Потом ничего, загонит машину в сарай и не вспоминает с неделю, а то и больше. Найдёт блажь, снова целыми днями может гонять, кончится кураж, мотоцикл на прикол и забудет. Вроде запоя что-то, только без водки.

И в этот раз все было так же. Гонял, гонял, а потом нашли его метрах в двадцати от мотоцикла. Лицо начисто снес. Лежал теперь в гробу, вместо головы — бинты. Потому вроде как и не он. И только мать знала, что он. Она гладила закрытое бинтами лицо, время от времени припадала к нему щекой, замирала, как бы прислушиваясь. Горе ее было так велико, что сдавило ее со всех сторон, она сжалась в маленький, черный комочек, застывший на стуле возле гроба.

Приходили Володины друзья, громоздились у гроба в виноватых позах, явно недопонимая произошедшее. Они же зачем-то приволокли с места трагедии искореженный мотоцикл, и тот краснел грудой металла у дровяного сарая. Его, конечно, можно будет восстановить, да вот только Володька уже не сядет за его руль. Такие мысли возникали у многих людей, приходивших проститься. Друзей у Фомина было много, потому их присутствие казалось постоянным. На самом деле они просто подменяли друг друга на этом печальном дежурстве. Многие из них искренне любили Володю и теперь пугливо глядели на его обезличенную марлей голову. Они не верили, что там, за нелепой повязкой из бинтов, кроется



Николай Зайцев родился в 1950 году в городе Талгаре Алматинской области. Окончил среднюю школу №1 г. Талгара. Мастер по изготовлению очковой оптики. Публиковался в ведущих казахстанских и российских журналах. Автор 5 книг стихов и прозы. Лауреат премии и.м. В. Белова, форума «Золотой витязь» и др.

такое знакомое многим с самого детства лицо. Лицо красивое и славное. В гробу лежал кусок их жизни. Добрый кусок. В гробу лежал не только Володя. Там лежало многое для многих. А для матери все. Это все оставляло мысли, движения, давило объемом непонятности, безвозвратности и потому невозможности мыслить. Были слова, но они не запомнились, пропадали в неясности своего будущего. Потому как будущего не стало. Как не стало его у Володьки Фомина.

Фомин в своей жизни был человеком со странностями. Да и у кого их нет? У одних это считается нормальным, у других — странным. Вообще-то он был нормальным парнем, как все до случая, которые происходят сплошь и рядом. Лет пятнадцать тому назад была у Фомина невеста. Все окончательно договорено у них промеж собою было. Уже и свадьбу хотели играть по осени, да она пропала невесть куда, невеста та. Володька туда-сюда искать, но никто ничего не знает. Только, почитай, через неделю мамаша невестина призналась, что та уехала с залетным офицером куда-то аж за Байкал. На Баргузин, короче, подалась.

Фомина после этого как подменили, молчалив стал, к девчонкам ни шагу. Сколько за ним красавиц увивалось, но он будто замороженный стал. С матерью вдвоем так и жили. Работал он по командировкам, половину месяца работает, потом дома. То приемник какой-нибудь новейший собирает, то мотоцикл купит и воспитывает его на бездорожье. В доме у него все на своем месте. Как у людей. Да вот не женился никак. Мать вначале пыталась поговорить с ним о женитьбе, но после отказалась от этого. Не хочет он о том говорить. Начали сердобольные люди невест ему сватать, а он так взбрыкнул, что и все остальные от него отступились.

А так со всеми был дружен. Только приедет из командировки, тут же друзей полон дом. Иногда и выпивали понемногу. Но не часто, да и не зло как-то пили. Больше для разговора, чем для крика. Зарабатывал Володька хорошо, почему бы не посидеть с друзьями, не выпить? В общем, завидный был жених, да не женился. А еще невеста его через год-полтора явилась домой, притихшая да помятая, с приплодом. Оправилась понемногу, посмелела, призабыла чуть забайкальского гусара, тоже стала на Володьку поглядывать. Было на что посмотреть. Как говорится, и ростом, и лицом вышел. Начала все к матери его похаживать с разговорами, пока Володьки дома нет. Да он их как-то застал на их тайной вечере, не ждали, видно, ну все и прекратилось. Поговорили, конечно. Мать его потом рассказывала соседям: «Сидим, говорим о нем, а он вот и входит. Гости, говорит, у нас, а что же стол не накрыт? Ну, думаю, слава Богу, пронесло. Собрала на стол, он бутылку принес. Выпили, закусили. Он и говорит: «Вот это наша свадьба была. — Снова налил, выпил. — А это вот — развод. — Мы и глаза вытаращили. — До пояса, говорит, я тебя еще люблю, а вот ниже, простите, — нет. А половиной ведь ты стать не можешь? Не можешь. Я лучше тебя ту, давнюю, буду любить полностью, чем эту твою нынешнюю половину. Прощайте». И ушел. А мы так с открытыми ртами и остались сидеть». Ну, а потом все по-старому пошло.

Бывает такое, вроде у всех чувства, да у всех по-разному. Одному — та ли женщина, другая, без разницы. А у другого, как замкнет, от первой любви никуда. Носит в себе одному ему понятную радость, тешится ею. Говорят, что несчастлив он. А кто его знает, кто более счастлив: тот, кто баб каждый день меняет, или кто один на своей свадьбе гуляет? Кто свою первую любовь чистой сберег, хотя бы для себя. Как он там с ней по ночам беседует, никто не слышал. А если кто и слышал, не расскажет.

Это тайна. Тайна, которую знает один. Досужие вымыслы — это равнение на себя. Не все так смогут, зараз отлюбить на всю жизнь. Или, скорее, наоборот, всю жизнь любить один раз. Это не только в романах, но и в жизни бывает. Только в жизни неясно как-то. Неярко.

Похоронили Володьку. Все честь честью. По-христиански. Обрела покой душа его, а с ней и любовь. Любовь его тут же, у гроба, рыдала. Белугой редела. Тоже, видно, не просто у нее все это было и прошло. Дорого ей свое беспомыслие далось. Так бывает, в омут бух, ничего не видно, не слышно — хорошо, а вынырнешь — опять то же, что было, только уже видней. Боль как резанет по глазам, по сердцу. А тут крест на всем этом. Крест, и все тут. Под крестом отмучившийся лежит, а вокруг мученики стоят. Кто чем мается. Под крестом у каждого своя боль осталась. Вроде хорошо, зарыли боль, нет ее. Ан нет, связь с этой болью потеряешь — даже вздрогнешь от такой потери. Человек — он из боли состоит. Чтобы знал, что живой. Все думает себе, скорей бы боль прошла, а пройдет, себе не рад, все о прошлом вспоминает, все боль свою там ищет. Найдет — тешится. А если зарыли, где найдешь? Мечтать не всякий человек способен.

Но как бы то ни было, схоронили Володьку. Помянули, как водится, дома. Друзья, как столбы за столом сидели, мать, как тростиночка меж ними. Каждый за поминальным столом о смерти думал. О несправедливости ее, непонятности. Дом был полон людей, а казался пустым. Все было мертвым, слова, движения. Им не было продолжения, и они, не успев родиться, погибали, сраженные своей незначительностью. Разошлись поздно, старушки остались молиться, другие по домам пошли.

Воскресенье занялось свободным, светлым утром. Первым пришел Витька Михайлов. Он влез в дверь, посмотрел на старушек, поздоровался, помялся малость и выдал такие слова:

— Теть Маша, я тут Володьке денег должен. Строился, дак занимал. Вот принес.

Старушки повернули в его сторону свои отжившие лица. Лица поморщились, как будто что-то вспоминая, и через некоторое время выразили удивление. Мать поправила черный платок:

— Бог с тобой, Витя. Зачем они ему теперь. Оставь себе. Вспомнишь когда.

— Что вы, тетя Маша, не могу я так. Друг ведь он мне. Не хочу, чтобы промеж нас долг был.

— Да ведь помер он, сыночек-то мой.

— Не помер он вовсе, просто ушел от нас. Надоели мы ему, видно. Он сильный был, вот и ушел. Должны были мы, да мы не можем.

— Окстись, Витя, что говоришь-то, — одна из старушек покачала головой.

Витька положил деньги на стол и хотел было выйти, но навстречу, оттолкнув его, вошел еще один Володькин друг — Николай. Он был угрюм и озабочен. Разговор с матерью повторился. Деньги легли рядом с первыми. Потом пошло. Друзей набился полон дом. Приносили по-всякому. Кто сколько раньше брал, то и приносил. Горка денег на столе росла. Старушки притихли. Не привыкшие в своей жизни к деньгам, они испуганно смотрели на деньги, никому не принадлежащие. Парни стояли вокруг, не зная о чем говорить, да и нужны ли были разговоры в этот миг. Были деньги, были люди, но не было человека, который мог распорядиться этим богатством. Без него им не суждено было выполнять свое предназначение. Деньги перестали быть деньгами. Они стали доброй памятью

о человеке, помогающем людям. Может быть, первый раз деньги напомнили о добре. Неожиданно для всех горка из денежных купюр стала памятником. Мемориалом дружбы, доброты, всего хорошего, что еще осталось у людей. Каждый думал о своем, но в мыслях этих людей не было жадности. Одни отдали долг, другие его не приняли. Не потому, что им не нужны были деньги, но потому, что они им не принадлежали. Это был ритуал возвращения человеческой честности. Своего рода посвящение в нее. Деньги не были деньгами, люди стали людьми. Вдруг судорожно сжалась и заплакала мать. Старушки кинулись ее утешить. Вскоре она успокоилась. Глаза ее немного просветлели, и она медленно поднялась. Она на что-то решилась. Подгрести со всех сторон денежные бумажки, обвела взглядом комнату. Лицо ее прояснилось.

«Пусть каждый, — сказала она, — возьмет себе денег столько, сколько ему нужно. Считайте, что это говорит вам Володя. Исполните его просьбу. Он бы не сказал по-другому. Это последнее, о чем он вас просит».

Мать опустила на лавку, и лицо ее как-то сразу померкло. Она снова стала маленьким темным комочком, сжатым со всех сторон пустотой. Мир для нее был сыном. Теперь мир был пуст. Пустота огромна. В пустоте все маленькое. Все, кроме памяти. Память боролась с пустотой. Лицо матери снова начало озаряться теплым светом, она что-то вспомнила. Взяла пачку денег со стола и сунула ее в руки сидевшей рядом старушке. Та закрестилась. Вскоре все старушки были оделены деньгами. Кто-то из парней сдвинулся с места первым, а может, первого и не было вовсе. Просто все сразу подошли к столу. Каждый брал денег, сколько мог меньше. Брали с краю. Видно, боялись сломать памятник. Потихоньку выходили из дому. Никто не прятал взятых денег. Так и расходились, держа деньги в руках. Они держали в руках память. Память нельзя прятать.





Илья Кулёв

ДУША НЕУЕМНАЯ

ТУРГУСУН

Что ж ты маешься, душа тургусунская,
День и ночь шумишь, не ведая сна?
То ль ущелья для тебя стали узкими,
То ли сердце опьянила весна?
Валуны куда-то катишь огромные,
Что сегодня у тебя на уме?
Ну, скажи ты мне, душа неуемная.
Вон как рвешься ты к своей Бухтарме!

А на склонах пихты сгрудились праведно,
Им, замшело-вековым, невдомек,
Отчего живешь ты как-то неправильно,
А с надрывом — всей судьбе поперек?
И тебя с какой-то страстью неистойвой
Так и вертит день и ночь в кутерьме.
Видно, верен ты на свете единственной...
Вон как рвешься ты к своей Бухтарме!

На отрогах стала зелень заметнее,
Закружились над травой шмели.
И в лощинах огоньками заветными
Снова яркие жарки зацвели.
Ах, тоска до боли неутолимая,
Лучше вольно жить, чем в вечном яреме, —
В чистом поле, да навеки с любимой...
Вон как рвешься ты к своей Бухтарме!



Илья Кулёв родился в 1953 году в селе Тургусун Зырянского района Восточно-Казахстанской области. Окончил Усть-Каменогорский пединститут, КазГУ. Работал учителем, почти 40 лет — журналист. Стихи публиковались в газете «Сельская жизнь», журнале «Сельская молодежь». Лауреат международного конкурса русскоязычной литературы, проводимого литературным агентством «Новые писатели» (Москва).

ДЕРЕВНЯ

К деревне сердцем прикипел навек,
Хоть городские ритмы мне не чужды.
Поймите, мне другой судьбы не нужно —
Я от рожденья сельский человек.

Поверьте, мне жилось бы нелегко
Без этих нив, без этой вот глубинки.
Дорога начинается с тропинки,
Как и река большая — с родников.

Здесь отчий дом мой. И при всем при том
Деревня — это всех начал начало.
И Русь с деревни строилась сначала,
А города возникли уж потом.

ЧЕТВЕРОСТИШИЯ О ТЕБЕ

* * *

У порога твоего я постою немного,
Даль дорог изведавший сполна.
От тебя — на все четыре стороны дорога.
А к тебе — одна... Всего одна...

* * *

Все звонят колокола, звонят,
Узость — бытия, небытия — безбрежность.
Если что-то есть святое у меня —
Это глаз твоих нетронутая нежность.

* * *

Эх, года бы немного сбросить...
Но мечтанья мои напрасны.
Ты похожа на бабью осень —
Так же призрачна и прекрасна!

* * *

Даже если я в чем-то совру —
Промолчи, не захлопывай дверь.
А вот если однажды умру —
Ты не верь! Ты не верь. Ты не верь...

* * *

И простить еще не успела,
И «прощай» еще не сказала...
Было счастье, да улетело.
Знать, любовью не привязала...



Любовь Шашкова

ДЕВИЧЬИ ПОТЕШКИ

Из цикла «Времена года»

* * *

Осень-то хозяйшкa богатая —
Припасливая, тороватая.

Парчу-золото кажет,
Снопы вяжет,
Птиц небесных в стаи нижет.

Вон ластовки встрепенулися,
Журавли на Киев потянулися.

Серпы греют да вода холодит!
Симеон-то лето продал —
Осенницу выгодал!

Осенью и у вороны копна,
Что тетереву дана!

И про тебя, про света все приспето —
Щуки да сиги, кушай да сиди,
Не гляди спесиво —
Ин позовут и к пиву.



Любовь Шашкова родилась в Беларуси. Окончила факультет журналистики КазГУ. Поэт, переводчик, публицист. Редактор отдела культуры и очерка журнала «Простор». Автор семи книг стихов и поэм. Активно занимается переводами с казахского, белорусского и других языков. Награждена Почётным знаком «Деятель культуры Республики Казахстан», медалью Госдумы РФ «За вклад в культуру и искусство» и другими наградами.

А тетушка-то Мосевна
До всего света милосердна,
А дома не евши сидят.

Бабье лето до Федоры,
а там и засидки впору.
Капустенские вечерки,
бабьи-девичьи перетолки.

Сказал красно — по избам пошло,
А смолчится — самому сгодится.

Хоть личико разгордчиво
Да ретиво сердце зазнобчиво.
И уж девка готова
В широки рукава
Клать кралюшки слова.

Боженьки, какой же он гоженький!
В красных сапожках щеголяет,
Семечки щелкает,
Денежки считает — пересчитывает!

Ан глядь:
Милости просим
Мимо ворот щей хлебать!

Осень сваха переборчивая,
Привередливая, неговорчивая:
Рядись да взглядись,
Верши — не спеши,
Делай — не греш.

Впереди, чать, вся зима —
Посвадебничает сама.

* * *

Прилетел кулик из заморья
Принес весну из неволья.

Весна идет долгожданная —
Зеленая, духмяная.

Взмахнула левым рукавом —
Пташки в небушке,
Взмахнула правым рукавом —
Поле с хлебушком.
Повела руками —
Луг покрыт цветами.

Весна днем красна,
а другим ненастна.

Ай-ай, месяц май
И тепел да холоден, и сыт да голоден.

За все весна ответчица:
Как сено металось,
Как рожь молотилась,
Как добро копилось.

Что осенью пнешь ногой —
То весной возьмешь рукой
Да Богу поклонисься!

Никола вешний — в работе спешный,
Выбьет лен из-под колен.

Рад бы жениться, да май не велит,
С пахотой спешит.
А Марина не малина, в однолетье не опадет.

В апреле — девичьи затеи:
Песни-веснянки, хороводы-гулянки.
Красна девка в хороводе,
Что маков цвет в огороде!

Ваньку-то — в плуг, а он — в луг!

Ан любовь холостого, что вешний лед —
Солнышко пригреет — и пройдет!

В май жениться — век промаяться.
Свекровь говорит: нам медведицу ведут,
Свекор говорит: людоядицу ведут,
Деверья говорят: нам неткаху ведут,
Золовки говорят: нам непряху ведут.

А девка удала — всем взяла:
И работница, и хороводница,
И до плюшек-шанежек охотница!

Все любят добро, да не всех любит оно.

Ох, летом страдные работушки,
Осенью-то бездорожица,
Зимой зимушка студеная,
Весной пахота поденная!

Ан весна да лето — минет и это!
Весна с земли в миг слетает —
В золотом лете тает!

В сороки святыя
Взлетят жавороночки золотые.

В мартовский солнцеворот
начинай с начала год!



ЖИЗНЬ ПРЕДСКАЗУЕМА ТОЛЬКО СЛЕГКА

ФИЛОСОФИЯ ПУТИ

У каждого из представленных в этой подборке авторов за плечами — груз лет, каждый имеет свой почерк. Сходство лишь в одном — желании через творчество изменить мир к лучшему, начиная с себя.

У **Маргариты Ивашиной**, педагога по образованию, мелодика стиха настроена на интимность и камерность. **Сергей Ерошенко** в стихах больше публицист. **Татьяна Мирошникова** исполняет под гитару чужие песни, но и сама не чужда поэтической лире. Ее стих легок, светел и музыкален. **Вадим Син** любит Николая Гумилева, старых китайских поэтов, Омара Хайяма. От последнего, видимо, — тяга к малым формам. Музу **Игоря Алексеенко** питает чистейший источник — русское Православие. О чем бы он ни писал, лик Христа неизменно стоит над ним. Стихи **Николая Кульгускина** внешне не броски, но как-то по-особому доверчивы.

Все те, кого я здесь назвал, успели отметиться в виртуальном пространстве Интернета. На журнальных страницах — у них дебют. А в слове «дебют» спрятано много понятий. Самое главное из них — надежда. Она светит, она торопит в путь, она не дает покоя.

Евгений ТИТАЕВ,
*руководитель литературного объединения
«Иртышские огоньки», г. Семей*

Маргарита Ивашина

В МОЕЙ ЗИМЕ...

В моей зиме тебя не станет...
Не оттого, что холода,
Не оттого, что кто-то манит, —
Ты просто не придешь сюда.
В каморке горя и тревоги
Нет места даже для двоих,

И сметены туда дороги
Ветрами слов и слез моих.
За бурей крик мой не услышишь,
А я с молитвой буду ждать.
Я буду помнить, как ты дышишь.
А ты... не станешь ты искать.
И, миновав года и скалы,
На стертой грани давних слов
Поймешь, как бесконечно мало
С моим лицом одних лишь снов.

Сергей Ерошенко

* * *

Все пройдет, все пройдет...
Сокрушаться об этом не надо,
Огорчаться не стоит —
Ведь это закон естества:
Жаркий солнечный полдень
Сменяет ночная прохлада,
А с осин и берез
в сентябре опадает листва.

Все идет чередом,
Все расписано в жизни по срокам,
Если что-то ушло,
То зачем мы об этом скорбим?
Пусть опавшие листья
Уносятся горным потоком,
Чтобы новой весной
Было где распускаться другим...

Татьяна Мирошникова

* * *

Жизнь предсказуема только слегка,
Самое разное может случиться.
Все перемелется, будет мука,
Белая, высшего сорта мучица.

С этой мукой заведем куличи,
Сладкие, сдобные, нам в утешенье.
Что ж ты подавленно, горько молчишь?
Разве не радуется щебет весенний?

Разве не чудо, что в небе большом
Плавно скользят облака, словно лодки?

Живы покуда мы — все хорошо.
Век у несчастий, поверь мне, короткий.

Этот безумный, зарвавшийся мир
Создан по принципу «стая на стаю».
Нам бы во всем оставаться людьми,
В сердце обид и долгов не считая.

Тайные клады души открывать —
Те, что обыденность делают краше.
Слышишь, скрипят и поют жернова?
Это несчастья мелются наши.

КРАШЕНКИ, ПИСАНКИ...

Давно забыты времена
(Ведь два столетия прошло),
Когда седая старина
Творила диво-ремесло.

Во дни Великого поста
В руках искусных мастериц
На свет рождалась красота
Чудесной росписи яиц.

В каких заветных сундуках
Секреты росписи лежат?
Быть может, в старческих руках
Святой и давний тот обряд?

Лучинка, краски, воск, игла
На службе тех искусных рук.
Молитва добрая текла
Под своды келий и лачуг.

Не день, не два, а долгий срок,
На скорлупу кладя узор,
Неспешно, за витком виток,
Трудились руки, глаз остер

У мастериц. А свет свечи
Неярок был — изба слепа.
Волшебной сказкою в ночи
Преображалась скорлупа.

А нынче просто все у нас —
Наклейка-пленка, кипяток.
В том мало радости для глаз.
И я, купив яиц лоток,

Достану краски и иглу,
Свечу из воска, спицу, нить,
Воздав традициям хвалу,
Начну художество творить.

Пусть много времени прошло,
Склоню главу пред стариной.
Рисуй, тончайшее стило,
Орнамент, выдуманный мной.

Вадим Син

* * *

О, мудрый император, ты запретил умельцам
Нефрит тончайший, нежный испытывать резцом.
Что к красоте прибавить, впитаешь только сердцем,
И дух ее и тайна не познаны умом.

* * *

На окнах — серебряные акварели,
Их автор — природа, но подписи нет.
Коснешься — растают снежные ели,
В горах безымянных погаснет рассвет.

* * *

Там — ключ простой, а здесь — Святой,
В нем больше Веры, больше сил,
Но пил я из простого в зной,
И, как Святой, простой целил.

* * *

Сквозь огненный лес летит рыжий сеттер
К болоту уток встречать.
А я не спешу и слушаю ветер.
Сюда я пришел помолчать.

Игорь Алексеенко

* * *

Когда тонули души в кумачах
И погибали в телогрейках серых,
На немощных старушечьих плечах
Русь вынесла свою святую веру.

Тернистый путь заступницы прошли,
За целый мир скорбя под образами,
И каждый храм поруганной земли
Омыт простыми бабьими слезами.
Клонились долу острые штыки,
Молчали виновато жерла пушек,
И расступались грозные «сынки»
Перед любовью простеньких старушек.
Не доставало злобы палачам
Дерзать на материнские седины.
Воздайте честь их тоненьким свечам,
Воспойте славу их согбенным спинам!
Они взошли на тысячи голгоф,
И тихий этот подвиг не измерить.
Благословенна память их шагов.
Да даст Господь и нам так свято верить!

* * *

Осенняя есенинская грусть
И молчаливо-синее раздолье,
Люблю тебя и знаю наизусть,
Земли моей цветное разнopolье.
Брожу один по брошенным местам,
Под шепот трав и родников моление,
И так светло, как будто длань Христа
Легла на мир невидимую сенью.

Николай Кульгускин

* * *

Ель зеленую в июне
Будто снегом занесло,
Гонит, гонит баба Дуня
По асфальту пух метлой.

И ворчит на шалый ветер
И на тополь-великан:
«Перестаньте, пожалейте...
Забери вас всех шайтан.

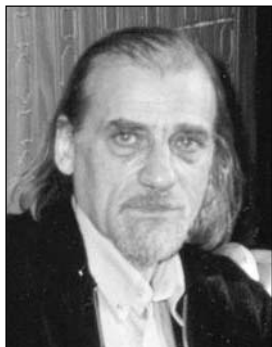
Сговорились оба, что ли,
Сыплют бабушке назло,
Снова вздуются мозоли
На руках тугим узлом...»

А пушинки, как снежинки,
В танце кружатся над ней,

На платок, халат, на джинсы
Налипают все сильней.

Нет, не справиться старушке,
Да и сила — уж не та,
Сбила белую опушку,
Проворчала: «Маета...»

И по узенькой аллее
Мимо дома побрела...
Только плечи все белели,
Превращаясь в два крыла.



Ефим Аронович Гаммер родился в 1945 году в городе Оренбурге. Окончил отделение журналистики Латвийского госуниверситета. Публиковался в журналах *Израиля, России, США, Германии и др.* Автор 18 книг и 14 электронных произведений, изданных в разных странах. Лауреат многих международных премий по литературе, в том числе Бунинской премии, «Добрая лира», им. С. Михалкова, им. А. Толстого, по журналистике и изобразительному искусству. Состоит в израильских и международных Союзах писателей, журналистов, художников. Живет в Израиле.

Ефим Гаммер

ИЗ ДЕТСТВА УХОДИЛИ НА ВОЙНУ

Роман о непридуманной жизни

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

У Анны Петровны — худощавой женщины с юношеской фигурой и не по возрасту угловатыми движениями — настроение было испорчено с самого утра.

Скверное расположение духа привело к обычным последствиям: красные пятна выступили на лице, кожа зудела, губы невольно подергивались. Она искала — на чем сорвать гнев. Но ничего подходящего не подворачивалось — квартира прибрана, вещи не разбросаны, и даже Клавку-растеряху не за что упрекнуть, ее куклы аккуратно сложены в картонной коробке из-под тувель. Хоть бы будильник внезапно зазвонил, что ли... Трахнула бы его о стену — малость, но все-таки полегчало бы.

Только что, еще каких-то десять минут назад, Анна Петровна и не подозревала о скором расставании с домом, налаженным житьем-бытьем. Ей и в голову не приходило, что она может уехать, оставив дочь, прежде чем появится мама, которая еще в конце июня выбралась из Одессы и по сей день где-то тащится на перекладных, подав о себе лишь однажды

Журнальный вариант

весточку. Там, на берегу Черного моря, в городском предместье Люстдорф, где с начала девятнадцатого века обустроилась немецкая сельскохозяйственная колония, Анна Петровна познакомилась с будущим своим мужем Борухом Вербовским, студентом, проходившим практику в школе, где она учительствовала. Борух был младшим братом Аврума Вербовского, отважного солдата Первой мировой войны, знаменитого на Молдаванке человека. Сам он тоже пользовался не меньшей известностью. Но не своими боевыми выходками, а поэтическими переводами классиков. Слово за слово, стихи Гейне и Рильке в оригинальном звучании — и любовь, внезапно возникшая, повела их по жизни, чтобы, как казалось, никогда не разлучать. Распределение они получили в Славянск, здесь и прижились у старшего из братьев Моисея Вербовского, тоже учителя и знатока немецкого языка.

Брат Боруха располагал трехкомнатной квартирой, не имеющей, по мнению Анны Петровны, должного ухода. Оно и понятно, если учесть, что его жена умерла в родах, и Моисей обходился без женского пригляда, жил с сыном Колькой, баловником и непоседой, не способным заниматься домашним хозяйством, да и за собой присмотреть. Немало трудностей пришлось преодолеть Анне Петровне, чтобы наладить бытовой уклад на новом месте. И вот, когда, наконец, все вошло в спокойное русло, внезапно разразилась война, раскидала людей неведомо куда. И что теперь? Начинать все сызнова, в одиночестве, без Боруха и Моисея, ушедших на фронт. С их детьми, за которыми нужен уход да уход. Начинать... А как начинать, если гонят из дома?

Десять минут назад в дверь требовательно постучали. Анна Петровна в шлепанцах на босу ногу вышла в переднюю. Впустила раннюю гостью.

Дворничиха Пелагея Даниловна, бойкая старушонка с пританцовывающей походкой, обутая в мужские ботинки, выпалила скороговоркой:

— Принято постановление: всем невоеннообязанным выехать на строительство оборонительного рубежа. Сбор в шесть ноль-ноль. Завтра. — Она протянула Анне Петровне конторскую книгу с длинным списком фамилий на развороте и властно потребовала: — Распишитесь, гражданка Вербовская.

— Вы не по адресу! — вспыхнула Анна Петровна. — Я военнообязанная. Переводчица. Состою на особом учете.

— Нет-нет, и не говорите! — наступала дворничиха с нацеленным в сердце Анны Петровны химическим карандашом. — Нам сказано: всех — под гребенку. И в отношении вас — сказано.

— Кем сказано?

— Кем сказано, тем и сказано! В отношении вас, гражданка Вербовская, строго определенное указание — на строительство. Вы по национальности — немка, в нашу армию сейчас вас вряд ли возьмут.

— Кто сказал?

— Домуправ сказал.

— Много он понимает!

— Не вам судить, что он понимает. Но раз сказал, значит, понимает.

— Странно!

— И ничего здесь странного нет! Все, как полагается. — Дворничиха продолжала свой бесконечный танец, прижимая Анну Петровну к двери. — Но учтите, не явившиеся в означенный срок будут у нас рассматриваться за дезертиров.

— Ну, знаете... — возмутилась Анна Петровна. — Да вы... Вы!.. Как вам не стыдно, Пелагея Даниловна!

Дворничиха усмехнулась уголками рта. Повернулась и, пританцовывая по коридору к выходу, бросила через плечо:

— Стыдно должно быть тем, кто не явится в означенный срок.

Она прикрыла за собой дверь и поспешно начала спускаться по лестнице, чтобы избавиться себя от дальнейшего совершенно бесполезного разговора.

Анна Петровна вернулась в спальню. Рухнула ничком на кровать.

«Как теперь быть с детьми? На кого оставить Клавю? На племяша? Но разве можно полагаться на Кольку? Он ведь — шельма! — ни постирает, ни накормит вовремя... Что делать? Если бы хоть мама успела приехать! Но какие сейчас поезда?»

Колька высунулся из дверной щели.

— Кто это приходил?

— Пелагея Даниловна.

— И чего она?

— Отрывают меня от вас, Коля, — вот чего. В такое время! — Анна Петровна, обхватив колени руками, покачивалась на кровати в такт словам и ощущала давящую боль в груди.

— На фронт? Повестка?

— Строительные работы. Граншей буду за городом рыть.

— Бой, значит, тут у нас будет?

— Лучше бы не у нас...

— Конечно, правильней на их территории и малой кровью, — заученно, как из книжки, сказал Колька, и тут же добавил от себя: — Но Гавроши рождаются на нашей территории. Тетя Аня, возьмите меня с собой.

— А на кого я Клавю оставлю?

— Понял. Оставляйте ее на меня. За мной, как за каменной стеной. А если кто обидит ее, враз поколочу.

— Вот-вот, у тебя лишь драки на уме.

— Я первый не начинаю. А в защиту Клавки — что? — прикажете улыбаться?

Анна Петровна потянулась к тумбочке за лежащей коробкой «Казбека». Нервно поиграла пальцами, выбирая на ощупь папиросу. Размяла ее, не ссыпав ни пылинки табака на кровать. Закурила.

— Драки, драки на уме. А от отца твоего Моисея Шимоновича...

— Михаила Симоновича, тетя Аня! — поправил Колька, шмыгнув носом.

— Ладно тебе, нашел перед кем стесняться! От отца твоего никаких известий. Ранен? Убит? В плен попал? И от мужа моего, Боруха Шимоновича...

— Бориса Симоновича, — насупленно вставил Колька.

— Ничего от них. Как ушли на фронт, так и сгнули. А им нельзя в плен. Они... Фашисты всех вас... Евреев они убивают — всех, без исключения. Это нам на курсах военных переводчиков растолковали. А ты говоришь: бой тут будет. Почти до паспорта дорос, а рассуждаешь, как ребенок. Зачем нам тут бой? Пусть он будет где-нибудь подальше.

— Тетя Аня, я не Генштаб.

— Ладно тебе, балаболка! Иди завтракать, и марш на улицу.

2

Через полчаса во дворе уже всюду шла игра в «Спасенное знамя».

Площадка, разделенная поперечной чертой на два равных поля, превратилась в театр военных действий. Здесь совершали смелые рейды в тыл неприятеля, брали в плен и освобождали из плена.

Ни одной из двух соперничающих команд не удавалось похитить чужое знамя — тонкую палочку с прикрепленной к ней полоской бумаги.

Колька под напором преобладающих сил противника отступал к знамени, воткнутому за его спиной в землю. Все меньше и меньше оставалось у него напарников. Менее изворотливые из них были «засалены» при нарушении границы, ког-

да прорывались на территорию противника, и теперь без особой хитрости их не вызволить.

Колька согласен был рискнуть, броситься вперед сломя голову, но беспокоился — знамя, оставленное без прикрытия, легко похитить.

Мальчики из Колькиной команды стояли в позе «замри» и с надеждой наблюдали за своим предводителем, зная, насколько он, атаман «разбойников Робин-Гуда», ловок и удачлив. Много раз Колька водил их на «казаков» Володи Гарновского. И редко когда они возвращались из вылазки с постными физиономиями.

Кольцо постепенно сжималось. Колька резко взял с места. Настиг Ваську-рыжика, «засалил», тут же «зацепил» Саньку. И пока в неприятельском стане царила растерянность, метнулся в образовавшуюся между Володей и Павкой щель, бешеным спуртом прорвался через границу, высвободил из плена друзей. Ребята, как по уговору, бросились назад — успели перехватить на своей территории похитителей их знамени, которые, как ни торопились, не добежали до своего игрового поля. А Колька добежал. Он сноровисто вырвал из земли древко с трепещущей бумажкой, увертливо ушел из-под «опеки» преследователей и невредимый, с драгоценным трофеем проскочил пограничную черту в полуметре от догоняющего его Володи.

«Разбойники Робин-Гуда» победили.

— Ур-р-ра! — вскричал Колька, подняв над головой захваченное знамя.

— Ур-р-ра! — разноголосым хором поддержали его мальчишки...

3

С приходом немцев жизнь для Володи потеряла былое приволье. Сиди дома — не отлучайся! И все почему? Потому что оккупанты объявили регистрацию членов партии, евреев и цыган, а мама на эту регистрацию не пошла и теперь опасалась ареста.

Арест... Трудно доходило до сознания мальчугана жестокое слово, выловленное из подслушанного разговора. Произошло это, когда Володя выскользнул из квартиры и, бегом спускаясь по лестнице, случайно налетел на дворника, поднимающего пьяного приятеля — колченогого инвалида Антона Лукича на второй этаж.

Потирая ушибленное плечо, дворник Сан Саныч сердито проворчал:

— Большой парень, а туда же. Так и шею свернуть недолго.

— Да брось ты его! — сказал Колченогий. — Пусть себе шею сворачивают. Думаешь, его на свободе оставят, как маман заарестуют? Держи карман шире! Кончились ее привилегии. И ему не жить без пригляда. Упекут в каталажку или исправительный дом. Как у них это называется — не знаю.

Привилегии... Какие привилегии у заводского вахтера? Форменная одежда? Наган? Да, был у нее наган, и мальчишки малость завидовали ему, Володе, по этой причине. Но больше никаких привилегий! За что же ее арестовывать?

Сан Саныч, бережно придерживая, повел Колченогого домой — отсыпаться.

4

Колька, в отличие от Володи, не сидел взаперти.

По утрам, если не надо было на базар, где торговал папиросами, он уходил за городскую черту. Рыскал по заросшим кустистым ясенцем оврагам, считая, что в местах недавних боев непременно найдет какое-то оружие. Однажды, в самый прыток с комендантским часом, услышал автоматную стрельбу.

Одна скорострельная очередь, вторая. И все смолкло.

На проселочной дороге лежал вверх колесами мотоцикл с коляской. Бензиновый бак был разворочен взрывом. Одна из шин прострелена навывлет. Рядом валялись три фашиста с кровавыми пятнами на мундирах мышинового цвета.

Как тут не поживиться трофеями? На «шмайсер», конечно, рассчитывать мало надежды — зря, что ли, партизаны устроили налет? Сами забрали все ценное. Но кое-что могло перепасть и ему.

Сначала Колька стал обладателем никелированного портсигара с выбитой на нем свастики, затем миниатюрного зеркала и самописной ручки с блестящим колпачком. А потом и дамского «вальтера» калибра 6,3 миллиметра.

5

Анна Петровна шла скорым шагом по улицам Славянска. Шла к своему дому мимо таких знакомых и странно изменившихся за время ее отсутствия зданий, то ли облезлых, то ли от страха съежившихся.

Ей не терпелось добраться до своего двора — «ах вы, милые соседочки, все еще посиживаете на лавочке?» — подняться поскорей на третий этаж, открыть сбереженным ключом дверь и — «Клавочка! Колька! Мои любимые! Как я соскучилась!»

Трудными, немислимо трудными выдались для Анны Петровны последние недели. Не чаяла живой остаться...

Их, двести пятьдесят женщин, вооруженных шанцевым инструментом, бросили на рытье противотанковых рвов. Двадцать дней работали без перерыва, вгрызались кирками и лопатами в землю. А на двадцать первый внезапно узнали, что немцы обошли их укрепления, и они остались в тылу врага.

По раскисшим от хлынувших дождей полям добиралась Анна Петровна до Славянска. Два раза сгорала от лихорадки. Спасибо деревенским знахаркам — выходили травяными настоями. И теперь, поднимаясь по лестнице, чувствовала одышку. На площадке второго этажа она остановилась, прислоняясь к стене, чтобы передохнуть. Сверху донесся голосок ее Клавочки.

— Тетя Маша, у вас не найдется немножко постного масла? — спрашивала она у соседки. — У нас кончилось, а картошка без масла пригорит...

Анна Петровна забыла об одышке, бросилась наверх.

6

Колченогий — в шляпе и потрепанной кацавейке — ковылял по комнате. Его ощупывающий взгляд рыскал среди разбросанных повсюду вещей. По рябому лицу плыло самодовольство.

— На чемоданах сидите? В путь-дорогу собрались? Поздно! — сказал издевательским тоном, и тут же с какой-то странной иронией, передразнивая стихотворение Маяковского, добавил: — Знаем мы эти еврейские штучки — разные Америкы закрывать и открывать, вещички собирать и за ворота утекать...

Володя никогда ранее не предполагал, что Антон Лукич может быть настолько противен.

Он поселился в их доме незадолго до начала войны. Толком о нем жильцы ничего не знали. Устроился кладовщиком на завод «Красный химик». И жил себе хмырь хмырем, считаясь мужиком замкнутым, нелюдимым.

Однако сразу же после того, как немцы заняли Славянск и вывесили свои писули о регистрации евреев и цыган, он стал каждого подозревать в принадлежности к вражескому племени, а некоторым востроносым мальчишкам приказывал скидывать штанишки, чтобы, как он говорил, «выявить их иудин корень перед лицом народа». Антон Лукич, позабыв о былой замкнутости, нахваливал гитлеров-

цев, изображал из себя представителя власти, страдал всевозможными карами за непослушание. Вскоре пронесся слух, что он завел конторскую книгу, куда заносил фамилии и адреса проживающих в заводском квартале евреев, коммунистов, комсомольцев, орденосцев и всякого рода активистов. Хозяином вваливался он в чужие квартиры, требовал каких-то сведений, хитро выведывал, чьи родственники служат в Красной Армии.

— Доигрались! — гудел Колченогий, шагая по комнате. — Кончились ваши игры в белых и красных. Все! Баста! Новый порядок!

Володя следил за своей матерью: сорвется или нет?

Мальчик не подозревал, что маму волнует сейчас другое: удалось ли ее друзьям из сформированного перед самой оккупацией партизанского отряда незамеченными уйти из города. Вместе с ними она уничтожила заводское оборудование, а потом... Потом, спутав ее намерения, заболел Толик, младший из детишек, и пришлось задержаться на свое несчастье дома.

— Ну что, Мария, будем молиться на помин души? Крест на себя наложим или в синагогу пойдем? — донимал незваный гость маму.

А она... она, словно утвердилась в принятом решении, властно оттолкнула инвалида в сторону и подошла к Володе:

— Забирай Толика и давай на улицу. Я скоро приду.

Володя насупился. Он был готов ко всему, но не к этому. «Уходить из своего дома! Бежать? Бежать в присутствии предателя? Гнать его надо! Гнать!» Но он промолчал, тяжело поднялся с кровати и, сутулясь, двинулся во вторую комнату, к братишке.

...Когда он спускался по лестнице, сверху донесся неузнаваемо изменившийся — плаксивый — голос, скорее голосок, паскудного доносителя.

— Что вы делаете? — визжал и всхлипывал голос. — Не надо! Не надо! Пощадите!

И вдруг култыпка застучала в немыслимо стремительном ритме. Хлопнула дверь — мимо него пронесся Антон Лукич.

Только тут Володя осознал, почему был выдворен из квартиры. Он вспомнил, как мама, разместив все необходимые вещи в чемодане, переложила из ненужной больше кобуры наган — настоящий наган! Это он видел собственными глазами! — в боковой карман пиджачного костюма.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

На базаре — этом своеобразном хороводе жизни — народ бурлил, как вскипающая на сильном огне вода. Взвинченная толпа, втиснутая в рваные башмаки и телогрейки, выводила на все голоса:

— Кому кремни для зажигалок?

— Часики! Часики!

— Туфли поношенные! Почти новые!

— Отдаю за полцены!

— Книжки! Продаю книжки! Собрание сочинений английского писателя Дюмы. Сплошные приключения, на каждой странице полюбовница...

— Не возьмете ли костюм чесучовый? Довоенного шитья. От мужа остался.

Спекулянты-перекупщики слюнявили пальцами почернелые на изгибах оккупационные марки, примерялись к робеюлици покупателям, нюхом чуюли их кредитоспособность и назначали с кондачка цену.

Толкучка, нареченная Колькой «морем купи-продай», клокотала, словно в час

прилива, разбивалась с шипением о наряд полицаев, трепетала в ропоте и тягучих столах, провозвестниках ежеминутно ожидаемой облавы.

Колька примостился у книжного лотка, рядом с деревенским, дураковатым на вид владельцем «Трех мушкетеров», «Графа Монте-Кристо», «Королевы Марго» — кепка с наушниками, зипун с потертыми на локтях — и простуженно, со скрипом в надсаживаемой глотке, зазывал покупателей. И тут же, если находились охотники до «стибринных» им из киоска в сентябре, во время безвластия, папирос, усердно торговался, не давал спуску безденежным, но нахрапистым любителям дармовщины:

— Эй, подходи! Кому папирос?.. Берете или смотрите на цену?.. Деньги вперед!.. Самые лучшие в мире папиросы! «Казбек»!

Дела у Кольки, новоиспеченного «гешефтмахера», шли бойко. Не то, что у хлюпающего носом малограмотного книгочех-лотошника. Тот не продал ни одного тома из собраний сочинений Дюма. Да и торговаться не умел. В кои-то веки подступились к нему покупатели, но и тех отбрил — не желал по раздельности продавать книги, сразу всем гуртом надумал их загнать. А кому они сдались сейчас, эти фолианты в вишневом переплете, с тиснением на обложке? Только придурку какому-нибудь, у кого грошей навалом. Но Колька не совался к доходяге-букинисту с деловыми советами: всяк по-своему дело делает.

Заходило «море купи-продай», подхватило Кольку на гребне волны, отнесло чуток в сторону от лотошника, расступаясь перед полицейскими. Они прошли рядом, пыхнули смесью запахов — ваксой, винным перегаром, вонючими немецкими сигаретами. В зыбучем человечьем водовороте Колька заприметил знакомое лицо. «Никак тетя Мария, мама Володи Гарновского? И куда ее понесло? Сбежала ведь из дома, спряталась. Чего теперь лезет на людное место?»

Мария Гарновская — вохровская шинелька, пушистый оренбургский платок — ходко пробиралась по базару. Ни к чему не приценивалась. Ничего с себя не продавала. И остановилась, к полному недоумению Кольки, у лотка с книгами.

— Собрание сочинений англицкого писателя Дюмы...

С каким-то неискренним весельем женщина спросила у сельского неуча:

— С каких это пор Дюма стал английским писателем?

«Так его, лапотника!» — обрадовался Колька неожиданной выходке Марии Гарновской.

Но тот невозмутимо ответил:

— А чей же, ежели не секрет?

— Французский.

— Ишь ты, грамотная. Может, заодно скажешь, когда он жил на нашем свете?

— В период Возрождения.

«Что? — опешил Колька. — Вот сморозила!»

Между тем Мария Прокофьевна, не торгуясь, выманила у прижимистого мужика «Трех мушкетеров» — всего один роман, хотя он настаивал на продаже всей кучи книг. И теперь приговаривала:

— Вот сыночку будет приятный подарок на день рождения.

«Стоп! — сказал себе Колька. — Тут что-то не то. Какой еще день рождения? Второй за один год? Отмечали же... А, может, это по еврейскому календарю?».

С ожесточением стал протискиваться к Марии Гарновской, чтобы внести напрашивающиеся поправки. Уже две. Но не успел.

Визгливый голос полоснул по воздуху:

— Облава! Спасайтесь!

Все разбежались. Мария Прокофьевна, как заметил Колька, нырнула в бывшую библиотеку, на краю площади, где размещалось ныне какое-то учреждение.

Минувшие после побега из дому недели Володя провел не с мамой, а у ее подруги Веры Аркадьевны, старшей лаборантки завода «Красный химик», бездетной женщины, живущей с престарелой бабушкой в собственном домике из четырех комнат за чертой города, недалеко от реки.

О маме Володя думал постоянно, ибо угрозы Колченого, как он понимал, вполне выполнимы. Стоит предателю напасть на ее след, выискать нынешнее местопребывание, и — конец всем надеждам на спасение.

Но пока все обходилось.

Мария Гарновская сняла маленькую комнатку в затерянном на окраине особнячке. Ютилась в ней вместе с Толиком, изредка выскальзывала в город, навещала Веру Аркадьевну, чтобы проведать сына.

Володя иногда бывал у нее, но чаще встречался с Колькой, который, позабыв о былом соперничестве «казаков» и «разбойников», превратился в закадычного друга. Да и какие у них могли быть по нынешним временам разногласия, когда в городе властвовали фашисты. Они изобрели свои правила жизни. По этим правилам жить было невозможно, а умирать никому не хотелось. За любую провинность — расстрел. Комендантский час соблюдай — это для каждого. Без желтой звезды на улице не выходи — это специально для евреев.

— А не податься ли нам в отряд Карнаухова? — как-то предложил Колька. — Не с пустыми руками придем. С моим «вальтером».

— Выбрось его. Какой толк от твоей пукалки? — посоветовал Володя.

— Скажешь, «толк». Немца пришьем. Автомат позаимствуем. И айда к нашим. Примут.

О делах партизанского отряда, которым командовал бывший директор керамического завода Михаил Карнаухов, жители Славянска были наслышаны. Тайком передавали друг другу новости об очередных операциях земляка. Но где базируются партизаны и кто из городских находится на связи с ними, разумеется, никто понятия не имел.

Володя редко бывал у мамы. Но на всякий случай, по секрету от всех взял на себя охрану, как ему мнилось, явочной квартиры. Он оборудовал наблюдательный пункт — напротив, на чердаке покинутого дома с заколоченными ставнями. Обзор был удобный: четко прослеживалась улица, хорошо просматривались подходы к расположенному поблизости особнячку. Порой, когда отодвигались оконные занавески, была различима комната матери: железная кровать, в центре стол с двумя стульями, в углу сундук. Однажды под вечер Володе довелось быть свидетелем того, как мать при свете керосиновой лампы чистила наган и заряжала его патронами, затем, уложив спать Толика, отправилась на улицу. Через какие-то пятнадцать минут в полумгле послышались выстрелы, и на следующий день пошли толки-перетолки, что кто-то стрелял в бургомистра: две пули в живот, и смотал удочки.

Толки-перетолки, а налаженная было Володей жизнь внезапно изменилась.

В полдень из своего наблюдательного пункта он приметил шагающих к особнячку немцев. Среди группы солдат в черных мундирах без труда различил Колченого. Антон Лукич ковылял впереди остальных, указывая дорогу.

— Сюда, гер штурмфюрер. Сюда. Здесь она заховалась.

Володя напряг слух, подобрался, будто готовясь к прыжку.

— Не извольте беспокоиться, герр штурмфюрер, — донеслось снова. — Не уйдет. Куда ей уходить? Дитя на руках малолетнее.

Володя метнулся по лестнице на улицу, к маме, не ведающей о близкой беде. Но он не успел опередить гестаповцев. У порога особнячка его цепко схватили за шиворот.

— Куда, малец? — засипел инвалид. — Сиди здесь и не рыпайся! Не то живо шкуру спушу!

Володя вцепился зубами в запястье Колченогого. Антон Лукич перекосясь в лице, отдернул прокушенную руку и наотмашь ударил мальчишку. Падая, Володя ощутил, как шершавые камни мостовой наждаком сдирают кожу со лба.

— Зих ист не киндер, герр Гадлер! — говорил в свое оправдание инвалид офицеру в черном мундире. — Зих ист, дери его черт, швайне киндер!

Володина мать, увидев из окна эту сцену, схватила в охапку младшенького и бросилась с ним наверх — к соседке Екатерине Андреевне.

— Толика! Толика! Возьмите... приютите... Толика! — взмолилась она.

— Что там... что там, — зашамкала сердобольная старушка, не скрывая слез. — Не волнуйтесь зазря. Глядишь, все еще обойдется.

Оставив плачущего ребенка на попечение соседки, Мария Прокофьевна спустилась вниз, схватила со стола пальцы с вышивкой, ткнула иголку в ткань, уколослась, закусила палец. Так и застали ее немцы, возглавляемые унтерштурмфюрером Гадлером, у стола, с пальцами на коленях.

— Собирайтесь!

— А в чем дело? — спросила она.

Вперед выдвинулся Колченогий.

— Посмотри на себя в зеркало и увидишь! — сказал Антон Лукич.

— Что я там не видела?

— А то и не видела, что кончились ваши еврейские привилегии. Что я давеча тебе говорил? Новая власть не даст вам баловать за наш счет. Собирайся. Господам некогда.

Марии Прокофьевне стало как-то легче на душе. Она подумала, что фашисты пришли за ней, прознав о связях с партизанами, а вышло: обвиняют в том, в чем и вины быть не может.

— Я и не еврейка совсем.

— Это ты по батяне не еврейка — Прокофьевна. А по мужу?

— И муж у меня русский... Пропал без вести на фронте...

— Это второй твой муж, что пропал без вести, — русский. Не копти мне мозги! А первый, чья кровь в твоём Вовчике? Как раз наоборот. Стопроцентный еврей. Вот и держи ответ за еврейскую кровь.

4

«Мама! Почему ты не застрелила его? Почему не убила этого подлеца? — горестно шептал мальчишка. — Мама-мамочка! Почему?»

Володя сидел у окна на табуретке. Грузно, всем телом навалился на подоконник. Разгоряченный, залитый кровоподтеком лоб вдавил в прохладное стекло. Оно, запотелое, сочилось каплями, похожими на слезинки.

Глаза мальчика незряче смотрели на безлюдную в комендантский час улицу. Он не видел, как ветер гонит пожухлые листья, как черные клены подрагивают изогнутыми ветвями, как по мостовой идут патрульные — в серо-зеленых шинелях, глубоких, низко посаженных касках, с короткими автоматами на груди.

Володе казалось, что он вновь покидает родной дом, спускается с Толиком по лестнице во двор, а мимо проносится Антон Лукич, глухо стуча по ступенькам своей культей.

«Если бы мама его застрелила! Если бы... Но мама его не застрелила, и ее схватили. А вчера... Ночью...»

Ночью немцы провели первый расстрел евреев Славянска. Убили и Марию Прокофьевну Гарновскую, русскую женщину, обвиненную в том, что вышла замуж за еврея.

5

— Ты куда?

— За Толиком, к Екатерине Андреевне. В деревню мы перебираемся. К тетке — сестре отчима. Там все русские, нас никто не заподозрит.

— А-а-а, — вздохнул Колька, державший за руку двоюродную сестричку. — Хорошо там, где нас нет. А здесь ходи с желтой звездой, а то коннут.

Он ткнул пальцем в пришитую на груди звезду.

— Хреново, — согласился Володя. — А что ты возле моего дома околачиваешься?

— Да вот Клавку вывел на прогулку. Анне Петровне нужно, чтобы она дышала воздухом, а не сидела взаперти.

— Свежим воздухом, — капризно поправила девочка.

— Во, дает! — Колька подмигнул Володе. — Никакие фашисты ей мозги не закомпостировали, — и, пристраиваясь к мелкому шагу приятеля, направился следом за ним к особнячку, где раньше скрывалась Мария Прокофьевна.

После массового расстрела Колька не раз вызывался прихлопнуть Колченогого из похищенного у немецкого мотоциклиста «вальтера». Но Володя не позволял:

— Мой он враг. Личный. Сам ему и отплачу.

— Когда?

— Настанет час — отплачу.

— Отплатишь ты ему... Когда рак на горе свистнет! А нужно сейчас. Чтобы другим неповадно было.

— Сейчас не могу. На мне Толик.

— А на мне Клавка! Ну и что? Ты не можешь... А я могу, да?

— Тебя никто и не просит. Да и куда годится твой пистоль? Не оружие — пукалка! Пулечки — с гулькин нос. А Колченогого — бугай! — надо валить из противотанкового ружья.

— А где пистолет — знаешь?

— Был в доме. А потом... потом ее арестовали.

— И она при этом не отстреливалась, — подхватил Колька. — Значит?

Володя задумался.

— Пойдем — поищем...

На всякий случай Клаву они поставили на стреме у входной двери в дом. В случае чего, она должна была подать условный знак об опасности. А сами поднялись в квартиру.

В комнате Марии Прокофьевны все оставалось на прежних местах. Даже пьалы, уроненные при аресте, никто не поднял, не положил хотя бы на стол.

Покинутое жильё создавало гнетущее впечатление, заставляло ребят невольно перейти на шепот, точно они находились у постели тяжелобольного.

Где же наган?.. Они заглянули в сундук. Под кровать. Прощупали подушку. Ничего!

Колька вспомнил, что ему довелось в одном романе читать о шпионе, который хранил секретные коды и тайное снаряжение в сливном бачке. Тут же сбегал в туалет, забрался на унитаз, и... Опять ничего!

— А что, если кликнуть Клавку с «атаса»? Она мастер женские хитрости уга-

дывать. Скажи ей, что Анна Петровна спрятала где-то банку с вареньем, сразу найдет, — предложил он.

Володя позвал девочку. Она вопрошающе уставилась на старшего брата:

— Чего ищем?

— Не твоего ума дело! — отрезал он.

— Выходит, оружие.

— Откуда догадалась?

— Вы ведь по дороге только и говорили об оружии...

— Мы говорили, а ты — молчок.

— Уже молчу.

— Тогда скажи, Клавка, куда, по-твоему, надежнее спрятать то самое оружие?

— Ближко положишь — далеко возьмешь.

— Перестань говорить загадками.

— Тогда ищите в подполе. Там, где картошка. В картошке легче всего спрятать оружие. Хоть бомбу спрячь там, никто ничего не узнает, пока не взорвется.

На кухне, под половичком, обнаружили подпол.

Колька дернул на себя металлическое кольцо и нырнул в квадратный люк. В углу, прикрытом мешковиной, обнаружил жестяную коробку из-под монпансье. А в ней наган-самовзвод, из которого можно завалить быка, не то, что Колченогого.

— Вылазы! — позвал его сверху Володя.

— Погоди! — откликнулся Колька, выползая из подпола, прокрутил — «брынь-брынь-брынь» — барабан, поблескивающий желтыми зрачками капсюлей, и предложил Володе на обмен свой «вальтер».

— Давай жухнемся! Ты мне мамин наган, я тебе свой пистоль и покойника впридachu.

— Какого покойника?

— Какого-какого? Колченого! Вот будет здорово, если пришить его именно из этого ствола! — помахал оружием Марии Прокофьевны. — Получится, будто она сама отомстила за себя. Согласен?

Володя не возражал...

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

Колька вошел в свой двор с улицы. И довольство, излучаемое его физиономией, мигом съела угрюмость. Вася Гуржий, племянник Колченогого, отлученный из отряда «разбойников Робин Гуда», играл с ребятами в «Спасенное знамя».

«Запретил же я ему соваться к нам!» — подумал Колька. Но вслух ничего не сказал. И без того при его появлении игра пошла на спад. Чувствовалось, драки не миновать.

Это чувствовал Колька, покатывая желваки на скулах.

Это чувствовал Вася Гуржий, который принял боксерскую стойку — дескать, задешево не дамся.

Колька, игнорируя воинственные приготовления противника, подошел к нему вплотную.

— Отдай знамя! — сказал. — Не погань его руками предателя!

— Я не предатель.

— Яблоко от яблони недалеко падает. Отдай знамя!

— Не имеешь права!

— Не повторяй за фашистами! Это для них я не имею никаких прав, — ткнул в желтую звезду на груди. — А для тебя...

И размахнулся...

— Мальчики! — бросилась на выручку Клава. — Хватит лупаситься! И без того — война. Подружитесь опять. Что вам стоит?

— Пусть пришьет своего дядьку-предателя, тогда и подружимся, — буркнул Колька.

— Сам пришей, — отбрил Вася Гуржий. — Мне папка задницу надерет.

— Могу и я, — пошел на мировую Колька. — Но ведь твой дядька куда-то убрался. По заданию немаков, наверное.

— Никакого задания. Краткосрочные курсы полицейских. Уже вернулся. И гуляет...

— Как хозяин? — перебил язвительным вопросом Колька.

— Спроси у него сам.

— И спрошу! Все у него спросим! — зло закончил Колька и поспешил домой за припрятанным наганом Марии Прокофьевны.

2

Колченогий, одетый в военную форму без знаков различия, шел по мостовой, кособочась корпусом. Шел, важно посматривая на гражданских, почтительно приветствуя офицеров. И, разумеется, не держал в памяти мальчишку, того, что минутой назад, обгоняя его, несколько раз обернулся.

Колька давно уже разработал в уме план операции. Он хотел застать Колченогого в каком-нибудь укромном уголке, чтобы без свидетелей всадить ему пару пуль под лопатку.

Но без свидетелей никак не получалось.

Антон Лукич миновал комиссионный магазин с выставленными на показ напольными часами высотой в три метра, фарфоровой статуэткой Дискобола и мраморным чернильным прибором. Остановился у киоска, попросил пива и пачку немецких сигарет. «Нет, купить бы «Казбек», — ревниво завелся Колька. — Вот морда! Во всем предатель!»

Выпив пиво и закулив сигарету, Колченогий свернул с главной улицы в сторону и пошел напрямки к разбомбленному дому.

«Чего это он? — подумал Колька и, догадавшись, ухмыльнулся: — Ага! Приспичило!»

...Никогда прежде он не подозревал, что наган грохает с такой силой. Никогда прежде он не представлял, что смертельно раненный зверь ревет, не умолкая, и минуту, и две, и более, а спрятаться от этого нескончаемого крика некуда — только беги и беги от него, без оглядки.

Колька бежал, не помня, где и когда выронил наган. Но твердо знал: выронил его уже после того, как всадил предателю пулю в живот. И еще он знал: домой теперь нельзя возвращаться. Надо предупредить Анну Петровну и сматывать удочки, избавившись от желтой звезды. Немецким он владеет бегло. Внешне на еврея не похож. Глядишь, примут за фольксдойча — немца российского происхождения. Куда же рвать когти? В деревню, — решил, — к Володе. Там переждет маленько, осмотрится, а потом... потом и видно будет...

3

Володя пристроил Толика у дальних родственников отчима, а сам перебрался к его сестре — Феодосии Павловне. Порознь легче прокормиться. Хотя... лишние рты всем в тягость. И это чувствовалось, ох как чувствовалось у тетки: пусть вроде бы и племянник, но не братов сынок — чужая кровинушка.

А тут еще пришли фашисты, нагнали страху, постреляв в воздух. Посмотрели, куда побежали, спасаясь от пуль, люди. И выставили у опушки леса, поперек потайных тропинок, пулеметы. Затем потребовали на выдачу евреев. Но евреев — доложил им староста — в селе нет, и никогда не было.

Незванные гости поверили и не особенно доискивались.

В несладком житье-бытье катилось время. Обстановка оставалась неясной. Немцы маршевыми ротами прибывали в деревню, чтобы после короткой передышки снова двинуться дальше, туда, откуда доносились глухие разрывы.

Володя помогал Феодосии Павловне, приглядывал за детишками, ходил по воду, колол дрова. Однако деревенская бабка — вечно недовольная — попрекала мальчика каждым куском, то и дело поминала его настоящего отца с упором на отчество Соломонович. От него, отчества этого, созвучного с именем древнего еврейского царя, веяло опасностью и для ее семьи и для него самого, Володи.

Какой опасностью — мальчик догадывался.

Однажды он выведал у горожан, меняющих скудные пожитки на продукты, что в деревне Шандрыголова, где проживали кумовья отчима и тетки, есть возможность удачно отовариться.

Володя отпросился у Феодосии Павловны «на каникулы» и с видавшей виды котомкой, набитой рубашонками городского шитья, кусками мыла и поваренной соли, отправился в дальний путь.

Дорога, забитая моторизованными колоннами, выводила к постам полевой жандармерии. Но щуплый, синий от холода пацаненок не вызывал подозрения.

Володя мечтал перебраться через линию фронта к своим, и обязательно с полезными сведениями. Поэтому он подсчитывал проходящие мимо бронетранспортеры и грузовики с прицепленными пушками, запоминал, где проводились какие-то земляные работы, строились укрепленные пункты, подступал с расспросами к местным жителям... Но много ли выведает у ребятешек или запуганных старух? Только себе навредишь. Так и случилось. Дважды его задерживали за излишнее любопытство местные полицаи, один раз у моста, второй — у огороженной строительной площадки. И дважды ему удавалось сбегать от них. Не иначе, как удача сопутствовала ему в дороге. А навстречу из задымленного далека двигались потрепанные немецкие части, направляющиеся в тыл на переформирование.

4

Анне Петровне до невозможности хотелось курить. Вот уже неделя, как Колька без спроса ушел из дома. Клава доложила: «В деревню, к Володе». А где эта деревня? Как называется? Ушел и куда-то запропастился. Ни слуху, ни духу. Что она скажет его отцу, брату мужа, если тот вернется с фронта? Не досмотрела, не уберегла?.. А что втемашить дворничихе Пелагее Даниловне, если она начнет спрашивать.

Сизые струйки дыма вились под потолок, тянулись к зашторенному окну.

Папиросы составляли все «богатство» Анны Петровны и предназначались в основном для продажи. В канун прихода фашистов, когда расположенный напротив дома табачный киоск, став внезапно бесхозным, подвергся разграблению, Колька приволок домой картонный ящик с «Казбеком».

С пяток искуренных до основания папирос с прокушенным мундштуком валялись в пепельнице, распространяя кислый запах. От этого запаха Анна Петровна морщилась. Но у нее не доставало сил, чтобы подняться с постели и выбросить окурки в помойное ведро.

Властный стук в дверь прервал ее тоскливые размышления. Она с трудом выб-

ралась из-под одеяла, с несвойственной ей вялостью накинула выцветший халатик.

«Опять немцы, — подумала не без испуга. — Не существует для них ни «рано», ни «поздно».

С тех пор, как Анну Петровну взяли переводчицей в не успевший эвакуироваться госпиталь для солдат Красной Армии, немцы не оставляли ее в покое и самым бесцеремонным образом вызывали на службу, случись что-то срочное.

— Иду! Иду! — отозвалась она по-немецки, когда в дверь забарабанили вновь.

Затолкала босой ногой пепельницу под кровать, нацепила туфли. И вышла в коридор. Но только она отодвинула щеколду, как снаружи звучным ударом сапога распахнули дверь, и в квартиру ворвались гестаповцы.

Анну Петровну оттерли к стене. Приказали не двигаться и молчать. Она, вспомнив о спящей дочке, попросила вести себя потише.

— Ребенка разбудите.

— Молчать! — прикрикнул на нее унтерштурмфюрер Гадлер.

— На меня могли бы не орать! Я фольксдойче, немка по национальности.

— А муж? А дочь? С тех пор, как вышли замуж за еврея, вы и для соседей еврейка.

Услышав плач Клавы, Анна Петровна рванулась в детскую. Дочку схватила в охапку вместе с байковым одеялом, и в растерянности села на табуретку.

— Обыск? У нас нет ничего запрещенного!

Унтерштурмфюрер Гадлер осмотрел маленькую комнатку с двумя кроватями, письменным столом и тумбочкой.

— Фрау Вербовская! Дело гораздо серьезнее, чем вы предполагаете.

— Мы ни в чем не виноваты!

— Мы ищем вашего племянника, фрау.

— А что он натворил?

— Стрелял в нашего человека.

— Не может быть! — растерянно воскликнула Анна Петровна.

— Неделю назад. Но сначала мы не знали, кто стрелял. Потом выяснили — он!

— Откуда у него оружие?

— Вот это, позвольте, и нам любопытно узнать, — странно улыбнулся унтерштурмфюрер Гадлер.

— Ваш человек убит?

— Ранен. Но не смертельно. Где племянник?

— Сбежал из дома. Куда? Понятия не имею.

— И я понятия не имею! — пискнула Клава.

— Что ж, — немец расстегнул кобур с пистолетом. — Новый порядок, фрау Вербовская! Учитесь жить по иным понятиям. Дочку получите в обмен на племянника.

Он обернулся к солдатам.

— Бауэр! Взять!

Не успела Анна Петровна и слова сказать, как вырвали Клаву из ее рук и потащили к двери.

5

— Имя?

— Колька. Извините, Николай, — поправился мальчик и без смущения взглянул в глаза сидящего за столом зондерфюрера Клейна — начальника сельскохозяйственной комендатуры — розовощекого немца с мясистым носом, голым шишковатым черепом и давним шрамом на верхней губе, напоминающей заячью.

— Отчество?
— Вильгельмович.
— Фамилия?
— Розенберг, — напропалую врал Колька, сознавая, что его берлинский выговор производит впечатление.
— По национальности — немец?
— Фольксдойч.
— Это то же самое.
— Согласен.
— Родителей потерял? — продолжал допытываться гестаповец.
— Стало быть, потерял. Но с вашей помощью найду.
— Непременно! — пообещал зондерфюрер Клейн и посмотрел на Кольку поверх очков, став на какую-то секунду похожим на добродушного дедушку. — Благодарю за толковые ответы.
— Благодарю! Можно идти? — Колька вскочил со стула, руки по швам, носки врозь.
— Погоди. Твои данные пошлем на проверку. А сейчас... Сейчас слушай и запоминай. Мне нужен переводчик. Согласен? — зондерфюрер Клейн в ожидании ответа пошарил в полупустой пачке, лежащей на столе, у пепельницы, вытащил сигарету, щелкнул зажигалкой, закурил.
— Как прикажете...
— Слушай и запоминай дальше. Ты будешь сопровождать меня в поездках, — часто затягиваясь, говорил немец. — Будешь посредником: я — крестьяне — ты. Перевод должен быть предельно точным. Иначе... Учти, мы умеем не только благодарить, но и наказывать. Поэтому работать придется... э-э, как это у вас говорят? Спусти рукава?
— Засучив рукава, — поправил Колька.
— Вот-вот, так и будешь работать. А сейчас... Сейчас иди — устраивайся.

6

По улицам Славянска, направляясь к городскому вокзалу, шла в сопровождении полицейских и немецких солдат колонна детей в возрасте от семи до пятнадцати лет.

Клава крепко сжимала костлявую ладонь Оленьки, идущей с ней рядом худенькой девочки, и настороженно всматривалась в живую изгородь из людей, стоящих на тротуаре. Она выискивала маму в надежде, что та заберет ее от этих «противных дяденек» с автоматами на груди.

Все последние дни, которые она провела под замком в набитой детишками камере, никто о ней ни разу не позаботился. Наоборот, обижали, в особенности старший надзиратель Шнабель.

При его появлении дети обязаны были вскакивать с цементного пола, выстраиваться у стены в две шеренги и стоять по стойке смирно, пока он не пересчитает всех. Если же кто-либо не успевал в считанные секунды занять свое место, то вынужден был по приказу фашиста выходить на середину камеры и, следуя заведенному порядку, молитвенно складывать руки и рапортовать: «Господин старший надзиратель, я заслужил своей неповоротливостью затрещину. Прошу наказать меня, чтобы другим неповадно было повторять мои ошибки».

Клава никогда не отличалась особой приткостью. Поэтому ей чаще других выпадало «выпрашивать» у тюремщика наказания. И что совсем неприятно — приходилось выслушивать из-за этого насмешки подневольных соседей по нарам,

Саньки и Миньки, хамоватых мальчишек, которые, будь Колька рядом, несдобровали бы от его кулаков.

Подгоняемая несмолкаемым «Шнель! Шнель!», Клава шла у кромки тротуара, пробегала взглядом по лицам прохожих, но мамы нигде не было. И оттого на душе у девчушки совсем горько. Ей хотелось плакать. И она плакала, не сдерживая слез, без всхлипов и рыданий. Беззвучно. Дяденьки и тетеньки, стоящие вдоль мостовой, застлались дымкой, становились прозрачными и невидимыми, совершенно нереальными. И потому, когда в этом мареве промелькнуло знакомое лицо рыжего Васьки Гуржия, племянника Колченогого, Клава приняла мальчишку за своего спасителя и интуитивно потянулась к нему.

— Рыжик! Васька! Я здесь! Забери меня к маме!

Васька кивнул девочке издали. И стал медленно протискиваться ей навстречу. В этот момент из толпы вырвалась женщина и, голоса, кинулась на конвоиров.

— Дети! Дети! — кричала она.

«Пора!» — решил Васька. И пока немцы восстанавливали порядок, бросился к Клаве. Но та вместо того, чтобы понадеяться на быстрые ноги спасителя и дать стрекача, прильнула к мальчику, обхватила его:

— Рыжик! Забери меня к маме!

Время было потеряно. Дужий полицейский схватил Ваську за шиворот и давай его бить.

— Гаденьш!

Клава потащила мальчишку назад.

— Дяденька, он не нарочно. Он больше не будет!

Конвоиры подгоняли ребятшек прикладами, никому не позволяя выбиться из колонны.

7

Было далеко за полдень. Колька шагал по шпалам, весело насвистывал, хотя и хотелось сильно есть. Он с сожалением подумал, что так и не позавтракал. Сейчас умял бы весь чугунок щей, не то, что ранним утром, когда спешил, собираясь на работу в немецкую контору.

Рельсы сходились у горизонта в точку и вели к полустанку, от которого надо взять вправо и идти напрямки в деревню, где изволит ныне поживать у своей тетки Феодосии Павловны верный друг Володя Гарновский.

Вдали вырисовалось приземистое станционное здание, выкрашенное в зеленый цвет. Неподалеку стояла водокачка. Сзади послышался стук колес. Гудок паровоза прервал размышления паренька. Он скатился по насыпи вниз, освобождая путь поезду-товарняку. Пропуская поезд, заметил, что под четвертым вагоном искрит бунда. «Песка подсыпали, — понял Колька. — Еще несколько минут и вспыхнет пожар».

Но до пожара не дошло. Машинист оказался опытным и дал по тормозам. Авральная команда приступила к ремонту. Из тамбуров высыпали гитлеровцы. Когда Колька поравнялся с солдатами, один из них, с тяжелым пистолетом на поясе, наставил на него указательный палец и, смеха ради, выкрикнул:

— Пиф-пах!

Колька, конечно, мог бы оставить без последствий проделку наглеца. Но голодный и раздраженный, глядя на сытую физиономию, он не сдержался. И на чистом немецком языке, вызвав изумление обидчика, сказал:

— Нехорошо, герр офицер. Перед вами несчастный сирота, фольксдойч. А вы в него — пиф-пах! Разве этому учили вас сказки братьев Гримм?

Под восторженные возгласы немцев паренек укоризненно покачал головой.

Унтер-офицер, за спиной которого у поврежденной боксы хлопотали ремонтники, смотрел на Кольку теперь совершенно по-человечески:

— Бедный мальчик. Ты, наверное, голоден?

— Так точно, герр офицер. Не откажите мне в куске хлеба, а еще лучше в кровавой колбасе, — машинально, с нотками профессионального побирушки сказал Колька.

— Бедный мальчик, — печально вздохнул немец. — Тебе надо в фатерланд — в родную Германию. Здесь ты непременно помрешь.

— Помру... Помру здесь обязательно, — не перечил Колька, собираясь сделать это не ранее, чем лет через сто.

— Я помогу тебе добраться до фатерланда.

Унтер-офицер махнул рукой, и солдаты, стоявшие возле поезда, откатили дверь вагона. Затем подхватили Кольку, и не успел он опомниться, как оказался в компании таких же чумазных ребяташек.

— Езжай на родину. Фатерланд ждет тебя, — слышалось из-за двери, отрубившей с железным стуком солнечный свет.

Он проснулся глубокой ночью, оглядел подрагивающий на стыках вагон с лежащими вповалку ребяташками. Пытался сообразить, как он оказался здесь, в смрадном телятнике, в котором, по всем приметам, прежде возили скот. В глубине вагона он увидел своих новых друзей Веньку и Даню. Обрадовался, протиснулся поближе. Тут у них и созрел замысел...

Перочинным ножиком они взрезали — миллиметр за миллиметром — половую вагонную доску, «выгрызая» путь на свободу. Под утро, когда пульсирующие в зарешеченном окошке звезды поблекли, Колька со вздохом облегчения сунул нож в карман и выдрал кусок перепиленной половицы. Теперь в прямоугольное отверстие можно было протиснуться. Момент для побега был выбран удачно: поезд брал взгорье, сбавлял ход, и шпалы внизу, у колес, уже не мелькали, а со скоростью черепахи откатывались назад.

— Я — первый. Все остальные — следом. У лаза не скапливаться, не шуметь. С щемящим волнением Колька вновь приник к прямоугольнику, из которого било в лицо холодным ветром и запахом масел, затем опустил в проем, накрепко живот, сделав гимнастический угол и держа ноги параллельно рельсам. Венька с Даней взяли его под мышки.

— Отпускай! — сказал он, хотя на какое-то мгновение стало жутко.

Пропустив над собой эшелон, Колька перевернулся на живот.

«Теперь очередь за Венькой. Так и есть. Нырнул. Кажется, благополучно. А сейчас...»

И вдруг с насыпи раздалось:

— Хальт!

Охранник заметил беглеца и открыл из карабина огонь по Колькиному другу, бросившемуся к лесу. Выстрел, другой. И снова: «Хальт!» И снова выстрел.

Венька, не добежав до опушки леса, споткнулся, упал, пытался подняться, но прозвучал еще один выстрел, и он затих — больше не подавал признаков жизни.

Колька осторожно приподнялся и, сжимая перочинный ножик, двинулся к гитлеровцу. Но он запоздал. Кто-то — в предутренней дымке не определить кто — набросился на фашиста сзади, мелькнуло лезвие финки и послышался слабый горловой звук. «Каюк гаду!» — понял Колька и поднялся в рост, привлекая к себе внимание.

Так он встретился с Никитой Красноштановым, партизанским связником, который возвращался после выполнения задания на базу.

В Шандрыголоу Володя добрался одновременно с красноармейцами. Правда, вышли на околицу с разных сторон — он с запада, они с востока.

В деревне Володя застрял. Назад — не могли, там бои. А пристроиться у кумовей Феодосии Павловны не удалось: своих некормленных ртов у них с избытком. Что же делать? Теткины кумовья посоветовали ему сходить к председателю сельсовета, «усатому Магарычу». Но и тот тоже не счел нужным приютить ребенка, хотя пообещал найти выход. И, действительно, нашел его.

«Выход» предстал перед Володей в облике армейского капитана, заместителя командира дивизиона артиллерийского полка. Внешне он был чем-то знаком мальчику. Вот, если снять с него погоны и форменку, ну, просто вылитый Борис Симонович Вербовский — Колькин дядя, муж Анны Петровны. Но ведь не обратишься к офицеру с вопросом: как вас звать-величать, дядя, по паспорту? Тут субординацию надо соблюдать. Не мямлить, не донимать расспросами, а чеканить по-военному: «Есть! Так точно! Будет исполнено!»

Капитан от председателя сельсовета знал о всех мытарствах Володи, о сиротстве, о гибели в расстрельном рву его матери и понимал, какую жажду мести испытывает этот мальчишка, повидавший на своем недолгом веку столько горя. Знал он и о сметливости Володи. После изучения сведений, им доставленных, офицер понял, что этот мальчонка наделен особой наблюдательностью. Все, что рассказал и показал оказалось весьма ценным, особенно для артиллеристов. Они уточнили цели, по которым собирались нанести упреждающий удар.

— Служить хочешь? — спросил капитан Вербовский, окинув взглядом отощавшего мальчишку в треухе и ватнике.

— А как же! — не задумываясь, ответил он.

— В разведчики пойдешь?

— А возьмете?

— Сколько лет?

— Тринадцать, — помявшись, добавил себе год Володя.

— Врешь?

— Нет, — мотнул головой мальчик.

— А если по-другому: на сколько солгал?

— Не лгал я, дяденька! Честное слово, не лгал!

— Во-первых, отныне не дяденька, а товарищ капитан, — поправил офицер. — Во-вторых... Год, небось, приплюсовал. А?

— Так точно! — отчеканил Володя, пытаясь как-то скрасить представление о себе у этого смуглолицего командира, от которого зависело решение его судьбы.

— А в-третьих... для тебя, так сказать, для личного обращения... я не обязательно капитан. Со мной можно и без уставных требований, — продолжал офицер. — Называй меня по-домашнему — Борис Шимонович, или Борис Симонович, как тебе проще.

— Борис Симонович? — ахнул Володя. — Так вы и есть настоящий Борис Симонович?

— В армии поддельных не держат.

— Я не о том, — смутился мальчик. — Я о том, что вы — родной брат Колькиного папы Моисея... — Володя поправился: — Михаила Симоновича. И Клавиин папа, а жену вашу зовут Анна Петровна. Я не обознался?

— Ты не обознался. А вот я...

— Не припоминаете? Я с вашим племянником, с Колькой... из одной школы, где училкой — ваша жена Анна Петровна. Только он на пару классов выше.

— Давно его видел?
— Давно.
— А что с моими? В курсе? Как там Клабочка, Аня?
— Я уходил из Славянска — были живы... А сейчас... война, товарищ капитан...
— Война, будь она неладна! Всех раскидала. Вот тебя встретил, и будто чем-то родным повелело.
— До Славянска еще далеко.
— Ничего, поднатужимся и до Берлина дойдем.
— Так точно, товарищ капитан! — подхватил Володя.
— Эх ты, вояка! — офицер дружески улыбнулся и, взяв Володю за плечи, посуловел: — Мы еще за твою маму им отомстим! А сейчас запоминай: завтра в шесть ноль-ноль быть у сельсовета. Отбудешь вместе со мной к месту дислокации нашей воинской части.
Не чуя ног, Володя выскочил на улицу. В ушах звенели строгие армейские слова: «Шесть ноль-ноль... Место дислокации...»
Назавтра он был у сельсовета в пять утра.

9

Лязгнул засов. Дверь вагона-товарняка со скрипом отъехала в сторону. В проеме показался кусок звездного неба, заасфальтированный перрон и аккуратный пристанционный домик, выложенный из кирпича.

У края перрона, вдоль состава с детьми, стояли женщины в черных плащах с капюшонами и пилотках. Они сдерживали натасканных на людей немецких овчарок, которые рвались с поводков, свирепо скребли лапами землю. Дети, подгоняемые хлесткими выкриками «Шнель! Шнель!», боязливо поглядывали на бешущихся собак, на их не менее страшных хозяек, и обессиленные, покидали прибывший на последний пункт следования эшелон.

Вася Гуржий с состраданием смотрел на Клаву, льнущую к нему, своему защитнику. У самого выхода, перепуганная хрипучим лаем, она заупрямилась, не захотела выйти наружу.

— Вася! Миленький! Не надо! Там злые тети с собаками!

— Клава! Не дури!

Мальчик спрыгнул на платформу. Простер навстречу девчужке руки.

— Не пойду! — захныкала она.

Вася не видел, что к нему, застопорившему движение, приблизилась женщина в черном плаще, гибким стеком она постегивала себя по голеницу сапога.

— Мамочки! — услышал он возглас Клавы и тотчас ощутил жуткий ожог поперек спины.

Он качнулся, оперся на вагон, чтобы не потерять сознание. Мельком увидел, поворачиваясь, эсэсовку с искаженным лицом и инстинктивно прикрыл ладонями лицо. Боль резанула по пальцам. Следом он услышал отчаянный крик Клавы, замерший на самой высокой ноте. А затем — глухой удар ее тела о перрон, точно сбросили вниз тяжелый мешок.

Приподнявшись, сквозь колеблемый туман он различил Клаву, распластанную подле него. Взял ее почти безжизненное тельце с поникшей головой и вопросительно посмотрел на немку.

— Она фолксдойче, — сказал Вася.

Но его слова не произвели на эсэсовку никакого впечатления. Для острастки она огрела мальчишку еще разок, и толкнула в сторону строящейся колонны.

— Шнель! Шнель!

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

1

Зуммер полевого телефона разбудил капитана Шабалова, командира первого артдивизиона 370-го артиллерийского полка. Спросонья он потянулся к трубке. Плащ-палатка, которой укрывался комдив-один, сползла на земляной пол блиндажа.

Сквозь потрескивания донесся голос комполка:

— Спишь, чертяка? А немец не спит... На танках пошел в прорыв. Поднимай батарею, и на перехват!

Капитан выдернул из планшета, лежащего на снаряжном ящике, карту с оперативной обстановкой, чтобы лучше разглядеть тот квадрат, куда прорвались вражеские танки. Извилистая линия грунтовой дороги тянулась к венозной жилке реки Северский Донец. Комдив-один отметил карандашом указанный ему танкоопасный участок и место сосредоточения артдивизиона.

— Батарея, подъем! Тревога!

Сонное царство пришло в движение. Володя спрыгнул с нар одновременно со всеми, быстро обулся и удовлетворенно отметил: он ни в чем не отстает от бывалых солдат.

— По машинам!

Отмашка флажком, и автоколонна двинулась по ночной дороге.

В кабине «студебеккера» Володя сидел рядом с капитаном Вербовским, в ординарцах которого состоял с первых дней службы в армии.

Поначалу эта должность несколько смущала его. Для того ли он рвался на фронт, чтобы разносить по батареям газеты, боевые листки, почту? Но постепенно свыкся с новой жизнью, понял, что и его неприметная работа важна и необходима. К тому же, находясь рядом с боевым офицером, он научился многому, о чем прежде не имел ни малейшего представления. Теперь он не только умел стрелять из всех видом оружия — пистолета, карабина, автомата, но и профессионально читал карту, засекал цели с наблюдательного пункта.

Чтобы не мешать командиру, Володя придвинулся поближе к окну. Они долго ехали по степи. Изредка появлялись мало-мальски приметные ориентиры — одинокий хуторок, стайка деревьев, разрушенное строение.

Капитан Вербовский клевал носом. Его коротко стриженная голова опустилась на грудь. Казалось, он не дремлет, а размышляет над всеми «за» и «против» намечающейся операции. Очнувшись, спросил у водителя:

— Где находимся?

Сержант-водитель дернул плечами:

— Едем...

Капитан щелкнул зажигалкой, но закурить папиросу не пришлось.

— Стой! Приехали! — раздались команды далеко впереди. — Орудия отцепляй!

Володя открыл дверцу, соскочил с подножки на землю. И пошел вслед за капитаном Вербовским к головной машине, на голос комдива Шабалова.

— Автотранспорт увести в балку! Батарейцам оборудовать огневые позиции. Боезапас...

Тут командирский голос сник, разом потеряв уверенность. Что-то стряслось. Но что?

Минуту спустя выяснилось, что грузовики с боезапасом и автоцистерны с бензином затерялись в пути. При таком раскладе, как сражаться с танками? Не в рукопашную же, право, идти на них. Снарядов — раз-два и обчелся. Комдив Шабалов о чем-то говорил со своим заместителем, и последнее, что услышал Володя, было:

— За такие штуки нам не сносить головы.

— Апель!

Громкий крик разбудил барак. На пол с трехэтажных нар посыпались ребятишки. Застучали деревянные башмаки. Любое промедление после команды «Апель!» жестоко каралось.

Апель — поголовная переключка заключенных, которая проводилась три раза в сутки: с 4 до 7 утра, с 12 до 13 и вечером с 19 до 22. На переключку заключенные обязаны были являться в легкой лагерной одежде — полосатых штанах и куртках, в колодках на босу ногу. Издевательства, которые сопутствовали построению на плацу, они должны были сносить без ропота и недовольства, иначе прямая дорога в карцер.

Только здесь, на плацу, дети, изолированные от взрослых узников, могли, хоть как-то общаться с местными старожилками — женщинами, работающими на двух лагерных фабриках, швейной и ткацкой. Для измученных ребятишек, лишенных материнского тепла, эти знаки внимания — взмах руки, сострадательный взгляд — значили очень многое. Оттого для некоторых из них в выкрике «апель!» таилось вместе с угрозой и предчувствие чего-то приятного. Во всяком случае, на Клаву, которую немецкий язык не отпугивал, вызов на всеобщее построение не действовал удручающе. К неудовольствию Васи Гуржия, ставшего невольным ее опекуном, она вбила себе в голову, что на плацу обязательно встретится с мамой.

Вот и сегодня Клава прыгнула на пол раньше Васи и, нетерпеливо притоптывая, умоляла его поспешить — «А то бить будут!»

— Отобьемся! — буркнул Вася, соскальзывая с третьего этажа нар одним из последних.

С первых же шагов по глубокому снегу намокли и противно липли к ногам штаны. Клава пристально вглядывалась в лица далеких «тетей», тянула цыплячью шею. И стоило какой-либо женщине взмахнуть рукой, как она напрягалась, всматриваясь в толпу, и понуро опускала голову, так и не распознав в ней маму.

— Смирно!

Шеренги замерли.

В центр плаца вышла старшая надзирательница — ауфзеерка Бинц, в черном мундире, щеголеватых сапожках, с неременным стеклом в руке, которым она владела артистически, в считанные секунды превращая человека в окровавленную тушу.

— Дети, — сказала она, — вскоре вы приступите к работе на фабрике. И будете с пользой для рейха проходить трудовое перевоспитание. Но прежде нам нужно проверить ваше состояние здоровья. Ответьте, кто из вас нуждается в медицинском уходе? У нас хорошая больница. Мы вас быстро поставим на ноги. Больные, шаг вперед!

Клава подалась искушению и, потянув за собой Васю, вышла из строя. Шеренги заколыхались. Ребятишки желали обещанного надзирательницей «гарантированного отдыха и квалифицированного лечения».

По озабоченному лицу капитана Володя понимал, чтостряслось настоящее ЧП. Борис Симонович собирался на поиски пропавших машин. Но когда уже слили весь оставшийся бензин в бак его грузовика, выяснилось самое неприятное: ни один водила не помнил обратной дороги.

— Как же так? — недоумевал капитан Вербовский, обращаясь к шоферу: — Что же это вы, сержант, вслепую крутили баранку?

— А что я? Я ничего! — оправдывался шофер. — Я шел впритирку за ведущим. Куда он, туда я.

И тогда Володя, по пятам следующий за заместителем командира дивизиона, вызвался повести поисковую группу.

— А справишься? — спросил капитан.

— Справлюсь! Места знакомые. Да и не кемарил я, как некоторые...

Дело было, конечно, не в «знакомых местах». Просто Володя, сидя в кабине рядом с шофером, примечал все интересное, да к тому же он впервые направлялся на передовую, в бой: не уснешь при всем старании!

— Садись в кабину, — разрешил капитан Вербовский.

Было темно, но Володя, словно обладая каким-то кошачьим зрением, выбирал верный путь. Вот разрушенный ветряк. Вот одинокое дерево с посеченной осколками кроной.

— Можно прибавить хода, — небрежно бросил он, зная, что вскоре появится разбомбленная хата.

Скорость возросла, но хата куда-то запропастилась.

Володя старался не показывать виду, что попал впросак. Прошла минута, другая. Капитан Вербовский заметил, что «проводник» нервно покусывает губы.

— Заблудился?

— Кто? Я? — горячечно воскликнул мальчик и тихо добавил: — Кажись, дал маху. Надо бы свернуть, а я по прямой. Думал, укоротить путь чуток....

— В нашем деле, в военном деле «чуток» не бывает — капитан Вербовский задымил папирсой.

— Борис Симонович, проскочим! Я не ошибся — зуб на отруб! — я просто маленько спрямить дорогу хотел...

Еще четверть часа машина продвигалась очень медленно, словно на ощупь. Внезапно из темноты вынырнула «исчезнувшая» хата. И в этот миг Володя понял, что такое истинное счастье. У цели они оказались в самый подходящий момент, когда зарницы высветили небо.

— Стой! Чьи будете? — окликнули прибывших.

— Свои! — поспешно отозвался сержант-водитель.

— Ну, сынку!.. — расчувствовался и капитан Вербовский. — Ты и не представляешь, какое благое дело ты сделал! — Он даже обнял сидящего рядом мальчишку. — Помяни мое слово, к медали представлю.

Не ведал капитан, что замполит командира полка завернет представление о награде и скажет:

— Несерьезно это, Борис Симонович, ординарцам медали раздавать. Лучше переведите пацаненка из ординарцев в разведчики. Для мальчишки это в самый раз. Так Володя Гарновский стал артиллеристом-разведчиком.

4

Больница — дощатый барак, пропахший карболкой и лекарствами, встретила малолетних узников пугающей неизвестностью. Они инстинктивно жались к стене, тоскливо всматривались в полутемный коридор, ведущий из «приемного покоя» в «операционный зал» и кабинет главного врача Трейзе. Несколько минут назад к нему направилась ауфзеерка Бинц, оставив ребятишек на попечение Зинаиды Арисовой, медсестры из военнопленных.

Вася с усилием сжимал Клавин локоть, чтобы она снова не проявила идиотской инициативы, чтобы не сунулась опять куда не надо. Сам же он ощущал гад-

кую дрожь в коленках. Дело в том, что страх перед врачами он испытывал с первого класса, с того момента, как во время прививки от столбняка грохнулся в обморок прямо в школьном медпункте.

Главврач Трейзе, молодежавый мужчина атлетического телосложения, показался в сопровождении ауфзеерки Бинц и сутулой старушки-медсестры, держащей поднос с блестящими инструментами. Полы его белого халата трепетали от каждого движения.

— Есть жалобы? — остановился он возле Клавы и Васи.

— У меня горло болит, — не прибегая к услугам переводчицы, с чистейшим берлинским произношением сказала девочка.

— Покажи горло, малышка.

Он приподнял ей подбородок, вдавил пальцами, похожими на клешни, щеки вовнутрь.

— А-а-а! — нечленораздельно замычала Клава.

— Правдивая девочка, правильно говоришь. У тебя ангина.

Васька понял: сейчас его отлучат от Клавы. Он выступил вперед и брякнул первое, что пришло в голову.

— У меня тоже ангина!

— Неужели? — засомневался доктор. — Такой эпидемии у нас еще не наблюдалось. Открой рот!

Вася беспрекословно выполнил требование, предполагая, что незамедлительно будет наказан за обман. Но к его недоумению эсэсовец в белом халате не разразился бранью, а довольно заметил:

— О, гланды! Воспалительный процесс в самом разгаре, требуется оперативное вмешательство. Скальпель!

С подноса, поданного старушкой-медсестрой, доктор Трейзе взял какую-то блестящую штуку, похожую на нож, и... Дальше Вася уже ничего не видел. А последнее, что он услышал, это крики Клавы:

— Не надо, дяденька! Не надо! Он хороший!

5

Володя, крадучись, продвигался за батарейцами по своему родному Славянску. От встречного огня его прикрывал броневой щит пушки. Но немцы могли ударить не только вдоль улицы. От прицельных выстрелов сбоку и сверху никто не был застрахован. Попробуй угадай, из какого окна внезапно лупанет «шмайсер»? Достаточно одной длинной очереди, чтобы срезать весь расчет. И второй — чтобы положить приданное ему отделение пехотинцев, проталкивающее орудие сквозь завалы битого кирпича и бетонных обломков.

— Навались! — рычали артиллеристы.

— Еще разок!

— Не идет, проклятая!

Пушка прочно застряла. Ни с места. Сколько ни бились над ней вымотанные до предела солдаты, она скатывалась с баррикады из битых камней, перегородившей улицу.

Сержант Вострецов, возглавляющий группы прикрытия, вопросительно посмотрел на капитана Вербовского.

Но отдать приказ тот не успел. Раздался хриплый лай пулемета, пули прошли наискосок, подняли фонтанчики снежной пыли над крошевом щебня.

Станкач бил с чердака здания, где располагалась полевая жандармерия. С чердака того самого дома, который поглотил Володину маму. Мальчик припал к орудию лафету и дал короткую очередь по слуховому окну, из которого сыпался свинцовый дождь.

Отстранив наводчика, Вербовский припал к панораме. Плавно завертелось колесико наводки. Пушка вздрогнула от выстрела. Ярким всплеском ударило по чердаку, полетели в разные стороны стропила. И крыша со скрежетом рухнула, погребая под собой вражеский пулемет.

Стремительным броском бойцы преодолели расстояние до атакуемого здания. Теперь, теснясь у фасада, они находились в мертвой зоне от засевших на верхних этажах автоматчиков. Но их могли забросать гранатами. Все решали считанные секунды. Достигнув входной двери, капитан Вербовский метнул в зияющую темный проем лимонку. Гулко грохнул взрыв.

Володя следом за командиром бросился внутрь помещения. Облака пыли размывали очертания предметов. Под ногами мешались обрывки проводов, стреляные гильзы, пудреницы, отбитые головки фарфоровых пупсов и другое барахло. Сквозь анфиладу комнат доносилось бормотание немецкого ручника МГ, потрескивание «шмайсеров», а с улицы — рокотанье ППШ.

— Не толпиться! Рассредоточиться! Пошли! — отдавал короткие команды капитан Вербовский.

На пару с сержантом Вострецовым Володя вымахнул на второй этаж, рванул на себя дверь и очутился в центре полутемного и, по всей вероятности, длинного коридора.

— Разделимся, — сказал Вострецов. — Пойдем по обе стороны. Ты — направо. Я двину налево. И при любом подозрении шпарь очередями, от стены до стены, здесь и мышь не проскочит.

Коридор, по которому пробирался Володя, свернул в какой-то тупичок. Ствол автомата во что-то ткнулся, и в тот же миг, чуть ли не инстинктивно, мальчишка нажал на курок. Сквозь пулевые отверстия в помещение, куда он попал, проникли солнечные лучи. Оказалось, что он уперся в забитое досками окно.

Осмотрелся. Небольшая комната, со столом, пишущей машинкой, сбоку запертая дверь в кабинет, обитая коленкором, с металлической ручкой. Шагнув к двери, Володя уловил за ней подозрительный шорох и раскроил ее очередью крестнакрест, чтобы лишний раз не испытывать судьбу.

Плечом вперед он влетел в просторное помещение, и чуть не ослеп от света, бьющего из широких оконных простенков. У его ног дергался в предсмертной агонии эсэсовец в офицерском мундире, прижимая к груди бесполезный уже «шмайсер». Володя нагнулся, вырвал из его коченеющих пальцев оружие.

— Довоевался! — угрюмо бросил мальчик, подражая бывалым солдатам.

Кипа матрасов, сложенная вповалку, привлекла его внимание. Ему показалось, что она шевельнулась. «Нет, не показалось», — через секунду подумал он: матрасы и впрямь чуть-чуть сдвинулись.

— Хенде хох! — выкрикнул Володя с угрозой. — Выходи без оружия!

И для пущей остротки резанул из автомата с небольшим превышением. Сразу же полосатая пирамида заходила ходуном. И двое гитлеровцев на четвереньках выползли из своего убежища.

— Встать! Хенде хох!

Пока пленники поднимались, Володя успел рассмотреть их как следует. У него перехватило дыхание, и он искренне пожалел, что стрелял поверх кипы матрасов. Перед ним были его ненавистные знакомцы: унтерштурмфюрер Гадлер и Колченогий, оба грязные, испуганные, со струйками пота на лицах.

— Шнель! Шнель! К двери марш!

Володе хотелось, чтобы Колченогий тоже узнал его. Наблюдая за ним, он на секунду упустил из поля зрения немецкого офицера. А тот, зайдя сбоку, бросился на мальчика. Секунда промедления чуть ли не стоила ему жизни, но Володя ус-

пел-таки нажать на спусковой крючок. Фашист, схватившись за живот, ничком свалился на пол. А автомат вдруг осекся — кончились патроны.

Володя лихорадочно вцепился в запасной диск, висевший на пояском ремне. Но опоздал. Колченогий не позволил ему перезарядить оружие, повалил юного солдата и вцепился пальцами в горло.

Задыхаясь под тяжелым телом, Володя все же дотянулся до Колькиного «вальтера», снял предохранитель и всадил три пули в грудь Колченогому.

Тот дернулся и затих.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО

17 февраля 1943 года на Украине наши войска в результате упорных боев овладели городом и железнодорожным узлом Славянском, а также заняли города Ровеньки, Богодухов, Змиев, районные центры Алексеевское, Славяносербск.

(Это было первое освобождение Славянска. Советским войскам скоро пришлось его оставить. Вторично этот украинский городок освободили осенью 1943 года — Е.Г.)

6

— Никак Володя объявился!

Первой приметила появление Володи Гарновского во дворе дворничиха Пелагея Даниловна. В широченном тулупе, огромных валенках она приближалась к мальчику с нехарактерной для нее медлительностью. Маленький солдат с болью в душе смотрел на изможденное лицо старушки, прежде очень бойкой и сварливой, а теперь какой-то снулой, точно за время оккупации истощившей весь запас жизненной энергии.

— Во-ло-дя! — выводила она по складам.

— Он самый, артиллерист-разведчик!

— Ох, ты, господи, артиллерист!

— Бог войны!

Пелагея Даниловна порывисто обняла Володю, прижалась щекой к грубому воротнику его шинели. И Володе на мгновение вспомнилось, как она гонялась за ним и Колькой с метлой, когда они разбили футбольным мячом окно на втором этаже.

— Бог мой! Жив! А мы-то думали... И тебя, думали, замели...

— Я не дался.

— А вот корешок твой Колька пропал совсем. И Клавочку увезли немцы. Куда? А кто их знает? Анне Петровне обещали доложить, как прознают, да...

— Что? Что с Анной Петровной?

— Замели ее.

— Как так, «замели»? Расстреляли?

— Замели, говорю. Наши. За сотрудничество с врагом. Как пришли, так сразу и замели. Она переводчицей работала в госпитале для красноармейцев. Немцы их не трогали, давали долечиться. А наши пришли — провели аресты. И ее взяли, вроде как пособница.

— Много они понимают! — возмутился мальчик. — Борис Симонович появится, сразу всем мозги повышибает.

— Он уже появился, пришел навестить жену, — тихо прошепеля старушка.

— Так что же вы меня держите? Мы с ним договорились встретиться здесь! — рванулся Володя к двери.

— Тебе туда нельзя! — еще крепче схватила его Пелагея Даниловна. — Нельзя! Нельзя! Его сейчас там арестовывают...

— Он же на фронте был!
— Где бы ни был, а муж врага народа. Теперь и ему прямая дорога в тюрьму. А ты беги скорей назад, в армию, чтобы тебя никто лишний не заметил.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

1

— Ох, и накурено у вас, батюшки-родные! — сказала Полина, входя в землянку и сгибаясь, чтобы не удариться о низкую притолоку.

Никита воспринял ее слова как упрек и начал разгонять дым рукой, будто намерился поймать его в пригоршню и выбросить за дверь.

— Мы... эта... ничего, — оправдывался он. — Мы... эта... курим для пользы организма. Махра микроба бьет наповал. Факт проверенный.

— Ладно тебе, балаболка, — отмахнулась Полина. — Губи свое здоровье. Мне-то что. Я за Колей.

Колька вопросительно глянул на девушку, но своего занятия не прерывал. Сидя на чурбаке, он взбивал в берестяной коробочке мыльную пену самодельным помозком.

— Чего тебе? — наконец спросил он.

— Петрович тебя вызывает, через полчаса.

— Значит, опять будем крутить радио.

— Какое радио?

— Обычное, разговорное, — усмехнулся Колька. — «Языки» у нас вместо радио, пора бы знать — большая уже.

Сразу же после ухода девушки Никита мечтательно молвил:

— Красивая...

Коля потянулся ко лбу Никиты, якобы вознамериваясь проверить температуру.

— Перегрелся?

— Красивая, говорю, девка Поля!

— Ну, говори, говори...

— А что? Грудь! Стать! Понимать надо. Да ни хрена ты не понимаешь в женщинах — пацан еще!

— В них и понимать нечего!

— Салага! Без понятий никакую девку в себя не влюбишь. А чтобы влюбить, надо знать, что она ценит. А ценит она мужское отличие.

— И как оно выглядит?

— Э, нет! Совсе не так, как ты подумал. А выглядит оно в виде медали, либо ордена.

— Тогда у нас здесь, в партизанах, никаких отличий.

— Э, недопонимаешь, дружок! С медалью мужик куда ценнее в глазах бабы покажется. Вот я читал в наградной книжке: с медалью «За отвагу» тебе бесплатный проезд полагается в трамвае. А это большая экономия в семейной жизни.

— О-го-го! — присвистнул Коля от неожиданности. — Трамвай тебе понадобился. А ездил ли ты когда-нибудь на трамвае в своей деревне, Никитка?

— Была бы наградная книжка. А трамвай... Я за трамваем специально в большой город поеду, чтобы прокатиться разок. В самую Москву-матушку выберусь, медаль привешу и на подножку. А там и Полю задарма прокачу...

Колька не позволил партизанскому красавцу развить свою мысль, забил ему рот мыльной пеной, мазнул пышной кисточкой по щекам и провел по щеке остро отточенным кинжалом, заменяющим опасную бритву.

Приближался полдень.

В пронзительно голубом небе плавали редкие облака, невесомые и белесые, как ангелочки на рождественских открытках Третьего рейха.

Женщины, заключенные концлагеря, занятые благоустройством двора, думали о скором обеденном перерыве — пусть быстротечном, но все-таки дающем перерыв в изнурительной работе. Они вонзали лопаты в смерзшийся песок, грузили его на тачки. То и дело слышалось:

— Сил моих нет, надорвалась уже.

— Пропади они пропадом со своими указаниями!

Вася вкалывал вместе со всеми. Но чтобы как-то отвлечься от тяжелой работы, мысленно увел себя далеко от колючей проволоки. Вот он бежит по летному полю аэроклуба. Вот садится в свежевыкрашенный ПО-2 и взмывает под облака. Летит по направлению к древнему Риму, на выручку Спартаку, окруженному войсками Красса. Но какая высь? Взгляд упирался не в небо, а под ноги. Внезапно под лезвием лопаты мелькнул клочок серой бумаги, испещренный неровными буквами. Вася нагнулся, поднял бумажку — да это же листовка! Он поспешно спрятал ее за пазуху, оглянулся: как охрана? Нет, вроде бы пронесло — никто ничего не заметил.

Звонкие удары куска металла по рельсу возвестили о начале обеденного перерыва.

Из-за какого-то мальчишеского озорства или неподотчетного желания увидеть снова Полину, Коля заскочил к ней в землянку. И застал девушку за приготовлением к стирке.

— Каким ветром? — спросила она, резким движением головы откинув назад закрывающие глаза волосы.

— Собирайся!

— Куда?

— Замуж! — Коля чуть не подавился от распирающего его хохота. — Никитка влюбился в тебя. Все стены покрыл поцелуями. А признаться стесняется.

— А ты?

— Что — я?

— Ты не стесняешься?

— Еще чего!

— Вот когда надумаешь признаться за себя, тогда и приходи.

Коля, как ошпаренный, выскочил из землянки и долго еще проклинал себя, что сунулся к Полине со своим дурацким розыгрышем.

В штабе партизанского отряда было накурено посильнее, чем в землянке у Никиты. Мужики неторопливо переговаривались:

— Костусь сказывал, печь у него развалилась. А починить некому.

— Хреново!

— Был бы наш Никитка в селе, он вмиг бы управился — наладил бы печь...

С появлением Коли разговоры прекратились.

Анатолий Петрович, командир отряда, поднялся из-за бревенчатого стола и зычно провозгласил:

— Кончай перекур!

Подозвал к себе Сеню Баскина, механика-водителя Т-34 в прошлом, а ныне командира разведгруппы:

— Сбегай за «языком».

Коля привычно настраивался на предстоящую беседу с пленным. Прокручивал в уме, как заезженную пластинку: «Имя? Фамилия? Звание? Где воевал прежде? Какое настроение в частях сегодня?»

Подняв задумчивые глаза на вошедшего в землянку фельдфебеля, он в первый момент не понял, отчего вдруг громыхнул смех. Потом разобрался. Завоеватель Европы, двухметрового роста, согнувшийся под низким потолком, двумя руками поддерживал сползающие брюки с обрезанными пуговицами. Эта забавная картина, напоминающая семейным мужикам голопуза, наделавшего в штаны, была и смешной, и карикатурной.

— Чего это он? — обратился к Сене Баскину командир отряда.

— А чтобы не бегал! С голой задницей далеко не убежишь.

— Ладно, умник! — строго сказал Анатолий Петрович и кивнул немцу: мол, садись на чурбак.

Немец, придерживая брюки, присел к столу.

Коля приступил к допросу.

— Имя?

— Генрих.

— Фамилия?

— Клинберг.

Немец немного успокоился. Прицельно, исподлобья глянул на Анатолия Петровича, как бы оценивая свои шансы в предстоящей словесной схватке. И размеренным голосом выдал нечто несусветное:

— Предлагаю не самообольщаться, а сдаться на милость победителя! Ваше уничижение — только вопрос времени.

— Сдаться? — Анатолий Петрович привстал из-за стола. — Я на Халхин-Голе не сдавался. Я в сорок первом, в окружении, не сдавался. Вот пентюх! Вымахал в два метра ростом, а ума не нажил, — повернулся всем корпусом к переводчику. — Растолкуй ему, Коля, чтобы не фардыбачил. Шлепнем за милую душу.

Когда угроза дошла до фельдфебеля, он пожал плечами:

— Я солдат.

— Зачем же ты, солдат, расстреливал мирных жителей в Змеиново?

— Был приказ — ликвидировать гетто.

— Ликвидировал?

— Приказы не обсуждаются.

— Вот за это мы и тебя ликвидируем.

— Не торопитесь. В обмен на жизнь я готов предоставить вам ценную информацию.

— Какая информация?

— О дислокации вашего отряда. Нам все известно.

— Откуда?

— Точных данных у меня нет. Предполагаю: где-то в ваших штабах засел наш человек. К нам информация поступает из Абвера, по линии разведки генерального штаба. Отсюда и предписание: изучить все подходы к вашей базе и готовиться к штурму. В час X все ваши жизни будут аннулированы, если вы вовремя не перебазируетесь.

— Мы перебазирuemся, ты не беспокойся.

— Час X в обмен на жизнь!

Анатолий Петрович, кивнув, заметил Коле:

— Пообещай ему жизнь, — и, усмехнувшись, почти не слышно, уточнил: — Из резерва главного командования.

Вася Гуржий проскользнул в барак, залез на нары. Здесь, в полутемном углу, бережно расправил на коленях листовку. Прочел: «Дорогие подруги! Соединяйте свои силы. Помогайте друг другу. Фашисты хотят нас сломить физически и морально. Не поддадимся им. Будем дружны и стойки. Берегите свои силы. В этом наша победа. Смерть фашизму!»

Всего несколько строк на русском языке. Но каких строк! Жаль, нет в них даже намека о детях, которых наравне со взрослыми мучают здесь до полусмерти. Вот бы написать! Он склонился над помятым листком.

Когда Вася увидел в проеме дверей старшую надзирательницу Бинц, он понял, что ауфзеерка, по всей вероятности, заприметила его на третьем этаже нар.

— Поди-ка сюда! — поманила она мальчика пальцем.

На ватных ногах он шел к ауфзеерке Бинц.

— Что у тебя там? — спросила надсмотрщица, ткнув его пальцем в грудь.

— Ничего, кроме сердца.

— А ну мне — не вольничать! — холодная и скользкая, как змея, рука скользнула под его полосатый пиджак. — А это что? Прокламация?

— Нет, нет! — отшатнулся Вася.

— Не ври! Знаешь, чем тебе это грозит? Штрафблоком! Откуда у тебя прокламация?

Вася, пойманный с поличным, решил принять всю вину на себя, как в былые времена, в школе, когда вместе с Володей заложил карбит в чернильницы на партах, чтобы сорвать контрольную по математике.

Ауфзеерка Бинц пощелкивала стеком по голенищу сапога. Потом кончиком стека приподняла подборок мальчика. — Придется тебе кое-что напомнить. Иди за мной!

В землянке было тихо и спокойно, никто не мешал.

Коля поставил точку и вновь перечитал только что написанное стихотворение:

Мы были такими, какими были.
Мы стали такими, какими стали.
Из детства на войну отплыли,
А к зрелости еще не пристали.

Мы где-то — между. Возраст не помеха.
Пусть не всерьез зовут нас «мужиками».
Зато всерьез, не ради смеха,
Сражаемся мы с лютыми врагами.

Мы рождены для боя — не парада!
Любой из нас в сражении неистов.
Мальчишески мы любим автоматы.
По-взрослому разим в боях фашистов.

Коля засунул огрызок химического карандаша в карман широкого в плечах ватника. Окинул взором высеребранные сосны с заиндевельными стволами и игольчатými верхушками. Ему почему-то думалось о Полине и хотелось писать стихи для нее — о любви, а не о войне.

Сеня Баскин сидел в штабной землянке напротив Анатолия Петровича, сосредоточенно чадившего сигаркой, что было признаком глубокого внимания. Боец приводил заранее обдуманнные доводы в пользу своего плана.

— Куда он денется, этот фриц? Обязательно пойдет! Вынужден будет пойти на это!

— А где уверенность, что Клинберг не подведет? Гарантии...

— Риск — наша гарантия, батя.

План, с которым командир разведгруппы пришел к Анатолию Петровичу, был сумасбродно прост и дерзок. Вот это и смущало. Сеня предложил переодеть партизан в немецкое обмундирование и под предводительством фельдфебеля Клинберга двинуться к складу с оружием, собранному немцами на полях сражений. Внезапность нападения — залог удачи. В то время как открытый бой повлечет за собой большие потери.

По мысли Баскина, пленный фельдфебель даст согласие на участие в операции. Почему? По той элементарной причине, что неожиданное предложение разбудит в нем надежду на спасение, пусть эфемерную, но надежду, которая, как известно, умирает последней.

Тюремное заточение — боль, тоска, душевные мучения...

Васю преследовали запахи и вызванные ими рези в желудке.

Казалось, что некто сердобольный и заботливый запрятал в укромном уголке одиночной камеры буханку свежееиспеченного хлеба. И еще что-то. Очень вкусное. Но сколько мальчик ни рыскал по каменной клетке, сколько ни заглядывал под лежак, сколько ни ощупывал шероховатые выемки в стенах — напрасно, нигде ни крошки.

В тот момент, когда с лязгом засова дверь камеры отворилась, Вася отрешенно смотрел на зарешеченное окно. Он почувствовал присутствие в камере постороннего человека.

«Кто здесь?» — подумалось ему.

Женский голос вывел его из душевного паралича.

— Ну, и запах!

— Запах? И вам мерещится запах? — Вася резко повернулся на голос.

— Зачем же — «мерещится»? Живой запах, как на кухне.

— Запах хлеба?

— Хлеба.

— И курицы?

— Мальчик, да что с тобой? Ты болен?

— Я не болен. Я думал, что с ума сошел.

Вася с облегчением смотрел на женщину, необыкновенно милую, небольшого росточка, со вздернутым носиком и коротко стриженными волосами.

— Успокойся, — сказала Мария Евгеньевна, бывшая медсестра из военнопленных.

Вася приподнялся на лежаке, подтянул к подбородку колени.

— А вас за что сюда, в карцер?

— За то же, что и тебя. Листовки!

— А откуда вы знаете — за что меня?

Вася разом заостенел: не провокаторшу ли к нему подсадили?

— Земля — слухом кормится.

Мария Евгеньевна взглянула на мальчика, и ее сердце жалобно екнуло. Перед ней сидел, скорчившись, маленький старичок с заметными страдальческими складками в уголках рта, дряблой шеей и тусклыми глазами.

8

Ранним утром, в прибывающем свете нового дня, по заснеженной грунтовой дороге, ведущей в Бобровичи — поселок городского типа с небольшим маслозаводом, превращенным в склад собранного на полях сражений оружия, продвигалась процессия. Впереди — трехколесный мотоцикл с коляской, за ним — две подводы с людьми, одетыми в форму вермахта.

Смерзшийся с ночи снег поскрипывал под колесами. Ледисто постукивали вожжи. Пар шел от заиндевелых ноздрей битюгов.

«Немцы», сидящие на телегах в касках и с автоматами на груди, грели ладони под мышками и кляли трофейные пятипальцевые перчатки и мышинного цвета шинели на рыбьем меху.

— С такой амуницией сунулись в нашу стужу!

— Дурье безмозглое!

— Блицкригу им захотелось! Думали: лето-осень — и покончат с нами.

— Пусть кричат теперь — надрываются, когда им мордахи выморозит!

Сеня Баскин, командир группы, сидя позади фельдфебеля Клинберга, управляющего мотоциклом, оглянулся на взъерошенных, подрагивающих плечами партизан и невольно усмехнулся: «Ни дать ни взять настоящие фрицы, вкусившие русского морозца!». Он перевел взгляд на стриженный затылок двухметрового Генриха, розовые уши с вытянутыми мочками, торчащие из-под офицерской фуражки с высокой тульей. Невольно представил, как удобно было папочке этого долговязого немца таскать его за уши. И чуть было не прыснул. Но подавил в себе смешок и, чтобы не расхолаживаться, ткнул стволом в спину водилы.

Фельдфебель Клинберг скопил глаза на коляску, откуда на него почти в упор смотрело дуло «шмайсера», лежащего на коленях «киндера»-переводчика.

Вдали, там, где большак сворачивал в затянутый дымкой поселок, показались две размытые в воздухе фигуры.

«Патрульные!» — смекнул Коля.

Сами собой угасли разговоры. Напряженную тишину прерывал лишь глухой перестук копыт.

Фельдфебель Клинберг притормозил рядом с патрульными и начал что-то выговаривать, раскатывая хрипкое «р-р-р».

Сеня сдавливал разгоряченную рукоять «парабеллума» в кармане шинели, испытующе поглядывал на Колю: все ли делает немец правильно, согласно договору?

Коля незаметно кивнул.

— Яволь! Яволь! — выдавливали охранники, внимая начальственному тону фельдфебеля. А он отчитывал их за неряшливый и сонный вид, требовал повышенного внимания, предупреждал, что партизаны могут оказаться в такой близости, что они и не представляют себе.

— Герр фельдфебель, нам пора! — Коля напомнил о себе двухметровому Генриху.

Заурчал мотоциклетный мотор, мимо коляски проплыли обморочной белизны лица солдат. Чуть погодя, когда с патрулем поравнялась первая подвода, послышался задавленный вскрик, второй. Коля не обернулся. Только и молвил, но так, чтобы его отчетливо услышал немец: «На войне как на войне».

Бобровичи, в снегах до бровей, лежали в полудреме. Время тут будто бы остановилось. А Коля, наоборот, каждое мгновение воспринимал обостренно.

Окраинные дома уже позади. Окна — бельма. Ни одного надышенного глазка. Значит, спят...

Впереди — маслозавод: одноэтажный домик похож на казарму. А вот и часовой. Обхватил плечи руками. Притоптывает. Заморозился, видать, как чурбак. Снять такого — одно мгновение...

Двухметровый Генрих... Как он? Настороже. Интересно, какой он сюрприз готовит? А иначе и быть не может. Чего ради согласился участвовать в операции?

Справа, метрах в тридцати-сорока от маслозавода, конторка. До войны — понятно — в ней сидели директор, бухгалтер. А сейчас? Тоже понятно — немцы, из охранного подразделения.

Ага! Приметили нашего Генриха. Зажгли свет в домике. Сейчас покажется встречающий. А вот и он. Звание? Унтер-офицер. Хлеба с солью, надо полагать, нам не поднесут. Хотя...

Вот это, называется, влипли! Унтер приветствует нашего фельдфебеля с прибитием. И приглашает на завтрак. Что? Что? Какой к черту завтрак? А вот какой: завтрак для командного состава. Это получается и для меня. Фельдфебель поспешно соглашается, слазит с мотоцикла. Ну, и история! Вырядили меня из-за знания немецкого языка в мундир ефрейтора! Меня — не Сеню! Думали, так правильно. А вышло все кувырко. Что теперь делать? Не отказываться же, право...

А что у нас? Михась со Степкой уже откололись от общей группы. Действуют по уговору. Сейчас подойдут к часовому, предложат ему сигаретку. Тот и пикнуть не успеет...

А Сеня? Сеня тотчас управится с унтером. И долой завтрак, да здравствует победа! Но Сеня чего-то тянет... А фельдфебель — наоборот. Уже у конторки, обращившись с улыбочкой гнусной, меня зовет. Меня? Зачем я ему понадобился? Идти? Сеня толкает в спину: «Иди!»

Вот дверь в конторку. Комната. Слева печь. В центре стол. Запах какой! Запах! Не иначе — куриный бульон в кастрюле. А это что? Это... Ах, ты, гад! Это Клинбер! Оказывается, не я ему понадобился, а мое оружие...

Коля резко отскочил в сторону от внезапно выброшенной руки фельдфебеля, пытавшейся выхватить у него автомат. Машинально выкрикнул:

— Хенде хох!

Унтер потянулся к поясу за пистолетом, повар недоуменно приподнял кочергу, которой ворошил горящие угли в печи.

Все короче расстояние до двухметрового Генриха. Подползают, тянутся к стволу крючковатые пальцы, нервно скребущие пустоту.

— Нихт шиссен! Не стрелять! Отдай оружие!

И на эти требования накладывается горловой всхлип. «Часовой снят! — понял Коля. — Дело пошло!»

Его указательный палец точно свело судорогой. И долго еще — долго по тому отсчету времени, какое вело бешено скачущее сердце, не мог он отпустить спусковой крючок...

Белым полотном покрывала зима тела немецких солдат, лежащие вповалку у конторы, снегом застилала узорные — в елочку — следы мотоцикла, четкие, не осыпавшиеся по краям, отпечатки копыт с вмятинами от гвоздевых шляпок на подковах.

Коля шел по поселку. Он повернул к маслозаводу и столкнулся с запыхавшимся от бега Гришей.

— Скорей! Сеня зовет. Чего-то он сам не в себе.

— Что-то случилось?

— Я — знаю? Оружия на складе хоть завались. И все наше, от окруженцев срок первого. Это знаю. А что с Сеней стряслось — не знаю. Весь из себя — какой-то... «Колю срочно сюда!» — сказал.

Коля прибавил шагу.

На маслозаводе партизаны перетаскивали винтовки и бидоны с патронами на подводы. Сеня стоял у сепаратора, рассматривая армейский наган.

— Вызывали? — спросил Коля, подойдя к командиру.

Тот как-то странно посмотрел на него и протянул наган, по внешнему виду подобный тому, какой был у Володиной мамы, из которого он подстрелил Колченого.

— Держи!

Коля напрягся, подыскивая слова благодарности.

— Служу... — начал он.

— Молчи! — прервал его Сеня. — Смотри — наградная табличка. Что написано?

— Написано... — Коля стал читать гравировку на серебряной пластинке, и онемел: «Майору М.Ш. Вербовскому за отличное выполнение боевого задания».

— Батянино, получается, наследство.

— Получается... Он, сказывали, пропал в сорок первом.

— Выходит, не совсем пропал.

9

Ауфзеерка Бинц — локоть на крышке стола, впритирку к пепельнице — докурировала сигарету.

— Значит, не желаешь говорить?

— А что мне говорить? Мне говорить нечего.

— А о чем вы беседовали с заключенной номер 5693?

Вася искоса взглянул на старшую надзирательницу. «Еще чего! Буду я ей рассказывать о Марии Евгеньевне! Вот, оказывается, зачем нас держат в одной камере. Меня задумали превратить в стукача. Сволочи!»

Молчание мальчика выводило немку из терпения. Она резко поднялась на ноги, устрашающе шлепнула стеклом по голенищу сапога.

— Малыш! Пора тебе образумиться. Ты думаешь, что своим несогласием сотрудничать с нами противодействуешь лагерным порядкам. Ошибаешься! Ты и подобные тебе «оригиналы» давно уже на службе у Третьего рейха. Ты благоустраиваешь территорию...

— Работаю на песке...

— Ты на песке, а они... Они снабжают своей кровью наши полевые госпитали. Стоят, как говорится по-русски, на страже здоровья наших солдат. Тебя мы тоже направим на сдачу крови. И будешь, как они... Будешь до конца дней помнить, что своей кровью спасал немецких солдат — тех, кто убивал ваших отцов. Иди! Ты свободен!

Свободен...

От себя не освободишься. На воротах лагеря написано: «Работа делает свободным». Вот для этого он свободен.

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

1

Новый замполит командира дивизиона Захаров, присланный на замену арестованного в Славянске на собственной квартире капитана Вербовского, нервно ходил по комнате взад-вперед у окна, выходящего на деревенский двор. Руки его, закинутые за спину, были плотно скреплены в замке. Папироса в углу рта давно погасла, но офицер этого не замечал.

Володя Гарновский с виноватым видом следил за командиром.

— Надо ехать, а ты упрямисься, — недовольно говорил капитан Захаров. — Подумай — Суворовское училище! Офицером станешь.

— Сначала война! — буркнул Володя.

— Мы и без тебя закончим войну!

— Со мною быстрее!

— Он еще шутит, — проворчал капитан Захаров, прикурив от зажигалки, и испытующе уставился на парнишку. — А мне не до шуток.

— Война... — Володя попробовал попасть в тон.

— Да не война, сынок, а особый отдел! Наведывался тут особист, все о тебе выспрашивал.

— Из-за Бориса Симоновича?

— Из-за него. Что он говорил, какие указания давал тебе?

— А ничего он мне не говорил!

— Это я и сказал особисту.

— Поверил?

— Он из моих старых знакомцев. Вместе из окружения выходили в сорок первом.

— Понятно.

— Сделал вид, что поверил. И ты поверь, он сам порекомендовал отправить тебя в Суворовское, от греха подальше. А то вместо него пришлют другого, и начнет копать...

— Товарищ капитан! А там, в Суворовском, заполняй анкету: папа, мама, под чьим началом служил? И... сами понимаете...

— Может, ты и прав. Иногда лучше пересидеть под бомбами.

— Разрешите идти?

— Подожди! Никому ни слова о нашем разговоре.

— Не маленький.

— Оно и видно, старше своих лет стал, поди, — капитан Захаров, загасив папиросу в пепельнице, опять потянулся к пачке «Беломор-канала». Но внезапно зазвонил полевой телефон.

— Слушаю!

Голос капитана звучал как-то по-другому. Как показалось Володе, в какой-то степени радостно. «Чему радоваться? Одних убили, других не известно за что — в тюрьму», — промелькнуло у него в голове.

Капитан Захаров положил трубку на рычаг.

— Комполка звонил, повернулся он к Коле. — Выезжает к нам для вручения наград. Приказал подготовиться к этому событию. Вот так оно, Володя, в жизни выходит... Иди, приводи себя в порядок.

— Что? И мне?

— И тебе. Медаль «За отвагу». Но молчок до построения. Это тебе как бы последний привет от Бориса Симоновича. Он представил тебя к награде, после того ночного рейда. Помнишь?

— Как не помнить? Но ведь... Его ж арестовали!

— Арестовывает одно ведомство, награждает другое. Так и живем, как можем.

2

В штабной землянке Анатолий Петрович допрашивал полиция. Что конкретно выпытывал у него командир, Коля так и не узнал, ибо, когда вошел, допрос, по сути, был уже завершен. Теперь дело оставалось за приговором. И он последовал незамедлительно.

— Расстрелять!

Еще не остыв от недавней вспышки, угрюмый, с глубокими тенями под глазами, Анатолий Петрович вбирал раздувшимися ноздрями воздух, словно не выпарился еще из землянки дух полицаев, уведенного конвоиром. Наконец, будто только сейчас заметив Колю, сказал ему:

— Слушай, парень. Полицай показал: наша дислокация раскрыта, готовится карательная операция. Мы покидаем базу. Переходим в Черную падь. Твоя задача: сообщить об этом Сцепщику. А он должен встретить в условленном месте — он знает где — самолет с посланцами Большой Земли, и препроводить их к нам. Понятно?

— Кто прилетает?

— Из центрального штаба партизанского движения. Представители разведуправления. По депеше из Москвы — полковник Мазурков и радистка Маша. Так к ним и обращаться, и никаких лишних вопросов.

— Можно идти?

— Валяй. Возьми с собой Гришу для подстраховки, и вперед!

3

Игнатий Павлович Мищенко — седая борода, домотканая рубаша до колен, перевязанная веревкой в талии, круглые очки на носу — не спрашивал у связников пароль. Их — Колю и Гришу — он хорошо знал в лицо, как и они его, проходящего под кличкой «Сцепщик» в секретных донесениях партизанского отряда, направляемых в центр.

Он провел ребят в горницу. Без лишних слов поставил на стол самовар с величественными медалями на медных боках. Угостил липовым медом — «черпайте ложкой, мало не покажется», призвал к порядку семилетнего внука Афоньку — «за что ты безответную кошку забил? Зачем прищемил ей хвост дверьми, изверг?». И как бы между делом, за кружкой заварного кипятка, выслушал посланцев Анатолия Петровича.

Со стороны поведение Сцепщика, прозванного так из-за работы на железнодорожной станции, могло показаться странным. Но Коля с Гришей были его частыми гостями. Они хорошо изучили характер Игнатия Павловича и понимали, что он просто-напросто абсолютно ко всему, что происходило в его доме и вокруг него, относился предельно серьезно.

— Встретим летунов ваших чин-чинарем и сведем в Черную падь. Так и передайте Петровичу, — говорил он, отхлебывая чай.

— Передадим, — сказал Коля.

— Но и для вас есть дело по части душевного благополучия.

— Какое еще дело? — недовольно проворчал Гриша.

— А вот какое! На обратном пути, когда под утречко выберетесь от меня, заверните к нашим соседям.

— В Гиляево?

— Куда же иначе? Там у Егора Сердюкова документы наших сбитых летчиков хранятся. Почитай, записали их в Москве пропавшими без вести, а жинкам и деткам не дают продаттестат, пухнут они с голода. А тут — документы, и можно похоронку вытребовать «смертью храбрых», и продаттестат получить. Заглянете?

— Заглянем, — сказал Коля.

— Добре, хлопцы. Чужие жинки вам свечку в церкви поставят.

— Зачем нам свечки? — удивился Гриша.

— Вам они ни к чему. А вот жинкам чужим... Подумайте, сколько лет жизни вы можете сохранить их детям, если они получат продаттестат?

Жаркое солнце слепило глаза. Душный полдень навевал думы о близком отдыхе. Истомленные солдаты возвращались с НП на батарею. Впереди, тяжело ступая, шел старшина Ханыков, за ним, положив руки на автомат, Володя Гарновский.

— А здорово ты отбрил пехтуру! — не унимался старшина Ханыков. — Так ему и надо! Пусть знает наших!

— Я бы смолчал... — Володя был близок к раскаянию, расценивая свою мальчишескую выходку совершенно в ином ключе, нежели старшина. — Но он задел меня за живое. «Малец, — говорит, — как пройти в хозяйство Свиридова?» Понимаешь, «малец». Какой я ему «малец», когда выше его по званию?

— Ефрейтор — это не просто звание, это первый шаг на пути в генералы, — заметил Ханыков.

Ефрейтор... Володю недавно повысили в звании. Красная ленточка на погоне еще не успела выгореть. И каждый раз, когда натягивал гимнастерку, он любовался ею. И не беда, что над ним иногда подтрунивали кореша из комендантского взвода, называя «еврейтором». И не беда, что иногда посмеивались: мол, ефрейтор — это недоделанный сержант или переделанный солдат. Новообретенному званию, что там скрывать, он был рад, и потому готов был одернуть любого, кто видел в нем по-прежнему всего лишь пацана, облаченного, словно для маскарада, в военную форму.

— Вот я ему и врезал: «Не малец, а товарищ ефрейтор! — сказал Володя, продолжая вспоминать о недавнем инциденте. — Пора бы усвоить форму обращения к старшим по званию!» У него глаза из орбит, а рука сама собой к пилотке. Умора, и все тут!

— Представляю, — басисто расхохотался Ханыков и сквозь смех выдавил: — Правильно отбрил пехтуру! Мы ведь артиллерия — бог войны!

Внезапно тишину разорвали короткие автоматные очереди. Мгновенно Володя оказался на земле, подполз к старшине Ханыкову. Они осмотрелись. Где-то впереди, в зарослях кукурузы, притаился враг.

Но где?

— Подняться не позволит, гаденыш! Это как пить дать! — сказал Ханыков.

— А что, если обойти его? — предложил Володя. — Я ужом проползу, не заметит. А ты отвлекай. Дай ему огонька прикурить.

— Действуй, парень.

О местонахождении засады можно было догадаться только по говору «шмайсера». Он бьет куда звонче, чем ППП.

Автомат в руках старшины, срезая стебли кукурузы, ударил на звуки выстрелов. Володя ловко юркнул в заросли и, забирая вправо, осторожно пополз. Волосы выбились из-под пилотки, пот резал глаза. Когда перестрелка умолкала, он, затаясь, лежал ничком, догадывался, что в эти недолгие мгновения передышки и фашист прислушивается к тишине. Стоит шелохнуться — пиши пропало. Но повезло, себя не выдал, и почти вплотную подобрался к гитлеровцу. Вот он, весь из себя еще живой-живехонький. Короткие, широкие в голенищах сапоги. Мышиного цвета форма, на погонах окантовка. Унтер-офицер.

Немец лежал на боку и деловито менял рожок «шмайсера». В его движениях, расчетливых и точных, не проглядывало ни нервной поспешности, ни испуга. Чувствовалось, это матерый волк, полный внутренней уверенности в своих силах — «за дешево» свою жизнь не продаст.

И тут Володя, готовый нажать на спусковой крючок, неожиданно для себя самого повелительно выкрикнул:

— Хенде хох! Гитлер капут!

Немец инстинктивно обернулся. Уставился на зрачок автомата, непонимающе, но зло. Перед ним стоял мальчишка, росточком ему по грудь.

— Киндер! Майн гот, киндер! — бормотал унтер-офицер, ошарашенно водя головой. Он потянулся к поясу за гранатой. Но тут набежал старшина Ханьков и увесистым кулаком пояснил фашисту: дальнейшее сопротивление бесполезно.

— Руки вверх! — сказал старшина, употребив для быстрейшего усвоения его требований несколько непечатных выражений.

Немец сразу поднял руки. А Володя, закинув трофейное оружие за спину, толкнул его в спину своим ППП.

— Пошел!

Они вышли на тропинку, по которой до перестрелки пробирались на батарею, и медленно двинулись вперед.

Володя вел пленного, а позади, посмеиваясь, вышагивал старшина Ханьков. Навстречу все чаще попадались наши солдаты. Видя такую забавную картину, и они понимающе улыбались. Володя не видел себя со стороны. Наверное, поэтому оставался серьезным. «Действительно, что тут смешного? — думал он. — Ничего смешного не вижу. Да и немцу уже не до смеха, отвоевался, холера ему в бок!».

5

Раннее солнце выкрасило деревню в необычные цвета. Мельница, стоящая особняком, дымилась в фиолетовом пламени. Дома — в розовом. По окнам гуляли красные сполохи рассвета. Из приусадебных участков выглядывали желтоголовые подсолнухи, смотрели в сторону взгорья, где загаились в кустарнике Коля и Гриша.

Убедившись, что кругом спокойно, они припрятали в шиповнике оружие и спустились в Гиляево — на манящий аромат налитых яблок.

— Слазим? — шепнул Гриша.

— Поймают.

— Брось чепуху молоты! Спят еще, как сурки.

Коля сглотнул слюну. Неожиданно он поймал себя на том, что ему очень хочется спелого яблочка, даже не столько яблочка, сколько того, теперь уже позабытого, чувства азарта, с каким лезешь в чужой сад: в поджилках дрожь, в сердце лихость.

— Так что, лезем? — вкрадчиво спросил Гриша.

— На обратном пути, — нерешительно ответил Коля.

— На обратном пути поздно будет. Проснутся...

— Черт с тобой! Только давай по-быстрому!

Ребята перебрались через плетень и тишком двинулись к раскидистой яблоне. И ведьать не ведали они, что Сам Владелец Сада не кто-нибудь, а местный староста Степан Шкворень, хватистый, мощный мужик, наделенный редкой смекалкой и изворотливостью ума.

Сам Владелец Сада, заметив их из-за прикрытых ставень, дал себе зарок: не трогать озорников за одно-два яблока, но жестоко наказать, если позарятся на большее. Лакомиться, считал он, никому не зазорно, а воровать...

— Бежим! — пронзительно выкрикнул Коля, когда Степан Шкворень выскочил на крыльцо с увесистым поленом в руке.

Взмах, и деревянная кувалда, мелькнув в воздухе, обрушилась на Гришу. Он, рванувшийся было к плетню, резко остановился. Нерешительно, точно примеряясь к боли, шагнул вперед, потерял равновесие, ухватился за низко нависшую ветвь и бочком завалился на землю.

Коля бросился к нему. Но, не успев взвалить друга на спину, почувствовал, что ворот его рубашки попал в капкан жестких пальцев.

Разодранная рубашка оголила его тело, и Коля внезапно осознал, что Владелец Сада, остывая от вспышки, вглядывается в его плечо, натертое ремнем автомата.

— Ага! Да ты не простая певчая птичка, — догадался Степан.

Он провел мосластым пальцем по Колиному плечу, вдоль проступающей сквозь слой загара свежей натертости с характерными пупырышками по краям. — Из лесу, вестимо?

— Отец, слышишь, рубит, а я отвожу, — некрасовская строчка вырвалась у Кольки машинально, словно он держал экзамен по русской литературе за четвертый класс.

— Как бы тебя самого не пришлось отвезти в комендатуру. Знаешь такое немецкое слово — «файр»?

— Огонь.

— Один раз скажут — «файр», один раз стрельнут, и ваших нет. А ну, пойдем, чурило, хватит тут чухаться!

6

Мы где-то там, у линии победы.
Но где она — узнать не суждено.
Для нас последним будет это лето,
Зачеркнутое вековечным сном.

Воскликнет «Файр!» шарфюрер из гестапо.
Конвойный взвод прикроет левый глаз.
И смерть начнет за сердце лапять,
Свинцовым пальцем тыкать в нас.

И мы умрем... В небытие могилы
Не брать Берлина нам, не строить города.
А в памяти людей — какими были,
Такими оставаться навсегда.

— Коль! Чего ты колдуешь?

Гриша ворохнулся на соломенной подстилке и неловко приподнял голову. Невидящими глазами он смотрел на товарища, царапающего что-то гвоздем на стене.

Видя, что Гриша вышел из шокового состояния, Коля бросился к нему, не дописав до конца свое поэтическое завещание. Но когда оказался рядом, понял, тот опять впал в беспамятство.

Лязгнул замок. Амбарная дверь заскрипела. В метровую щель ступил местный полицейский в выцветшем пиджаке, с повязкой на рукаве, с карабином на плече, по прозвищу Андрюха Коренник.

— Эй, ты, байстрюк! — окликнул он Колю.

— Чего тебе?

— Собирайся. Допрос сымать будем.

Гриша беспокойно заворочался.

— Ты куда?

— На Кудыкину гору, — ответил Коля и скосил глаза на полицейского, удивленный тем, что тот подошел к исписанной буквами стене и шевелил губами, вода пальцем по строкам.

— Грамотный! — уважительно сказал Андрюха Коренник. — Наш старшой дуже грамотных любит... Пойдем!

Коля упрямо сопротивлялся властным толчкам в спину. Но сопротивлялся не-

долго, просто из чувства противоречия. Стоило выйти из амбара на воздух, под косые лучи заходящего солнца, как он зашагал свободно и споро, стараясь не думать о конвоире.

Полицейский шел метрах в трех позади него. Карабин держал наперевес, как и полагается, когда препровождаешь преступника из тюрьмы к следователю. Но о преступнике думал меньше всего. Куда больше его заботило, достаточно ли эффективно выглядит он в глазах односельчан, знающих его как Андрюху Коренника, бабника и любителя выпить, но никак не сурового стража нового порядка. С попадающими навстречу односельчанами он раскланивался, с некоторыми коротко перебрасывался репликами о видах на урожай. И непременно, если уж заговорил о чем-нибудь, закруглял разговор важной фразой: «Вот препровождаю! Личность, доложу вам, темная, дюже подозрительная».

На противоположной стороне улицы Андрюха Коренник заприметил Никиту Красноштанова, своего довоенного приятеля, часто навещающегося в деревню, и — что было ему невдомек — партизанского связника.

— Привет, Андрюха! — сказал Никита, равнодушно окинув взглядом опешившего от неожиданности Колю.

— Наше вам с кисточкой! Опять пожаловал?

— Работенку по печной части, сказывали мне, здесь надыбать можно.

Полицейский почесал в затылке.

— Годи чуток, не припомню, кто мне давеча жаловался на печь. Дымит, адская головешка! Ах, да! Евграфовна! Та самая, чью печь мы клали с тобой, Никитка, в году... Дай бог памяти...

— В сороковом, когда забривали на финскую войну.

— Точно! Ну и память у тебя, будто из дуба вырезанная. Крепкая! А у меня, как стал зашибать, — щелкнул себя по кадыку, — отшибает ее начисто.

— Не пей.

— Как не пить, если пить хочется?

— Превозмоги.

— Спасибо за совет. Я — да, преодолеваю. Вот веду и преодолеваю, как видишь сам трезвыми своими глазами. А куда веду, там не преодолевают. Там уже дым коромыслом.

— Куда ведешь?

— На охоту!

— А ружье его где?

— Не видишь? Сзади несу! — Андрюха потряс карабином и довольный удачной шуткой расхохотался.

— А в чем охотника этого виноваты?

— Так он тебе с ходу и признается...

— Нам с Гришей не в чем признаваться! — возмутился Коля.

— А кто лез к старшему в сад?

— Подумаешь, сунулись за яблоками. Голодные были — вот и сунулись! — сказал Коля, дав понять Никите, что замели их случайно, без всякой связи с выполнением боевого задания.

Партизанский связник как ни в чем не бывало перевел взгляд с Коли на полицейского.

— Андрюха, закурить у тебя найдется?

— Есть табачок! Нам выдают под расписку. А ты какую марку смолишь — нашу али германскую?

— КЧД.

— Что?

— Кто Что Даст.

— Ага, такая марка как раз у меня водится, — радостно отметил конвоир, протягивая приятелю тугую, только-только початую пачку.

— Благодарствую, — Никита пыхнул зажигалкой, закурил, молча пососал сигарету и, сбивая пепел, сказал старому приятелю: — Ну, бывай! Я к Евграфовне. Надыбаю работенку — позову.

Припадая на раненую ногу, Никита пошел по улице дальше, пошел степенно, ничем не выказывая волнения, словно встреча с Колей ничуть его не поразила.

Через сени Колю ввели в горницу, и он в недоумении остановился на пороге. Он шел на допрос, а попал на вечеринку. За длинным, торцом к двери столом, уставленным мисками с едой и бутылками с самогоном, восседали девять мужиков.

Деревенский староста, стоя лицом к входной двери, заканчивал очередной тост:

— ...И посему выпьем по четвертой. Как говорят в народе, без четырех углов избы не бывает.

Степан Шкворень опрокинул в рот стограммовый стакан, дернул кадыком.

— Хорошо пошла! — сказал он, мощно выдохнув воздух.

— Дай бог не последняя! — откликнулся эхом сидящий сбоку от него старичок-разливальщик с курчавой бородкой и приплюснутым, точно вмятым от удара кулака носом.

Подталкиваемый конвоиром, Коля двинулся к старосте. Степан Шкворень, опираясь о стол, ожег его кошачьим огнем своих зеленых глаз.

— Ну как, чурило? В штаны не наделал, пока сюда вели?

Обостренным слухом в неразборчивом гуле над столом Коля улавливал отдельные реплики:

— Что за фрукт?

— Из партизан, небось?

— Какой партизан? Недел! Восемнадцати, поди, еще не натикало.

— Тихо вам! — рявкнул начальственный голос.

Все усталились на старосту. Он налил полный стакан самогону, зачем-то посмотрел мутную жидкость на свет и с ухмылкой протянул Коле.

— Вот вышей, чурило.

Коля отрицательно мотнул головой.

— Брезгаешь?

Коля, потупясь, рассматривал мыски своих тупорылых сапог:

— Я не пью.

— Нет таких, чтобы не пить! — ласково лучился старичок-разливальщик.

— А ну, раззявь ему пасть! — приказал староста. И сразу же, когда Андрюха Коренник запрокинул голову Коли, влил в него убойную порцию самогона. — Вот так! Хорошо пошла. А говоришь: «Не пью».

— Все пьют, — поддержал старосту старичок-разливальщик. — Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким умрет.

— Повторить! — загудел дымный махорочный воздух.

Коля, еще не придя в себя от неожиданности и не успев опьянеть, вновь мотнул головой — нет! Но Шкворень с деланным сожалением развел руками:

— Публика просит.

И процедура со стаканом повторилась. Новая порция самогона пламенно скользнула в желудок. «Гады! Что делают? Они же мне так развяжут язык, проговорюсь!» — с испугом подумал парень.

— По третьей! — несло по кругу. — По третьей! Бог трицу любит! На-ли-вай!

Степан Шкворень ткнул Колю в грудь пальцем и, видя, что тот мешковато покачался, сказал собутельникам: — Хватит, язви его в маковку!

И тут в Коле взбунтовалось чувство протеста.

— Нет, не хватит! — заплетающимся языком ввязался он в спор, невзначай

избрав самый правильный в сложившихся обстоятельствах план дальнейшего поведения. «У пьяного вусмерть ничего не выпытаешь!» — мелькнуло в мозгу и погасло. Он схватил со стола бутылку и, булькая, присосался к горлышку.

Импровизация удалась. Одобрительно загудели голоса.

— Силен, стервец!

Под восхищенное «О-о-о!» Коля глотал самогон, вернее, делал вид, что заливается дремучим напитком. Но и этого было достаточно. Никто не подловит его на обмане. Кто уследит в густом табачном дыме?

Цирковое представление «юного вышивохи» не могло продолжаться долго. Староста отстранил Колю от бутылки, резким движением привлек к себе.

— Нам еще поговорить надо.

— Буд-дем гов-ворить, — заикаясь, пьяно ответил парень.

— С чем пожаловал к нам, чурило?

Автоматически Коля ответил в рифму:

— Чурило, чурило — отправлен на мыло! — и понял по реакции хохочущих сельчан, что попал в точку: в такой словесной галиматее его спасение.

Шкворень потряс его за грудки.

— Ты от партизан? Задание?

— Задание, задание зовет нас в мироздание.

Староста растерянно посмотрел на собутыльников.

— Чего это он? Тронулся?

— Он стихотворец! Что ни слово, то в лад и в склад, — пояснил Андрюха Коренник. — В амбаре он стену своими виршами разукрасил.

— Хорошие вирши?

— Дюже хорошие. Мол, в памяти людей нам, Лукич, какими были, такими оставаться навсегда.

— Правильными, значица?

Коля почувствовал, как пальцы старосты нервно сжали его плечо.

— Что велели тебе выведать партизаны?

— Партизаны, партизаны, не вставайте утром рано, придет серенький волчок, вас укусит за бочок, — пленник понес привычную уже околесицу, примечая, что окружающие его мужики охотно включаются в новую для них игру. До него доносилось: «Утром рано не трожь баяна», «На ногах стоит бычок — молодой паровичок». Незаметно умственное напряжение повернуло их от поисков рифмы, тяжелой, маятной работы, к делу легкому, приятному — к песне. И они запели, мягко и вкрадчиво, словно предались сладкой истоме:

Жизнь моя вылита,
Жизнь моя выпита.
Жить не дали, и вот тебе — старость.
Ничего не закончено.
На душе червоточина.
За Отчизну обидно —
Дуракам под управу досталась.

Мужики тянули давнюю, знакомую сызмальства мелодию. Высокий голос жаловался с надрывом: «Ох, ты, судьба моя, судьбина!» Баритон вторил: «Пожалей родного сына!..»

Но общий, колышавшийся в комнате гул давил прочие звуки, как порожистой рекой низвергался хором:

Горько, нудно, печально.
И причинно обидно.
Темень, темень кругом.
Ничего нам не видно.

Ступишь влево ногой,
Ступишь вправо.
Все одно —
Нищета и управа!

Староста все еще держал Колю за плечи, дышал ему в лицо жарким перегаром, но голова его скособочилась — правое, поросшее курчавым белесым волосом ухо, задралось вверх, ловя мелодию. Со стороны казалось, что песня, точно животворная влага, вливаясь в это диковатое ухо, преобразует скуластую с бродячими желваками физиономию, сглаживает в ней острые углы.

Степан не утерпел, оттолкнул паренька и, не глядя ни на кого, запел, оседая на скрипящую под его телом табуретку, запел, умиротворенно закрывая глаза.

Жизни больше не видно.
Подбирается старость.
За Отчизну обидно —
Дуракам под управу досталась.

Коля пытался с пола следить за происходящим. Он чувствовал, что сон одолевает его, еще минута-другая — и он захрапит, подобно подзаборному алкашу. Сопротивляясь дремоте, мальчишка забрался под стол и незаметно для себя провалился в какой-то запредельный мир, где тарахтел автомобиль, слышался звук клаксона, повелительные выкрики на немецком языке, заискивающий говорок старичка-разливальщика: «Чего изволите, герр начальник?»

Известно, что во сне самые невероятные события происходят буднично, будто так и должно быть. Именно так, ничуть не удивляясь, Коля вдруг услышал голос своего отца Моисея Вербовского, который по-немецки расспрашивал, как проехать в Черную падь, чтобы по дороге не напороться на партизан. Старичок-разливальщик, в прошлом, на Первой мировой, должно быть, побывавший в плену у немцев, охотно делился с ним своими познаниями: «Яволь, герр начальник! На прямой дороге — нихт шиссен! Езжай там — шнель, шнель! Влево не моги, там лес и капут!»

— Гут! — вновь послышался голос отца.

Дальше Коля ничего не помнил. Очнулся он за полночь. На испачканной огуречным рассолом и квашеной капустой скатерти коптили керосиновые лампы. Они отбрасывали мохнатые тени на стены, на лобастую, недавно выбеленную печь, на черные окна с вкраплениями звезд и плавающей в центре жирной луной.

Веселье пребывало на спаде.

Кое-где за столом еще чокались, правда, нехотя, устало.

Кое-где раздавалось спросонья слезливое бормотание.

Но старичок-разливальщик еще держался на ногах. Теперь, когда староста спал, уронив голову на руки, он верховодил в компании. По всему видать, ему полюбилась игра в рифмы, и он упражнялся в словотворчестве с Андрюхой Коренником.

Старичок-разливальщик подбрасывал слово, которое натужно неповоротливый умом рифмовал Андрюха Коренник.

— Пень.

— Пень? Здесь у меня закавыки не будет. Лень — день — плетень.

— Молодцом, Андрюха! А вот тебе для недосыпу другое словечко.

— Ну?

— Гад!

— Какой недосып, Нилыч? Мат и ад!

— Мармелад, — добавил Коля, вылезая из-под стола.

— А, откемарил уже? — повернулся на голос Андрюха. Он поднялся с табурет-

ки и нетвердой походкой направился к пареньку. Ухватил его за руку, поднатужился, поднимая с пола. — Пойдем назад. Допрос потом снимать будем. Некому, вишь, все перепились.

— Все, как есть! Пить — не жить, с питьем всегда перебор получается, — подтвердил старичок-разливальщик.

— Чего же пьете вусмерть?

— Поминки по Гавриле, братухе нашего старосты, справляем. Ровный червонец годков, как перекинулся, — поспешно встрял Андрюха Коренник.

— Большой был?

— Какой большой? Подковы гнул!

— По старости?

— По старости не перекидываются, — обиженно процедил старичок-разливальщик. — По старости преставляются. А Гаврила именно — слово в слово! — взял и перекинулся. Расстреляли его у плетня, вот он и перекинулся на ту сторону. За что расстреляли? Раскулачивали тут ваши наших, а Гаврила не хотел раскулачиваться. Вот и пальнули в него из винтаря.

— То-то ваш староста Гришу стукнул!

— Он и тебя стукнет!

— А при чем здесь мы? «Ваши — наши...» Мы сами по себе. Нам политика по боку, мы кушать хотим. У вас яблоки, у нас зубы.

— Вот когда положишь их на полку, познаешь — что к чему, — ввернул-таки свое слово Андрюха и потащил Колю за дверь.

Он хотел побыстрее сбегать паренька: скинешь эту обузу с плеч долой, и гуляй — сколь можется.

Полицейский выволок Колю в сени, затем на улицу и повел его, пошатываясь и поправляя ремень карабина, к сараю.

Ночная прохлада подействовала на Колю освежающе. В наступившей тишине он отчетливо услышал негромкое покашливание. Из-за угла амбара показалась длинная тень.

— Эй! Кто ты там есть? — неуверенно выкрикнул Андрюха Коренник, стаскивая карабин с плеча. — Стой на месте! А то шарахну по маковке... Ах, да это Никитка! — с облегчением вздохнул полицейский. — Фу ты, господи, напугал ведь...

— Тебя напугаешь, здрасте! — смешком отозвался старый приятель.

Спустя несколько минут они уже стояли у амбарной двери. Конвоир прислонил винтовку к стене, отыскивая в карманах ключ от замка. Вытащил, посмотрел на свет, будто что-то таинственное углядел в нем при лунном освещении и задумчиво повернулся к напарнику.

— На, держи, — протянул, пошатываясь, ключ Никите.

— Чего так? Занедужил?

— Не попаду в дырку.

— А у меня глаз-алмаз! Попаду не глядя. — Замок скрипнул отскочившей дужкой, дверь распахнулась. — Входи, Андрюха, будем вертеть кино.

Тут он перекинул оставленный без присмотра карабин Коле, внезапно протрезвевшему и резко отскочившему в сторону, и невозмутимо, словно припасенный на опохмелку шкалик, вытащил из-за пазухи армейский «вальтер».

— Ты чего? Рехнулся? — полицейский с изумлением взирал на ствол пистолета.

— Ну-кась, Андрюха! Руки за спину! Вязать будем. Пикнешь — уьем. Уразумел? — приказал Никита.

Припасенной заранее бечевой он ловко связал полицая и пихнул старого приятеля коленом в амбар на солому.

— За что ты меня? — заскулил тот, лежа на боку и тараща глаза на Никиту.

— За предательство...

— Пристукнуть его надо, наговорит после... — подсказал Коля.

— Обойдется, — хмуро пробурчал Никита..

Он прошел к Грише. Взял его на руки и пошел на выход. Коле сказал:

— Кляп смастери. И в глотку Андриюхе, чтобы тишком сидел и не вякал.

Коля оторвал лоскут от нательной рубахи и наскоро запихал его в рот глухо мычавшему полицейскому. Но тот, орудуя языком, выплюнул его и просительно воззвал к недавнему пленнику:

— Оружие оставьте. А то шлепнут меня.

— Оставить? — обернулся Коля к Никите.

— Оставь! Коли его шлепнут, то и тебе полный разор! Разорвут наши бабы на части. Ходок — каких поискать! Племенной бык высшего качества! — усмехнулся Никита.

Они вышли из амбара, огляделись. Деревня мало-помалу просыпалась. Где-то хлопали створки окон, поскрипывала калитка. Порывы ветра доносили пронзительные петушинные крики.

— Ну, вот дождались, — сказал Никита и, покопавшись в боковом кармане пиджака, вытащил пачку бумаг, перетянутых тесемочкой. — Держи! Документы на сбитых летчиков!

— Ты и у Егора Сердюкова был?

— Понятно, был. Вы вовремя не возвратились. Меня кинули на розыски. Я к Спешкику, он указал ваше направление. И вот результат: я стою и кукую с вами под петушиное пение. А надо быстро ноги делать. Иначе нам их здесь же и обломают.

И они, подхватив Гришу, рванули к опушке леса.

7

Горсточка соли, добавленная старшиной Ханьковым в бензин, была оптимальной — светильник из снарядной гильзы цедил подрагивающее, но без копоти пламя. Маслянистый огонек заставлял дремотно шевелиться в углах комнаты мохнатые, напоминающие пауков тени, с трудом высвечивал нехитрое убранство глинобитного домика, который стоял на взгорье, между Днепром и деревней Золотая Балка и, вероятно, прежде принадлежал бакенщику. Черными глазами окон домик печально смотрел на воду, словно выискивал на ее колышавшейся поверхности крутобокую лодку хозяина. Но река давно уже изломала ее о прибрежные камни. И сейчас, не вспоминая о былом, глухо ворчала от порывов тугого осеннего ветра. Плескучая у правобережья, река короткими толчками гребенчатых волн выбрасывала на сушу обломки досок и шпангоутов, весла с прочно въевшимися в них уключинами и обрывки намокших веревок, которые служили для связи плотов. Река как бы очищалась от мусора, а заодно и вылизывала нанесенные ей раны.

Этой памятной ночью 1943 года ее ломало и корежило от взрывов, изрешетило вдоль и поперек снарядами и минами. Батареи обрушились на нее со всей мощью, топя шлюпки и боты, разбивая тихоходные плоты. И тогда она, всем нутром ощущая гибель десанта, поднатужилась, напрягла мышцы и выбросила его на правобережье.

Десантники захватили клочок суши, отбили две контратаки и, расширяя плацдарм, перешли в наступление, заняли несколько хат в деревне с причудливым названием Золотая балка. Следом за пехотным подразделением переправились через Днепр и артиллерийские разведчики со стереотрубой и рацией. Им предстояло следить за огневыми точками неприятеля, сосредоточением его сил и корректировать стрельбу своего артдивизиона. Они оборудовали наблюдательный пункт

на высотке, в глинобитном домике, из которого хорошо просматривалась деревня и начинающаяся за ней равнина с редкими куполами деревьев, разбросанных там и тут.

Возглавлял группу разведчиков сам командир дивизиона капитан Шабалов.

Сейчас, когда наступила передышка, он сидел у стереотрубы и, закрыв воспаленные глаза, думал о том, как справиться с предстоящей, самой что ни на есть ювелирной работой, которая ожидает его бойцов на батареях.

«Попробуй порази с левого бережья точно тот или иной дом, где затаились фашисты, и не попади в соседний — в наших. Не попросишь же немчуру выйти на открытую местность, чтобы пристреляться. Недолет недопустим, перелет тоже. Вот и думай...»

Капитан Шабалов открыл глаза, оглядел комнату, отмечая кто чем занят. При свете ночника он видел, что Миша Сажаров с кажущимся равнодушием проверяет, как ходит в ножнах финка, старшина Ханыков, по-хозяйски расположившись у хромоногого стола, ставит заплату на прорванный пулей рукав гимнастерки, Володя Гарновский, примостясь у двери на соломенном тюфячке, набивает патронами диск автомата, а радист, подрагивая от холода, крутит ручку настройки, вызывает затерянный в эфире «ландыш».

Как-то незаметно Миша Сажаров затянул хриловатым баритоном полюбившуюся еще в сорок втором году песню:

Бьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза.
И поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза...

— И то правда, неплохо бы печурку, — мечтательно протянул радист Костя Стеклов.

— Чего там «неплохо». Вполне желательно печурку, — подхватил старшина Ханыков.

Он натянул на байковую нательную рубаху гимнастерку с выцветшими за лето «молотками» на погонах. Поднялся с табуретки, туго перепоясался.

Капитан вопросительно посмотрел на него:

— Пойдешь?

— Мы мигом.

— Не придумывай себе добровольцев! Кто это — «мы»?

— Мы... Я с Володей. Я к разведчикам за печуркой. Он на КП — за питанием для рации. А то чую, сядет, зараза, и останемся мы здесь без голоса, а батарейцы без уха.

— Да-да, — быстро закивал Костя Стеклов. — Аккумуляторы того и гляди сядут. А запасных...

— Так мы идем? — напомнил о себе Володя Гарновский, стоящий уже с автоматом на груди возле старшины Ханыкова.

— Ступайте! Только, смотрите мне, в дивизионе не чаевничать!

— Есть — не чаевничать!

Скрипучая дверь захлопнулась за порученцами.

Миша Сажаров проводил взглядом «счастливчиков», которым, что бы там ни приказывал командир, обеспечена кружка заварного кипятка вприкуску с сахарком, и вновь затянул вполголоса песню. Но только дошел до слов: «Между нами снега и снега», как капитан Шабалов раздраженно прикрикнул на него:

— Отставить пение!

Комдив, впрочем, и не он один, а многие бывалые солдаты не очень-то жаловали вторую часть полюбившейся песни. Все они, как и положено на войне, были в

меру суеверны и полагали, что судьбу не стоит испытывать лишний раз. Поэтому, даже не обладая каким-либо поэтическим складом души, слали Суркову, автору стихов, предложения по переделке «опасных для озвучивания во фронтовых условиях строк».

«Опасные» звучали так:

До тебя мне дойти нелегко,
А до смерти — четыре шага.

«Безопасные» должны были звучать по-другому:

До тебя мне дойти нелегко.
Но дойду, хотя ты далека...

Под шуршание гальки Ханыков с Володей спустились по откосу к Днепру. Вода была черной, как на дне глубокого колодца.

Долго ждать оказии им не пришлось. Показались пехотинцы с резиновой лодкой, которую они волоком тянули по отмели вверх по течению, чтобы потом, когда усядутся за весла, их не слишком далеко снесло в сторону от района переправы.

— Пристроимся к ним, — шепнул Ханыков.

Небо вдруг озарилось. Взлетали осветительные ракеты, прозванные «лампадками». Их резкий, пульсирующий свет выкрасил реку в неестественные тона. И только речное «сало» — дань ранним заморозкам — не потеряло первоначального цвета.

Ханыков с Володей нагнали пехотинцев, когда они, побрякивая от залетающих за шиворот ледяных брызг, размещались в лодке.

Перегруженная людьми посудина двинулась к левобережью. Она лавировала между льдинами, хлюпала носом по волне, с превеликим трудом выгребала к намеченному ориентиру — подрубленной прямым попаданием снаряда березе.

Почти рядом с лодкой вьхнула мина. Она лопнула гулко — со звуком расколотой о стену бутылки, вырыла посреди Днепра глубокую воронку. Вперекрест ударили пулеметы — трассирующие пули прочертили пунктиром воздух и сгорели, не долетев самой малости до берега.

— Ох, кажись, заприметили! — приглушенно воскликнул кто-то из гребцов.

— Вслепую бьют! — возразил старшина Ханыков.

Володе стало неудобно. Что за прикрытие — надувные бока этого хлипкого суденышка? Чиркнет осколком, и ходи ко дну.

Следом за пулеметами залаяла скорострельная тридцатисемимиллиметровая пушка, по прозвищу «убойница». За кормой, ближе к середине Днепра, забурили водовороты. В уши пыхнуло горячим, спрессованным воздухом. Плоское днище, проседающее под тяжестью тел, заходило на мелкой волне.

Подрубленная снарядом береза проплывала мимо. Чертыхаясь, гребцы налегали на весла из всех сил, но лодку все-таки сносило с курса. Их отрывистые крики слышали телеграфисты, прокладывающие кабель.

— Эй, служивые, чью мать обговариваете? — донеслось с берега.

— Гитлеровскую!

— Тогда держите подарок.

В воздух, словно лассо, взметнулся телефонный кабель. Володя ухватисто поймал его и напрягся, подтаскивая лодку к отмели.

Через несколько минут, разделившись с Ханыковым, который направился к разведчикам за печуркой, он был уже на командном пункте дивизиона. Здесь текла своя, строго упорядоченная жизнь. Начальник штаба старший лейтенант Лобарчук возился с картой, помечая на ней обнаруженные цели. Замполит капитан

Захаров при слабом свете ночника заполнял бланк похоронки. Сержант, стоящий у стереотрубы, неторопливо покуривал козью ножку. Радист внимал эфиру, время от времени выкрикивая: «Гвоздика, ты меня слышишь?»

— Здравия желаю! — доложил Володя.

— И тебе того же, — улыбнулся Захаров. — С чем прибыл, Володя?

— Прислали за питанием для рации.

— Радист!

Но радист и без напоминаний капитана Захарова уже копошился в вещевом мешке, выволакивая оттуда запасные аккумуляторы.

— Как дела у вас там обстоят? — старший лейтенант Лобарчук махнул головой в сторону Днепра.

— Пока тихо. Немцы будто уснули.

— Знаем мы этот сон. Просто ночью они не вояки.

— Да нет, — заметил капитан Захаров. — Скорей всего им невдомек, что переправился лишь один наш батальон. Думаю, они перегруппировываются сейчас в ожидании штурма.

— Тогда мне пора! — сказал Володя.

Прихватив аккумуляторы, он покинул КП, направился к условленному со старшиной Ханьковым месту встречи. То и дело под ноги попадали бревна, пустые канистры из-под бензина, сбитые из штакетника плотики — так называемые подручные средства для переправы. Вдали слышалось характерное постукивание металла о дерево. По всей видимости, саперы там готовили к предстоящим рейсам понтоны.

Приближался рассвет. Мохнатые пласты тумана ползли у кромки воды. Свежело. Порывы ветра становились все ощутимей.

По реке густо шло «сало». С шуршанием и потрескиванием плыли льдистые глыбы, обдирая бока друг другу.

Шагая вдоль берега, Володя наконец различил в разноголосице зычный бас Ханькова. Старшина разносил кого-то:

— Чтобы вам пусто было! А ну, запрягай свою посудину!

— Мы не спешим на тот свет! Вот разгонит лед, тогда и выйдем на воду.

— Черт вас побери! — устало выругался старшина и, увидев Володю, поспешил к нему навстречу. — Погляди на них, этих героев! Чистой воды захотели! Ишь ты!

— Загорать нам здесь до утра! — обреченно вздохнул Володя.

— Подожди «загорать», — ворчливо возразил Ханьков. — Голь на выдумки хитра. Забыл? А ну, двигай ножками!

Обогнув понтоны, они приблизились к пехотинцам, ладившим разборную фанерную лодочку, тонкостенную, хлипкую, будто сотворенную из папиросной бумаги.

— Двоим нам не втиснуться, — мгновенно определил Ханьков.

— Тогда отвлекай пехтуру, — заговорщицки прошептал Володя.

Старшина понимающе кивнул, подошел к вертявой лодочке и бухнул, как в колокол.

— Прихватите меня, ребята!

— Отвали, земля. Самим тесно.

— Мне на тот берег нужно.

— Всем на тот берег нужно.

Пока Ханьков препирался с десантниками, Володя незамеченным забрался на корму, угнездившись на сиденье между двух солдат. В ногах поставил печурку, а на нее сгрузил вещмешок с аккумуляторами.

— Отчаливай!

Перегруженная лодка покинула мелководе и, шаркая бортом о куски льда,

рывками продвигалась вперед. Солдаты-попутчики, не имея весел, гребли, стоя на коленях, саперными лопатками. Вражеские пулеметчики отчего-то молчали. Скорей всего, не примечали утлое суденышко. Тишина успокаивала, думалось: проскочим без помех. Но не тут-то было!

С протяжным подвыванием пронеслась мина. Раздался взрыв, близкий, впечатляющий по мощности.

Суденышко качнулось, круто заходило на волне.

— Равновесие! Держи равновесие!

— Перевернемся!

Лодку прошило в трех местах. Вода бурлила на ее дне и фонтанчиками била с боков. При маслянистом свечении догорающей «лампадки» бойцы, стоящие на коленях и гребущие саперными лопатками и прикладами автоматов, напоминали молящихся.

— Ой, сковырнемся на дно!

— Заткнись!

— Господи, помоги!

— Гребь, салага!

Мощными гребками солдаты погнали свое суденышко к отмели, чувствуя, как оно все больше и больше оседает.

Внезапно Володе вспомнилась прочитанная еще до войны книжка об Арктике. В ней говорилось, что в воде, близкой к замерзанию, человек способен продержаться всего несколько минут. Но сколько минут, сколько? Этого Володя никак не мог вспомнить и торопливо вычерпывал каской обжигающую пальцы днепровскую воду. Черпал, черпал, позабыв о времени, и очнулся лишь, когда над ухом раздалось:

— Все! Приехали! Золотая балка.

В заиндевелой шинели Володя стоял перед командиром дивизиона и докладывал о выполнении задания:

— Аккумуляторы и печурка доставлены. Старшина Ханьков по независящим от него причинам остался на том берегу. Прибудет с попутным транспортом.

— Высушись! Обогрейся! — сказал капитан Шабалов. — И собирайся! Нам еще предстоит сегодня потопать.

Спустя час Володя шел с комдивом в расположенную неподалеку Золотую балку. Деревню заняли не полностью, в некоторых хатах скрывались гитлеровцы, так что без тщательной разведки нельзя было начинать артналет. Скрытно, незамеченные вражескими наблюдателями, они проникли на старое, с покосившимися крестами и побитыми надгробьями кладбище, которое, хотя и раскинулось на отшибе, являло из себя идеальный НП.

Вскоре начало светать... Через равные промежутки времени, в три минуты, тархтел немецкий ручник МГ, каждый раз меняя прицел. То разносил оконные стекла, то крошил надгробные камни, то срезал ветви с деревьев. Изредка пули, отрикошетив, свистели над распластанными за кладбищенской оградой разведчиков.

— Чмур какой-то! — отозвался о немецком пулеметчике капитан Шабалов после того, как отскочившая от надгробья пуля чуть не достала его. — Чего он лупит в белый свет?

— Бойтся заснуть, наверное, — поделился соображением Володя.

Капитан взглянул на часы.

— Пошли!

Но только он поднялся, как раздалась выстрелы. Немец повторно, за полторы минуты до выверенного срока, нажал на гашетку и длинной очередью ударил поперек кладбища.

— Ох, чтоб тебя! — Шабалов схватился за бок, склонился влево и, теряя равновесие, осел на примятую траву.

Володя кинулся к комдиву.

Ломая ногти, расстегивал на нем неподатливую шинель. Крючки, как назло, прочно въелись в сукно и плохо подавались мальчишеским пальцам.

В груди у Шабалова что-то клокотало и хлюпало, будто вставили ему под ребра насос да забыли проверить его исправность.

«Что делать? Что делать?»

Тащить капитана на себе? Силенок не хватит! А он по пути кровью изойдет. Оставить его здесь? И это никуда не годится!

Надрывное бормотание Шабалова вывело Володю из растерянности. Он различил почти неразборчивые слова: «Сажаров, отставить пение! А до смерти четыре шага, чтобы она сдохла!» Разорвав зубами индивидуальный пакет, Володя перевязал раненого, оттащил его за часовенку, прикрыл ветками. Что дальше? Взвел автомат, готовясь к бою, но фашисты не показывались. Очевидно, пулеметная очередь была случайной, не прицельной. Следовательно, их не приметили. Значит? Дальше медлить было нельзя. Прихватив командирскую планшетку с помеченными на карте домиками, где затаились фашисты, Володя рванул на взгорье, к своим.

Не помня себя, запыхавшийся и мокрый от пота, он ворвался в глинобитный домик.

— Капитан! Там капитан! Быстрее! Он ранен! — выпалил скороговоркой и повлек за собой разведчиков.

Когда спасатели вернулись с раненым комдивом, их уже дожидался вызванный по радиации санитарный самолет, который и доставил Шабалова в медсанбат...

Несколько дней спустя артиллеристы читали в газете «Красная звезда» указ о награждении бойца их полка Владимира Тарновского орденом Славы третьей степени. За спасение командира дивизиона капитана Шабалова и форсирование Днепра.

Указ как указ, может, ничем особенным и не обращающий на себя внимания, если не знать, что новоиспеченный орденосец еще совсем мальчишка — Володя Тарновский — самый молодой в Советском Союзе кавалер ордена Славы.

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

1

...И он упал на оплавленный песок, пахнущий порохом. И долго лежал, недвижимый, уронив голову на обессиленные руки. И море, тихо роптавшее в десяти шагах от него, было недосыгаемым. Он не мог, как ни жаждал того, подняться на ноги и подойти к кромке берега. Он не мог, как ни стремился, даже увидеть его. Он был недвижим и слеп. Он — был... был когда-то, а в настоящем, будто и не был. Настоящее? К нему не привыкнешь. Оно настолько дико после прошлого, что верить в него просто невозможно. Настоящее...

В настоящем Вася позволял себе наслаждаться настоящим одеялом, позволял себе подкладывать под голову настоящую подушку. И не надо было спрыгивать с третьего яруса нар под крики «Апельль!». Так он ощущал себя в этом настоящем, похожем на чудо! Но чуда никакого не было. Была кровать, простыни. Была чисто прибранная комната. И хозяйка Инна Даниловна. А еще? Еще побег из лагеря.

Побег... Стоит о нем подумать, как вновь и вновь прокручивается вся череда событий, кадр за кадром...

...Когда дверь позади него глухо стукнула о косяк, когда перестук деревянных колодок заключенных и подкованных ээсовских сапог затих в глубине коридора, когда сирена воздушной тревоги оборвалась на самой низкой ноте и в отдалении послышались разрывы авиабомб, он понял — пора!

Вася выполз из-под операционного стола, куда незаметно для подавшихся панике немецких фельдшеров спрятался при завывании sireны, осмотрелся, открыл дверь и скользнул в соседнюю комнату.

Его глаза довольно быстро привыкли к полутьме. Различив у противоположной стены выбеленный шкаф холодильника, он невольно усмехнулся — не зря же прежде перед Володей, Колькой и прочими казаками и разбойниками он гордился своим «кошачьим» зрением.

Приближалась минута, ради которой он жил все последние недели, ради которой он с помощью Марии Евгеньевны и связанных с ней подпольщиков, из писарей в административном здании попал в донорскую группу.

План его был не по-детски продуман и строился на растерянности медперсонала, вызванной внезапной воздушной тревогой, на панической трусливости и боязни смерти старшего фельдшера по кличке «Доннер веттер». По инструкции «Доннер веттер» должен был уходить из амбулатории последним, предварительно закрыв на замок комнаты и холодильник, в котором хранились не отправленные в госпитали ампулы с взятой у детей кровью. Но стоило завывать сирене, как старший фельдшер, забывая о своих обязанностях, мчался в бомбоубежище одним из первых.

Вот и сейчас фашист сбежал, ничего не заперев, и предоставил Васе полную свободу действий. Мальчик открыл дверь холодильника, вытащил стеклянную пробирку, запечатанную пробкой.

«Может быть, это моя кровь», — подумалось ему.

Размахнувшись, он разбил пробирку о кафельную стену. Темное пятно с кустистыми потеками внизу расплылось на камне. Следом за ним второе, третье...

Пробирки лопались с каким-то противным скрежещущим звуком. Ампулы — с треском вспыхнувшей спички. А прочно запааянные колбы и банки взрывались, словно были начинены не кровью, а динамитом. Впрочем, и впрямь эта кровь отныне могла называться динамитом, в переносном, конечно, смысле. Уничтожение ее, как говорила Мария Евгеньевна, равнозначно выводу из строя целого батальона немецких солдат. А вывести из строя, снять одним махом с фронта целый батальон фашистов — разве это не такое дело, ради которого стоит жить?

«Жить!» — пронеслось в Васиной голове.

Он выскользнул в смежную комнату, превращенную в морг. Здесь в мешках с прикрепленными к ним бирками лежали умершие от потери крови дети. Один из мешков, специально приготовленный для Васи, был пуст. В него он и забрался, зная, что вскоре после выкачки крови за покойниками приезжает грузовик, который и отвозит их на кладбище. Знал он и то, что водитель из вольнонаемных, зовут его Олег Иванович, он муж Инны Даниловны, а она — подпольщица, поддерживающая связь с партизанским отрядом.

Вася знал достаточно много, чтобы жить. А жить он хотел...

2

И снова городской рынок, снова родная для Коли стихия. Снова бурлящая в часы пик толпа покупателей и продавцов, затиснутая в сапоги и бриджи, в полушалки, плащи, потертые пиджаки. Снова густой и неумолчный гул, напоминающий море в пору прибоя, с плывущей над ним звонкой разноголосицей.

— Платье бежевое, в цветах! Довоенное шитье! Почти новое!

— Лампа керосиновая! Кому лампа? Бери — не пожалеешь!

— Вакса! Черная вакса!

— Игральные карты! Только для мужчин! Дамики, валеты — в чем мать родила! Картинки — личного изготовления, пальчики оближешь!

В этот нестройный хор вводил свой голос и Коля, держа на груди лоток с махрой. Но в отличие от давнего прошлого он не стремился перекричать конкурентов. Табак, которым торговал ныне, не представлял для него никакой реальной ценности — не то, что раньше, в Славянске. Теперь, говоря словами начальника разведки Сени Баскина, он служил ему «элементарным прикрытием».

— Бери махорку, не прекослова, губи за деньги свое здоровье! — напевал Коля собственное сочинение, выискивая взглядом Инну Даниловну, связную местного подполья, но среди множества лиц углядел лишь выцветшую кепчонку Гриши Кобрина.

Инну Даниловну, которой предстояло передать ему схему расположения административных зданий концлагеря, подлежащего эвакуации, он знал в лицо. Она считалась постоянным покупателем, заботящимся о пополнении «табачного довольствия» своего мужа Олега Ивановича — очень занятого водителя.

Ловко лавируя в толпе, Коля пробирался к условленному месту встречи — фонарному столбу, и время от времени выводил озорной стишок, служащий заодно паролем и знаком того, что филеров поблизости не обнаружено.

— Бери махорку, не прекослова, губи за деньги свое здоровье...

Возле самого фонаря, когда Коля собирался поставить лоток на специально приспособленную треногу, откуда-то сбоку вынырнул косматый мужичок, похожий на попа-расстригу, и просительно затянул:

— Отсыпь малость...

— По воскресеньям не подаем, — недовольно отрезал паренек, понимая, что у попрошайки нет денег.

— Не жадничай, дай!

— Дай поехал в Китай!

Косматого мужичка оттиснул плечом продавец карт.

— А ну, рвань дремучая! Не порть торговлю! — и повел во весь голос, привлекая внимание: — Картинки личного изготовления, пальчики оближешь!

К лотку с махрой подошел новый покупатель, на сей раз обстоятельный, серьезный. Не спеша покрошил табак в пальцах, принялся. Даже на зуб попробовал и о чем-то призадумался. Скорее всего, о том, как сбить цену.

— Махорочка так себе. Нет в ней крепости. Выдохнулась вся крепость.

На такие замечания у Коли имелся уже заготовленный ответ, и тоже рифмованный.

— Махра — что надо! Покрепче яда! Кури на славу свою отраву!

Как он убедился, отлаженная рифма воздействовала на неповоротливые мозги городского населения очень убедительно, лучше любой рекламы. И в случае с привередливым покупателем не подвела.

— Отсыпь фунт! И одну закрутку — бесплатно!

— Будет тебе закрутка, — согласился Коля и самолично свернул мужику «носогрейку». — На, дядя! Кури, не глядя. Моя сигарка — взамен подарка.

Пересчитывая денежки, коротко зыркал по сторонам, но так и не увидел Инну Даниловну, хотя по времени ей уже надлежало быть.

Выискивая ее глазами, Коля и не подозревал, что и сам находится под наблюдением. Причем, под наблюдением человека, встретить которого здесь меньше всего ожидал. Как, впрочем, и тот его. Под наблюдением Васи Гуржия — Рыжика, присланного подпольщиками взамен заболевшей Инны Даниловны.

Вася Гуржий стоял за киоском, на незначительном отдалении от Коли. Он ни-

как не мог поверить глазам: как это может подобное быть? Их с Колей разметало войной на сотни километров. И — на тебе! Нежданная встреча на базарном пятачке! Подойти? Назвать пароль? Но ведь непонятно, какая будет реакция.

— Бери махорку, не прикослова, губи за деньги свое здоровье! — нетерпеливо выводил свои позывные партизанский связник, искоса поглядывая на вышедшего из-за киоска подростка в стеганке и в потрепанной, глубокой до бровей шляпе.

«Краше в гроб кладут!» — подумал.

«Не узнает? — подумал и Вася Гуржий. — Нет, не узнает... Кожа да кости — супной набор!»

Неподалеку от него вынырнул из толчеи Гриша, равнодушно прошел мимо лотка с «самым лучшим в мире табаком», остановился у продавца карт. Поторговался с ним, примеряясь к размалеванным «картинкам личного изготовления, пальчики оближешь!» Ответил на вопросительный взгляд Коли легким пожатием плеч, что означало: Инны Даниловны нигде не видно. Подожди еще минут пять. Может, кто-то другой подойдет. И сворачивая торговлю. Вслух же, обращаясь к продавцу карт, сказал:

— Не загибай в цене, мужик.

— Одни рисунки чего стоят! — недовольно проворчал тот.

— Вот и сдавай их на выставку. А мне в очко играть, не на баб глазеть надобно.

Гриша небрежно махнул рукой и пошел подметать клешами мостовую. А Коля повернулся лицом к угрюмому мальчишке в глубокой, до бровей шляпе, готовый перехватить его руку в случае, если тот рискнет свистнуть кулечек с махрой.

— Я не пустой, с деньгами! — поспешно сказал подросток.

— Покаж!

Вася покопался в кармане, вынул оккупационные марки.

— Вот, — и тихо прошептал, — меня Олег Иванович прислал, за куревом фирмы КЧД и сыновья.

— Что? — опешил Коля, услышав пароль.

— Курево фирмы КЧД и сыновья, — повторил Вася и едва слышно, со спазмами в горле, добавил: — Коля, не узнаешь?

3

Однообразный ландшафт картофельных полей, нарезанных отдельными участками с разграничивающими их канавками, сменило редколесье. Артдивизион по вырубленной некогда широкой просеке с мшистыми пеньками медленно продвигался вперед. По приказу ему с приданным батальоном пехоты надлежало поддержать атаку партизан, готовящихся к штурму концлагеря. Но до условного места встречи еще топать и топать.

Наплывала ночь. Полумгла размывала очертанья деревьев, теряющих последнюю листву. В разрывах низко нависших туч искрились одинокие звездочки. Их слабый свет не позволял ориентироваться на местности с достаточной точностью. Впрочем, дорога не обманет, выведет к населенному пункту, а там и до рассредоточения партизан рукой подать.

По колонне прошелестело:

— Разведчиков к комдиву!

Мимо Володи, сонно клевавшего носом рядом с капитаном Захаровым в повозке, проскочил старшина Ханыков. Мальчик проводил его глазами, широко зевнул и утомленно склонил голову на грудь. Сон сморил его моментально. Он не слышал, как вернулись с задания разведчики, доложившие о том, что деревня обезлюдела: жители ее покинули, да и немцев нет на постое. Проснулся он от могучего храпа и обнаружил себя в незнакомой комнате, под одеялом, без сапог и гимна-

стерки, в кальсонах и белой рубашке. Спустился на пол, глянул в окно — рассветало.

— Ты куда?

— На двор, — ответил капитану Захарову, который тут же опять захрапел.

Новый день приветствовал Володю легким ветерком, свежим воздухом и перебивающейся в красках изморозью на траве. За околицей сверкала красно-голубой полоской речка.

Часовые мерно похаживали у орудий. Одни мучительно боролись с зевотой, другие, имеющие уже опыт, дремали на ходу.

— Стой!

Володя присмотрелся, кто его окликнул?

— Миша? Привет! — сказал он Сажарову.

— Куда собрался?

— На речку, — буркнул Володя.

Он двинулся вдоль пушек, выбрался за околицу, вышел к воде. Здесь и пристроился — у кустов — невидимый, как ему представлялось, для всего остального мира.

Из крайней избы, стоящей у отлогого спуска к речке, вышел заспанный мужчина в исподнем: всклокоченная шевелюра, помятое лицо.

— Эй! — поманил мальчика согнутым пальцем и указал почему-то на ведро, которое держал в руке.

«Чего он хочет?» — не понял Володя.

— Эй! — мужчина постучал пальцем по дну ведра.

«А, — догадался Володя, — хочет, чтобы я сбежал для него за водой. Хотеть не вредно!»

И, пародируя чужака, согнул палец, словно вот-вот опустит его на спусковой крючок, и с костяным звуком постучал по лбу.

Незнакомец, вместо того, чтобы рассмеяться, закричал на него:

— Швайне!

Кто «швайне»? Он, Володя, швайне!

«Еще одно слово, и я покажу этой «пехтуре», кто тут на самом деле свинья».

Но кому показать и что показать? «Пехтура», — выясняется, — если и «пехтура», то немецкая!

— Ком! Ком! Русиш киндер! — кричал гитлеровец, помахивая пустым ведром. — Ком! Ком!

«Вот, гад, и не догадывается, что деревня занята нашими. Как же так получилось? Мы их проморгали? Они нас? И мы — люди, и они — люди, спали как убитые».

Володя переменял свою тактику. Как обычный деревенский хлопец он вроде бы нерешительно подошел к немцу, словно в ожидании удара, взял ведро и, повинаясь его нетерпеливому жесту, побежал к речке. Минуту спустя быстрым семенившим шагом вернулся назад. Поставил полное до краев ведро на приступочку, получил от немца завернутую в фольгу шоколадку, сказал: «Данке шен» и отвалил небрежной походкой местного жителя, которому некуда спешить. Но только обогнул избу, как припустил во всю прыть.

Когда он растормошил капитана Захарова, тот в первый момент спросонок ничего не понял. Но стоило произнести: «Фрицы!», как магическое слово мгновенно привело его в чувство.

— Где?

— У речки, в крайнем доме.

— Много их?

— Не приметил. Видел одного. Думаю, в хате еще несколько. Что будем делать, товарищ капитан?

— Ханыкова ко мне!

И вскоре группа разведчиков, крадучись, подбиралась к одинокой, стоящей на взлобке избе.

Старшина Ханыков обогнул плетень и пошел впритирку к стене дома, держа наизготовку заточенную, как бритва, финку.

Горловой всхлип часового, и вновь безмятежная утренняя тишина.

«Чисто сработал!» — подумал Володя и вместе со всеми бросился к дому. Метнул в раскрытое окно гранату. Внутри глухо ухнуло, пыхнуло жаром. Битое стекло осыпало его осколками. «Порезы долго не заживают», — пронеслось в голове, но не обращая внимания на царапины, он открыл огонь из автомата, не давая гитлеровцам выскочить наружу.

Опустошив диск, искал глазами: у кого бы разжиться патронами. Ну, конечно, у Ханыкова — запасливый дядька. Броском преодолел разделяющее их незначительное расстояние, махнул к нему за валун.

— Ханыков, подбрось «маслят»?

— Что с тобой? — встревожился старшина, разглядев кровь на лице Володи. — Ранен?

— Порезался!

— Иди умойся!

— Мне патронов бы...

— Иди, умойся, говорю! А то схватишь еще заражение крови, возись с тобой потом, — заворчал старый солдат.

Спустившись к речке, Володя наскоро сполоснулся водой, утерся гимнастеркой, затянул пояс с отвисшей под тяжестью «вальтера» кожаной кобурой. Кольки пистоль сейчас, когда израсходовал все патроны для ППП, оказался очень кстати. Володя сноровисто проверил оружие: выщелкнул обойму, вогнал ее снова в рукоятку и отдернул затвор.

— Нихт шиссен! — вдруг послышалось из кустов, где совсем недавно Володя «загорал» по нужде.

— Хенде хох! — машинально откликнулся он, видя, как, припадая на раненую ногу и кривясь от боли, к нему осторожно приближается гитлеровец — тот самый, старый знакомец, который гонял его за водой. В руках его был бесполезный, судя по всему, автомат — без рожка. Но вдруг вместо того, чтобы расстаться с оружием, немец внезапно направил его на Володю.

«Последняя пуля в стволе!» — осознал Володя, с опозданием реагируя на неожиданную уловку немца.

— Берегись! — крикнул сверху Ханыков.

Пуля, посланная им, перебила фашисту руку. А вторая, Володина, попала коварному врагу в голову.

4

В поросшем можжевельником распадке, на дороге, по которой некогда эсэсовцы гнали ребятишек в концлагерь, партизаны готовились к осуществлению операции.

Именно здесь он нес на руках хнычущую Клаву и с тягостным ощущением безысходности взирал на мертвый, лишенный даже птичьего щебета лес, и здесь же он, Вася Гуржий, начнет свой бой с фашистами.

Вася лежал на траве, запрокинув голову, смотрел в ночное небо, на яркую луну. Раньше, когда она поливала барак обморочным светом и придавала лицам узников, и без того обескровленным, безжизненное выражение, ему часто было не по себе. Он боялся в ту пору ее невыносимого света. Теперь страха перед нею не было. Страх нет, но в сердце какая-то дрожь, неясная, непонятная — жгучая...

Лежащие рядом партизаны переговаривались.

— Улизнуть хотят!

— Куда им с детишками малыми? Фронт прорван.

— Вот и могут на месте детишек порешить. И следы — в воду! Фашисты!

«Фронт прорван! Фронт прорван!» — повторял Коля, непроизвольно поглаживая холодный папин наган, найденный минувшей зимой на маслозаводе.

Настроение у него было подавленным. Он никак не мог смириться с мыслью, что Клавка, его взбалмошная сестренка Клавка, пропала. Исчезла, как на тот свет провалилась. Что он скажет Анне Петровне? Что он скажет своему дяде Борису Симоновичу, когда вернется в Славянск?

Известие, которое принес ему Вася Гуржий, ничего не прояснило в судьбе девочки. «Красный крест», — говорил Вася, — отбирал в лагере совсем маленьких детей, которых отправили для усыновления и удочерения куда-то за границу. А еще он говорил, что отбираемых детей сверяли с какими-то фотокарточками, определяли, похожи ли они на кого-то.

На кого? На разыскиваемых родственников?

Может, и так. Война многих разбросала. По странам, землям...

Глядишь, кто-то и отыщется. А если и не отыщется, то все в нынешней неразберихе легко представить таким образом, что отыскался. Привезти подставного ребенка, похожего по фотографии на кого-то, и сказать: «Вот принимайте, ваш внук, ваш племянник!». И примут — куда деваться? Ведь люди живут надеждой. Живут ожиданием чуда. Кто же откажется от чуда, если оно свершилось? Вера в чудо живет всегда...

Клавка-Клавочка! Где ты теперь?

На разлапистой сосне, в седловине ее могучих ветвей, устроился Гриша Кобрин, держа на коленях винтовку с оптическим прицелом. Он вслушивался в ночную тишину, стремясь выловить долгожданное тарахтенье моторов. Но различал лишь привычные для давнего обитателя этих мест звуки: тьяканье лисицы, клочущие всхлипы совы.

Ветерок трепал верхушки деревьев, шевелил Гришин чуб, выбивающийся из-под трофейной немецкой пилотки. Из-за этого парень досадливо морщился и думал о том, что ветер совсем некстати — для снайперской охоты он лютей враг. А работа предстоит ответственная: выбивать шоферов, чтобы остановить автотранспорт, не дать медперсоналу концлагеря вывезти за пределы партизанского края запасы крови для немецкой армии и детей, из которых «доили» эту кровь... Нет, фашисты далеко не уйдут. Всех переловят!..

Где-то неподалеку ухнула сова. Впрочем... Это условный звук. Отрывистый, словно случайный, звук клаксона. Не иначе Олег Иванович подает сигнал. Да, вот человек! Идет, можно сказать, на верную смерть — шофер! Правда, шофер автофургона-ambulатории, той машины, которую нужно захватить, никого не поранив. Но кто знает, кто знает — на войне, как на войне. И приказ — выбивать шоферов.

Сначала Гриша различил желтоватые пятна на земле — отсветы притушенных фар. Они осторожно ощупывали дорогу впереди колонны. И лишь потом он увидел мотоциклистов, бледно-зеленых при обманном лунном сиянии, с гипсовыми масками вместо лиц.

Гриша пристроил ствол винтовки на толстой, облюбованной заранее ветке, дождал, пока мимо него проедут мотоциклисты. «Их снимут метров через двести».

В перекрестье прицела он поймал темное ветровое стекло легковушки, в той стороне, где должен был находиться водитель.

Водитель «опеля» ефрейтор Герберт Никкель раздражал ауфзеерку Бинц. Дважды она делала ему замечание, чтобы он не причмокивал дуплистым зубом.

— Яволь! — послушно отвечал он и тут же, позабыв об обещании, продолжал свое гнусное занятие.

Нервная система у старшей надзирательницы была истощена. Любой пустяк мог вывести ее из себя. Что тут попишешь, и на ней, очень волевой и хладнокровной солдатке, сказывалось перенапряжение последних дней, когда шла подготовка к эвакуации с попутным «окончательным решением вопроса» для заключенных еврейского происхождения.

«Чмок-чмок-чмок!» — снова раздавалось над ухом.

— Да перестаньте же, наконец!

Ефрейтор Никель повернул голову:

— Яволь! — и вдруг, лапая руками воздух, повалился ей на грудь.

— Вы с ума сошли! — крикнула женщина.

Но выкрик ее заглушили разрывы гранат, автоматные очереди. Старшая надзирательница оттолкнула от себя безжизненное тело шофера и выбросилась из кабины за секунду до того, как пуля прошила кожаное кресло, в том месте, где прежде покоился ее затылок.

«Партизаны! — лихорадочно стучало ее сердце. — Партизаны! Куда бежать?!»

Издали доносились приказы:

— Всем сдаваться! Оружие бросить и сдаваться! Сдающимся гарантируем жизнь!

— Какая им к черту жизнь? — хрипел Вася Гуржий, внимая Колькиным заверениям. Он выцеливал немцев, и ему было не важно, бросают они оружие или не бросают. Ни одного из них, кто попадет на мушку, он не собирался упускать. — Могила вам, а не жизнь!

В просвете меж деревьев мелькнула женская тень в черном плаще.

«Пилотка! Черный плащ! Ауфзеерка Бинц!»

Вася рванул следом. «Дрянь! Не уйдешь!»

Он бежал за нею быстро, но скоро обессилел, чувствуя, как щеки превращаются в раскаленные угли.

— Хальт!

«Бесполезно. Эту сволочь остановить может только смерть!»

— Хальт!

И тут ауфзеерка Бинц остановилась, узнав голос мальчишки и медленно стала поворачиваться к нему.

— Ты? — удивленно спросила она, вскидывая «парабеллум».

— Твоя смерть! — ответил ей по-немецки Вася.

Он вышел на лужайку, пахнущую горькими цветами поздней осени. С ненавистью посмотрел на свою мучительницу.

«Чего это она? Патроны кончились?»

— Сдаюсь! — хрипло сказала ауфзеерка Бинц, поднимая руки.

— Мне сдаваться не нужно, — ответил Вася Гуржий.

Он стрелял, не целясь. Знал, в ауфзеерку Бинц не промахнется и с закрытыми глазами...

5

Стойкий запах переработанных масел и выхлопных газов стоял в воздухе. Свежие следы гусениц и протекторов вели в ложбинку, поросшую густым орешником, и выводили к ручью, который и был ориентиром, указывающим путь к немецкому концлагерю, откуда доносилась скороговорка выстрелов.

Вартдивизион, находящийся на марше, поступила радиограмма: «Партизаны ввязались в затяжной бой. Срочно требуется огневая поддержка!»

Срочно!

— Что будем делать? — капитан Шабалов, вернувшийся в часть после госпиталя, вызвал на совет разведчиков. — До исходного рубежа нам еще долго тащить-ся, а огневая поддержка требуется сейчас.

— А отсюда мы сможем поддержать наших ребят?

— Без ювелирной рекогносцировки — пустое дело!

— Есть идея! — сказал старшина Ханыков. — Но...

— Не тяни! Излагай, — торопил капитан.

— Места эти мне знакомы. Перед самой войной я был здесь комендантом спортивно-стрелкового полигона чемпионов Белоруссии среди школьников. Ребята готовились к первенству Советского Союза. 1 сентября, в Международный юношеский день, наши снайперы должны были выступать в Москве. Но началась война, пришли немцы, и я вывел ребятшек к партизанам, а потом и на Большую землю.

— Короче!

— Выводил через болото — вон то! — указал вправо от ручья. — Там до конц-лагеря рукой подать. Но...

— Опять «но»?

— Товарищ капитан, — засопел от обиды Ханыков. — Там только со слегой да с легким вооружением.

— А тебе — что? — танки подавай?

— Рация! — напомнил Ханыков. — С ней утянет на дно. Трясина.

Володя, будто что-то вспомнив, хлопнул себя по лбу.

— Болотопы!

— Что-что?

— Болотопы! Это... Это такие плоские штуковины, фанерки или днища плетеных корзин. Цепляют их на ноги, и айда по болоту. Соорудим болотоп для радики, и юзом протащим ее на ту сторону. Пять минут работы. А?

— Пятерка за сообразительность! — откликнулся старшина Ханыков.

— Действуйте! — приказал капитан.

6

Сторожевые вышки, прикрытые бронешитами, контролировали местность, не давали поднять голову.

К утру бой мало-помалу затихал. У партизан не хватало сил на решительный штурм лагеря. Бой захлебывался. Одиночные выстрелы снайперской винтовки сменялись короткими автоматными очередями.

После каждого передергивания затвора Гриша Кобрин подолгу дышал в сово-чек ладоней, чтобы отогреть пальцы, и вновь старательно выискивал очередную цель.

Вася Гуржий чертыхался, понимая, что без пользы тратит боезапас.

Коля Вербовский, снаряжая отцовский именной наган патронами, негромко напевал:

Мы где-то там, у линии победы,
Но где она, узнать не суждено...

— Не колдуй по нашу душу! — прервал его Гриша. — Это вон тому немаку не суждено узнать.

Прицелился и пальнул.

— Ну?

— Я же говорил: не суждено узнать. А мы еще повоюем и после победы. Дай только добратся до Берлина.

— Доберешься, — неопределенно заметил Вася. — А мне бы домой, в Славянск, так маму хочу увидеть.

— Славянск — потом, сначала на Большую землю попасть надо, — сказал Коля. — Бей фашистских гадов!

7

Преодолев болото, разведчики, словно водяные, выбрались из трясины, двинулись к опушке леса, примыкавшего к концлагерю. Отзвук нестройной пальбы вывел их в расположение партизан, залегших вдоль колючей проволоки.

— Да, без бога войны им не сладить, — оценив ситуацию, сказал старшина Ханыков.

— Сторожевые вышки! — вставил Володя.

— Они самые! Надо срочно снести! Бери радиста и двигай... — Ханыков осмотрелся. — Вон туда. Видишь парня со снайперской винтовкой?

— Вижу!

— К нему и двигай. Он тебе в случае чего глазомер подправит своим оптическим прицелом. Не ошибешься.

Володя оглянулся на радиста:

— Миша! За мной!

Не ускоряя шага, Сажаров протянул ему телефонную трубку, которую вынул из бокового кармашка чехла.

— Капитан Шабалов! Просит координаты!

— Днепр! Днепр! — начал Володя. — Я — Волга. Мы на месте, координаты...

Он поправил ремень автомата, натирающий шею, и поспешил навстречу ребятам, ожидающим его у колючей проволоки...

ЧТО БЫЛО ПОСЛЕ

Володе Гарновскому, вернее, прототипу моего литературного героя Владимиру Гарновскому, дошедшему с боями до Берлина и расписавшемуся на рейхстаге, так и не довелось стать офицером. В Суворовское училище, несмотря на рекомендации командования и боевые награды — орден Славы, орден Красной звезды и три медали — его не зачислили. Сослались на отсутствие табеля об окончании начальной школы — четырех классов.

Как тут докажешь кадровикам из приемной комиссии, что на войну уходят без учебников и тетрадок, без дневника и табеля. На войну уходят, чтобы бить фашистов, а не сидеть за партой.

Пришлось возвращаться в Славянск, на пепелище, и восстанавливать документы. В Славянске он получил аттестат зрелости. Затем уехал в Одессу. Учился в институте инженеров водного транспорта. По окончании был распределен в Ригу инженером на судоремонтный завод ММФ. (Там, работая журналистом в газете «Латвийский моряк», я и познакомился с ним).

Вася Гуржий?

С Васей вышла беда. Какая-то ошибка по юридической части вывернула его жизнь наизнанку, и он вновь попал за колючую проволоку. Где-то в документах у казенных людей с черствым сердцем значилось, что во время оккупации он сдавал кровь для немецкой армии.

Думается, эта книга, раскрывающая подлинную историю его несчастной судьбы, сможет засвидетельствовать: Вася Гуржий ни в чем не виноват!

Гриша Кобрин?

Стал профессиональным снайпером. Дошел до Берлина, расписался на рейх-

стаге. И под своей подписью оставил на камне сто восемьдесят зарубок, сделанных штыком, ровно столько, сколько на прикладе его винтовки.

Николай Вербовский?

Ну, с ним понятно. Литературу не оставил. Писал об увиденном и пережитом, что и вошло в этот роман. Роман о людях, которых можно назвать «приемными детьми войны».

Война...

Нам кажется, что, сколько лет ни пройдет, как ни отдалится она от нас по времени, мы ничего не забудем.

Без памяти нет человека!

И мы будем помнить о самом молодом в Красной Армии кавалере ордена Славы Володе Гарновском (Тарновском), о юном заключенном фашистского концлагеря Васе Гуржии (Гурском), о партизанском разведчике Николае Вербовском, о чемпионе Белоруссии 1941 года среди школьников в стрельбе из мелкокалиберной винтовки Грише Кобрине.

Из детства они уходили на войну. А с войны возвращались мужчинами. Чтобы мальчишки не становились солдатами.

Помните об этом, пожалуйста...





Анатолий Яковлевич Крищенко родился в 1939 году в городе Прохладный Кабардино-Балкарской АССР. Окончил Литературный институт им. А.М. Горького. Прозаик, драматург, поэт. Публиковался в журнале «Подъём», региональной печати и краевых литературных изданиях. Автор нескольких книг прозы и поэзии. Лауреат всероссийского литературного конкурса «Справедливый мир». Живет в станице Марьинской Кировского района Ставропольского края.

Анатолий Крищенко

ВЕТУШКА КАЛИНУШКИ

Рассказ

На стук в калитку я шла без особой радости и любопытства, потому что никого не ждала. В голове сердито пронеслось: «Кого это нелегкая принесла?» На улице стояла расфуфыренная особа с сумкой через плечо. В насмешливо растянутой полуулыбке сквозило что-то отдаленно-угадываемое и отчужденно-незнакомое. Блеск солнцезащитных очков скорее отталкивал, чем располагал. Мы молча рассматривали друг друга. Психологическая дуэль затянулась. Первой не выдержала я и глухо, с каким-то идиотским угодием тихо спросила:

— Вам кого?

Очки, нагло вато блеснув зеркальным отражением, чуть сместились в сторону, а растянутые в тонкой полуулыбке губы тихим безразличным полупшепотом пропели:

— Мне бы Жорика-баскетболиста из 10-б.

— Жорика, — почти автоматически повторила я в тупом оцепенении, вспомнив погибшего в Чечне одноклассника, а потом школу.

— Да, Жорика, — в той же тональности произнесли насмешливые губы.

— Так он... он... — в голове молнией пронеслись мгновения, дни, годы. Подавив ком в горле, и уже почти что-то угадывая, я заорала: — Так это ты... ты, цыганка?

— Конечно я, — ответили ехидные губы. — Я, Верунья, я.

— Ах ты, цыганское отродье!

«Цыганское отродье» бросило сумку, и мы стали тискать друг дружку. Не как мужики, а как женщины, или, вернее, как мужики своих любимых женщин. Первой опомнилась я. Слегка оттолкнув одноклассницу и когда-то злейшую соперницу, я глуховато забубнила:

— Пойдем домой, пойдем, а то еще соседи подумают...

— А пусть думают, — отрезала Маша-цыганка. — Мы, русские, всегда хотим кого-то мазануть, — весело, как когда-то в школе, добавила, поднимая свою роскошную сумку. — А без этой мази на ближнего мы уже не нация, а вроде народ.

— Ладно, заходи, народ, только не пужайся за беспорядок. Бедность не порок, а большое свинство. Вот...

— Да брось, брось... Сейчас, где чисто — там грязно, а где грязно — там чисто, — поставив сумку у самого стола, заваленного ученическими тетрадами, и искоса стрельнув глазами на мою гордость — книжную полку, изрекла: — Последнее прибежище виртуально-печатных идиотов прошлого века.

— Ты что! — заорала я. — От макулатуры учебной я давно избавилась. Это же классика!

— Вот-вот, — ехидно отпарировала мой протест цыганка. — Классика, конечно, учит и заряжает, и от жизни отрешает. Кто ею пропитан, тот так далек от жизни, как и сама жизнь от него. По себе знаю. Но я излечилась от болезни книжной. Вернее, некнижная жизнь меня излечила от книжной болезни. Она, знаешь, как лечит! Ох, как лечит — и душу, и тело, и спасибушки ей за это, — она захохотала и проговорила: — Вру, конечно. Так, для цинизма. Вру.

— В Москве все такие... циники?

— Нет! Там, голубушка, в основном прагматики. А прагматизм — это самый скрытый вид бескнижного цинизма. Ясно?

— Ты такая вумная стала, что мне, деревне, и не знаю, что и делать перед вами, ваша вумность, — я мгновенно расслабилась и так звонко забыто-школьно засмеялась, что у меня глаза прослезилась. Отвернувшись, поправляя томики книг. Другим тоном проговорила: — Реву, дуреха, реву.

— Вот-вот, — уверенно продолжала цыганка. — Это они, твои книжечки, научили тебя сентиментальности. Да ладно, переучись. А если нет — пропадешь. Россия уже не та. И вот что любопытно: кто меньше читает, тот больше получает.

— Да я и так, считай, уже много лет на голодной пайке по чтению. Да и по жизни...

— Как! А покушать, простите, у вас есть? Ну, кушать желает моя столичная вумность, — наклонившись, она достала, вернее, выхватила, из сумки бутылку. Водрузив ее на стол, властно продолжила: — Это мое! А где твое?

— Сейчас, сейчас. Запасы есть маленько, — ответила я и побежала к погребу. А когда вернулась, обомлела. Цыганка пела. Она извлекла гитару, хотя та, зачехленная, висела в углу моего книжного стеллажа. Гости и рюмки нашла. В одну она поставила веточку калины. Я ее всегда втыкала между томиками Некрасова и Есенина. Маша, глядя на калину, не пела, а творила что-то в том мгновенном экспромте наития, когда мысли и чувства, соединившись, создают гармонию страданий духа:

Ветушка калинушки,
Да моей судьбинушки,
Да моей гордынюшки,
Да моей гор-ды-нушки,
Да моей крестинушки,
Да моей крестинушки...

Заметив меня, засмеялась и, перевоплотившись в ту, знакомо-угадываемую Машу-цыганку, резко отреагировала:

— Ну, вот мои очередные поэтические мучения. Опустили они меня на землю предков. Да не суди меня...

— Да я, я...

— Не оправдывайся. Это случается часто. Не судьба мне быть поэтом по библейским тем заветам.

— Да если б я знала...

— Убийцы всегда так говорят! А потом откупаются, и суд их прощает. А чем ты откупишься? — заглянув в плетеную кошелку, нараспев сказала: — Да это же сальце, да еще копченое. Откуп принимается, из-за решетки выпускаем! — она быстро все расставила на столе: и огурчики, и баночку с вареньем. Так же быстро, открыв свою плоскогрудую бутылку, разлила по рюмкам. — Ну, за что? Конечно, за нас, вечно плебейский учительский класс!

Мы быстро закусили и цыганка сказала:

— А теперь информация обо мне. О тебе я знаю, что твой охламон спился и сбег к такой же. А я не писала потому, что... потому что меня из школы того, ну, уволили по собственному.

— Тебя? Да ты же призер почти всех российских конкурсов!

— Вот потому и турнули. Призером быть лестно, но тяжело. Завистники. — И козни. А конкретно меня турнули. — Маша достала из сумки фото — на фоне памятника. — Вот за это. Смотри. Знаешь, кто это?

— Нет.

— А надо бы. Это барон Мюнхгаузен.

— Ну и что? — обалдела я. — При чем здесь барон Мюнхгаузен и твоё увольнение?

— Тема требует пополнения энергии, — она взяла со стола бутылку.

— Мне не надо!

— Знамо! Как всегда... А мне надо, — Маша, живо опрокинув рюмку вина, молвила: — А теперь слушай. Скульптор Орлов — это иронист нашего века, и добавлю — гениальный. Вот взглядишь в фото. Там, правда, слова не видны, что на памятнике. А слова такие: «Вы утверждаете, что человек не может вытащить сам себя из болота? Обязательно! Более того, автор уверен, что каждый человек время от времени должен делать это». Скульптор в своей работе отобразил известный момент жизни героя: вместе с лошадью легендарный барон выбирается из болота. Гениальное попадание в цель! Уловила? А водружен сей монумент у станции метро «Молодежная». Ловишь смысл? Вот и вся моя история с увольнением.

— Как вся? Не понимаю...

— Я влюбилась в каменного барона. Нутром приняла глубокий замысел скульптора. Сам памятник уйму мыслей и звуков вместил. Я б его перенесла на Красную площадь, прямо к Кремлю, рядом с мавзолеем. Пусть его зрят, читают и слушают те, кто загнал нас в болото.

— И это все? — спросила я.

— Нет, конечно. Дело было так. Министерство образования, как обычно, спустило тему конкурсного сочинения «Твой герой, Россия».

— И ты сделала героем барона?

— Угадала. А потом сделали меня. Дай-ка гитару. Поплачем, — и она запела:

Ветушка калинушки,
Да моей судьбинушки,
Да моей гордынюшки,
Да моей печалюшки,
Да моей прощальюшки...

Пела отстраненно, иронично. Мне почему-то хотелось плакать. Песенка-стишок сблизила нас, как бы вернула в пору юности. Мы обе долго молчали. Очнувшись, я спросила:

— Так тебя ушли. А сейчас?

— Сейчас, — бодро отреагировала Машка, — я меньше кручусь, но больше получаю.

— И где?

— Давай-ка выпьем, потом скажу.

— Ты же знаешь...

— А ты думаешь, забыла? — погрозила мне пальчиком и ловко извлекла из сумки пакетик. — Держи. С днем рождения! Я-то помню: три-тье ноября.

— А я вот забыла...

— Грех. Великий грех... Потому давай повторим. Как в школе говорят: повторенье — мать ученья. Потом, потом разглядишь, что я тебе подкинула.

Выпили, и я с нетерпением развернула пакетик. На меня глядел барон Мюнхгаузен.

— Так это же барон, твой кумир!

— Мой кумир в Москве. А твой пусть будет здесь, в станице, и вытянет тебя из болота жизни. Напоминать будет, как я из заслуженных учителей превратилась в офисную уборщицу. Ха-ха-ха! Все ерунда. Да не вникай в мое заземление! Денег больше хотела, а там платят. И времени у меня больше. Скажи, гитарушка, подруга семиструнная? — она провела ладонью по натянутым струнам, призналась: — Знаешь, в школе работать нелегко. Не зря ведь говорят: когда закрыты все дороги, пойдем-ка, Дуся, в педагоги. Школу-то я по-прежнему люблю, как Россию Лермонтов: «но странною любовью». Думается, мы все Лермонтовы. А вот детей любим материнской любовью. Я думаю, да что там думаю, — знаю! И ощущаю любовь детей. Скучаю по ним. Хотя своими балдежами они энергии много отнимают, но потом энергия всегда возвращается.

И вдруг она заговорила странно-знакомо:

— Дети всегда, или почти всегда, до боли мне родные. Хотя у них уже иные миры, другой космос жизни. Внешне похожи на своих пап и мам, но только внешне. Внутренне совсем не те, потому как живут в другом измерении. Пропасть непонимания возникает там, где был упущен момент взросления, ломки между детством и юностью. Прости за мораль, увлеклась. Болезнь учителя всегда морализм. Профдефект былой профессии, что поросла травой. Заболталась, извини.

— Вот ты говорила о детях, — медленно начала я, — все в основном

верно, если опираться только на логику. А где же гены наследственности, куда они подевались?

— Все чепуха! Научная эквилибристика. Эволюцию генную пока еще никто не приблизил. И, заметь, не приблизил до минимума угадываемости человека-ребенка. Я предполагаю, что никогда не приблизит. Никогда!

— Почему?

— Да потому, что угадать эволюцию развития каждого невозможно. Это Божий промысел. А когда мы, грешники земные, вторгаемся в этот промысел, то получаем новые «измы» — в науке и природе. Давай менять тему!

Жизнь-то давно поменялась. Двадцать первый век — это век софистов. Да-да. Коммунистов сменили софисты, древнейшие вруны. По телефону артисты поют им фимиам. И себе тоже...

— Все это, кажется, было, — печально вставила я.

— Когда не было нас, — выстрелила моя подруга-цыганка.

— Точно! Но тогда был и рабочий класс, и крестьянство.

— Зато сейчас есть новые русские — долла-ро-вичи и паутинистый Интернет, дающий паутинистый лжеответ на все вопросы богатеньких софистов всех мастей. Стратегия пустоты ЕГЭшной простоты.

— Да. Только сейчас эти шакалы уже сожрали всех ягнят в мудром российском лесу знаний и открытий.

— Да нет! — воскликнула гостя. — Пойми, в лесу еще не перевелись истинные хозяева. Русские всегда медлительны, а вот медведи яростны.

— Может, они нас и спасут? — мечтательно протянула я.

— Кто, медведи? Не надейся! У нас они чаще ряженые, цирковые: под аплодисменты работают. И поэтому, заметь, законы пишутся по двойным стандартам. Вроде под нас, овец. А в действительности — под софистов.

— Тонкостей в законах я не знаю, но фальшь шкурой чувствую, вернее, нутром. Как и все, что попал в пропасть обмана, за черту бедности...

— А я знаю! Не все, конечно. Но о нас, где мы, вернее, ты работаешь, — знаю. Закон об образовании слышала, небось? — наседала напористо гостя.

— А как же. На педсовете всегда объявляют директивы и постановления. Но мы ж — замученные учителя... Не врубаемся. Точнее — отключаемся или молча тетрадки проверяем. Или спим, сидя с открытыми глазами.

— Как это? — удивилась Маша-цыганка.

— Да так. Не врубаемся и отключаемся. У каждого учителя на селе не только рот или род, но и коровка есть, и огород-кормилец.

— А я вот врубилась. Но меня, как я тебе говорила, вовремя отключили. Или, правильнее, отлучили от школы.

— За то сочинение? Никогда не поверю! — возразила я.

— И правильно делаешь, подруга. Сочинение — это увертюра к опере. А опера — это разговор с директором того престижного лица. Слушай. Вызывает он меня к себе в кабинет после Мюнхгаузена, потрясает листками всех мюнхгаузенских сочинений: «Это что такое?!» Я говорю: сочинения. «Ладно, предположим. А если допустить, что это крамола, политическая крамола, — сочинения ваших учеников. Но почему они безымянны?» А я ему в тон: «А почему наш безымянный закон об образовании под номером 122 федерального вроде бы значения, почему он не имеет авторов?! Почему безымянный? Почему система образования разделена на два сектора: для золотой молодежи и для быдла в своей массе?» Ну

и пошло-поехало! Я господина директора забросала убийственными фактами. Напомнила о безэкзаменационном едином госэкзамене, я знала, что наш господин директор был в числе авторов. Напомнила, что теневые авторы этой аферы сожрали тридцать миллионов школьно-министерских денег. Напрямую спросила: «Вы знаете о двух российских параллелях образования? Или хотя бы слышали о них, когда рождали сомнительные концепции?»

— А он?

— Он, вальяжно восседая в кресле, в ответ мне нагло улыбался. Потом попросил: «Просветите, сделайте милость, расскажите».

— А ты?

— Я... Что я? Сказала тогда, что верное направление российского образования в непрерывности и доступности. В двух вечных параллелях.

Наступила пауза в нашем живом разговоре. Я всегда боюсь этих похоронно-молчаливых пауз. Тихо спросила:

— А что же он, директор?

— Он поднялся, галантно поклонился и, протянув чистый лист бумаги, изуверски говорит мне: «Благодарю за лекцию. Вот вам ответ на все ваши вопросы». Спросила: «По собственному?» Он: «Пока — да. А если нет, то не по собственному, а по статье». Я с маху написала свое последнее школьное сочинение. Вернее, лицейское. Он внимательно прочитал и, покачав головой, изрек: «Ведущий педагог, а заявление пишете с ошибками». Я вскочила: «Где ошибки?» Он указывает: «Вот: живущий, а надо — проживающий». Хотел подправить. Я крикнула: «Не смей! Это вы, вы... проживаете и проматываете государство. Поэтому и законы у вас временщиковые. Определение «проживающий» тоже ваше, временщиковое. А у меня и у нас, живых людей, — «живущий», потому что мы живем. Ясно?» Он со вздохом кивнул и черкнул свою подпись. Мы простились...

Взяв гитару, Маша-цыганка запела очередной свой экспромт:

Простились мы, а жизнь осталась,
И правда где-то засмеялась.
И все осталось, как вчера:
Не опера, а опера...

— Так ведь, подруга-педагог?

Я грустно покачала головой и вдруг резко предложила:

— Давай сменим тему. Хочу спросить о главном: ты кого-нибудь имеешь? В мужском плане, прости...

— Имею, конечно, имею! Нам, женщинам, не иметь, что мужикам не пить. Но если честно, ё-мое, имеем и любим. Скоро распишемся. Кстати, сочинение писали мои детки: «Две точки, как два мира», — села она на любимого конька. — Про узаконенную букву «ё». Запомни, словесница: год 2004-й — исторический для буквы «ё». Вернули её в русскую письменность.

— Об этих точках сочинение писали твои детки?

— Да. «Две точки, как два мира».

— Ну и как?

— На «ура». Единство противоположностей: бедный-богатый, социалистический-капиталистический, тоталитарный-демократический. Эти две точки в сочинениях ребят обрели свои биографии, и даже судьбы. Да-да! У одних эти точки просились в бесточечный социализм, у других — в

капитализм. А у одного фантаста эти точки даже звезды зажигали сиянием.

— А что еще у тебя есть фантастического? — спросила я в тупом очаровании.

— Есть. Только не фантастическое, а обыденное. Реалистическое.

— Говори, говори... — торопила я подругу-цыганку.

— Ишь ты, зацепило?

— Еще как! — созналась я.

— Хороший ты человек. Сидеть бы тебе не в станице, а в министерстве при министре, которого яйцами забросали.

— Про яйца министерские... не хочу! — заорала я. Мы разом обе захохотали, да так, что обе стали икать. Я все же настойчиво напомнила: — А еще что-нибудь о своих сочинениях, ну, о темах для детей. На что ты их настраивала, бунтарка?

— А на все! Они сами часто выбирали темы. А слабаки отстреливались за «неуды» охотой на словесных блох.

— Чего-чего? Каких блох?

— Словесных. По телеку. Если схлопотал «неуд», говорю: «Исправлять будешь по программе или в охотники пойдешь?» Большинство охотятся.

— Как?

— Ну, отлавливают огрехи по ящику. Дикторы-то наши, даже ученые-лингвисты, свои монологи начинают со слов-паразитов «вы знаете». Знакомо?

— Знакомо.

— Так я придумала для охотников отстреливать эти шаблоны с конкретными выводами.

— И много в классе охотников?

— Почти все — и хорошисты и отличники.

— Ну, ты профи! Удумала же такое. А в сочинениях крамола и фантастика?

— Точно! Реальное и виртуальное. Чтобы раскрыть тему, нужно хотя бы приблизиться или прикоснуться к значимой идее.

— Давай, раскрывай. Тема и идея, что оскомины на зубах. Раскрывай... Ну!

— Тема, — медленно и важно продолжила гостья, — как и идея, состоит из нескольких слов. А за ними родники, реки и даже целые моря, а порой даже океаны надводных и подводных рассуждений и целый космос мук и волнений. А всего-то одно-два слова: тема и идея.

— Социализм и капитализм, — съехидничала я.

Цыганка, стрельнув глазищами, членораздельно по слогам взрывным полусшепотом отчеканила:

— Социализм и капитализм, детка, был не «вроде», а в натуре. Со своим страдательным причастием в прошедшем времени. И в настоящем!

— То есть в нашем капитализме.

— В нашем диком анархизме.

Чувствуя, что я ее достала, безучастно заметила:

— Ты глаголешь, детка, словно на уроке. Но я ведь не школьница, а педагог высшей категории.

Мне было хорошо в наступившей паузе, вернувшей меня в водоворот юности, а может, и детства. Машка-цыганка захлопала в ладоши и яростно, но беззлобно сказала:

- Поздравляю. Значит, и ты папку о себе писала.
- А как же, писала. В прошлом веке, в середине 90-х все учителя говорили о себе, любимых, как сейчас депутаты перед выборами. Такова се ля ви, мадам.
- Какой позор!
- Почему позор? — притворно спросила я.
- Да не позор, а, прости меня за вульгарность, лажа, — возмутилась гостья.
- Почему?
- Скажи честно, тебе не было стыдно?
- За что? — опять притворно переспросила я.
- Да за то, что ты себе, любимой, пела дифирамбы. Не столько методике, сколько себе.
- Если честно, была вначале неловкость. Но потом, когда я познакомилась с такими же «роженицами папок», неловкость прошла. Да ты не улыбайся. Разряд — это же деньги.
- Я не улыбаюсь, а громко хохочу над той дебильной районской папочкой. Думаю, об этом позоре еще снимут фильмы. Напишут и романы, и рассказы. Папочная тема квалификации учителей и выборы высших чинов... Это же находка для нынешних Зощенко и Аверченко. Ладно, хватит, — Маша вновь рассмеялась.
- Меня так и раздрает рассказать про мою личную папку. Можно?
- Давай, давай. Это интересно.
- А вот мне и грустно и смешно. Слушай. Я была уже... со своими актерами победителем нескольких конкурсов.
- Постой, почему актерами?
- Урок — это игра. Спектакль. Ты понимаешь. Так?
- Да, но иногда они так разыграются...
- А ты срежиссируй эту игру. Поплавай по их морям и океанам. Вот тогда твои ученики и будут артистами.
- Расскажи о папке, — напомнила я.
- Уже не хочется. Картинка пропала.
- А ты восстанови.
- Не получается. Восстановление — это не мать учения, что зовется повторением, а мачеха. Мачеха, понимаешь?
- Понимаю. Но повтори, мне интересно, — настаивала я.
- А мне нет. Ладно. В двух словах. Мне сразу там присвоили высшую квалификацию эти чиновники. Без расспросов, потому что я была со своими актерами призером... Помню, как тогда мандражировали коллеги. Они вмиг превратились в учеников. В троечников.
- А как же! — запротестовала я. — Моя индивидуальность тоже мандражировала. Да мы все были тогда учениками.
- А я нет! Даже скоморошничала над комиссией. Ты меня знаешь...
- Да-да, знамо. Ну и как это было?
- Я вошла, и мне стали петь дифирамбы. Помимо того, что я всю их пела в своей методичке. Папке, то есть. И стало мне противно, понимаешь? Ох, как противно.
- Да ладно. Так сразу дали тебе высшую категорию?
- Да. Через два разряда перескочили. У них у всех глаза горели, как у тебя сейчас. А мне почему-то стало грустно, как сейчас. Я, опустив глаза, поблагодарила комиссию и робко заметила, что забыла написать эпиграф к папке. «Эпиграф? — живо переспросил какой-то важный туз из

министерства. — Так вы его скажите, озвучьте ваш эпиграф». Дело в том, тогда сказала я, что в этом эпиграфе автор рассмотренной и одобренной вами папки в образе мужчины. Они все вылупили глазищи, а тот, из министерства, бойко настоял: «Это сверхоригинально. Говорите». Все замерли. Я робко подошла к окну. А у меня, когда я входила, уже родились эти ехидные строчки. Я сказала: «На улице гроза». Все повернули головы к окну и почти хором сказали: «Там нет грозы. Идет снег!» А я слышу грозу, сказала я. Они молчали. Я спросила: «Так мне читать эпиграф?» «Да, да», — откликнулись голоса. В немой тишине я четко, чеканя каждое слово, прочла:

На улице, на улице гроза,
А я стою, как памятник огромный,
И у меня методика в глазах,
А я такой талантливый и скромный.
И папку написал я всю с себя,
Методику научную любя...

Они, смеясь, захлопали в ладоши. Я выскочила. Меня обступили, стали спрашивать, почему хохочет комиссия. Сказала, что рассказала им анекдот. Спрашивают: «Какую категорию дали тебе за анекдот?» Я говорю: «Высшую». Мне не поверили. А потом моя защита была притчей во языцех. Просто анекдот... Мне думается, любой успех — это целый космос сомнений. Вот он, наш звездный, наш божий космос. Не ищи его на Земле. Подними голову к небу и загадай желание. Попроси Создателя и не греши. Тогда все получается вроде бы легко. Но за этой легкостью, как за пушкинской строкой, — твой звездный путь, твои муки и сомнения. А знаешь, почему люди умирают, а звезды сторают...

В коридоре хлопнули дверью. С порога мой Володька закричал:

— Мама, мама, в школе карантин... А деньги учительше на день рождения я успел отдать, — войдя в комнату, смутившись, произнес: — Здравсьте.

— Здравствуй, здравствуй, — ответила цыганка.

— А я вас знаю. Мама говорила. Вы меня в Москву возьмете?

— Покорять столицу собираешься?

— Собираюсь.

Цыганка подошла и, положив ладонь на голову сына, сказала:

— Вот еще один покоритель. Да ты не беспокойся, возьму, возьму. У нас пока нет карантина. Значит, возьму.

— А что, в Москве не болеют?

— Болеют. И в Москве болеют. Она большая-пребольшая. В ней можно и заплутать, как в дремучем лесу, где водятся и нечистые бесы, и мудрые змеи-искусители. В Москве сошлись десятки городов — маленькие и большие, и тысячи таких станиц, как наша Марьинская.

— Как? Москва-то одна...

— А история, по которой ты учишься, разве одна?

— Если бы. Историй много. А надо бы, чтобы была одна, как Москва на карте. Почему вы молчите? Разве я не прав?

Мой сын был прав, или почти прав. Но мы почему-то молчали.





Валерий Семенович Аршанский родился в 1945 году в городе Магнитогорске Челябинской области. Окончил строительный техникум, отделение журналистики Воронежского государственного университета. Служил в ВВС, работал инженером на строительстве магистральных газо- и нефтепроводов, журналистом в региональной прессе, главным редактором, генеральным директором издательских домов в Мичуринске и Тамбове. Автор 12 книг прозы и документалистики. Заслуженный работник культуры РФ, лауреат различных литературных премий. Член Союза писателей России. Живет в Мичуринске.

Валерий Аршанский

ЗВЕЗДА АЛЬТАИР

Рассказ

Д а, Саша, смайлики твои просто очарование. Где только ты откапываешь такие? А стих, ой, вообще! «Роня желтый отблеск шторм, осенний луч за Вами бродит»... Ну, Бальмонт! Или Максимиллиан Волошин? Кто тебе больше нравится? Я и того, и другого люблю, курсовые писала по их творчеству. Сашенька, а я и самое первое твоё стихотворение помню, которое ты мне в меню подложил, когда познакомились. «Добрый вечер, Анастасия, с полной радостью, с ясным днем, пусть баюкает Вас рокот моря в Вашем номере сто восьмом...» Мы с Валей опешили вначале, думали, в этом пансионе все насельцам такие послания пишут. Потом поняли, отсмеяться не могли. Эх, Пушкин, и зачем только ты пошел в этот политехнический? Надо было к нам в литературу, филологию двигать, ты же поэт!

А я? Дочь кадрового военного. Да, с будущим дипломом учительницы. Санчик, я ведь пять школ сменила за время папных странствий. А Валюшка целых восемь, пока их семью судьба в Бельцы не забросила, а потом в Кишинев. Отец ее был какой-то жуткий секретчик по ракетам, настройке программ. Вот они и путешествовали из гарнизона в гарнизон. Подру-

га моя порой не успевала и полгода в одном классе проучиться. Господи, что хорошего, реально?

Санечка, стоп! На горизонте Альтаир, наша звездочка! Побежала на лоджию. И ты? До встречи!

* * *

Ну, как? Слетали, увиделись? Скажи, здорово я придумала? Цените, Александр, я еще и не то могу. А в какой классной компании мы летим, прикинул? Рядом Вольф, Змееносец, Лебедь. Я — Лебедь, это не обсуждается. А ты? Ладно, ты Змееносец, тоже неплохо — мудрый Змий! А Вольф — волк-одиночка этот дружочек твой, Борька! Нет, не чересчур. Поделом! А зачем он тогда над Валентиной так насмеялся? Ой, они не помнят... Можно подумать...

Когда мы с ней в Сочи на барахолку ездили. А вы за нами увязались. Знали ведь, как Валюшка переживает из-за своей полноты, а Борька еще масла в огонь подлил. Когда Валя маечку три икс эль мерила. Его же «перевод» был: «Хватит Хомячить Харя Лопнет»... Ну, это что? Это нормально, девушке такое ляпнуть? Она при вас сдержалась, только пятнами пошла. А вернулись в наш сто восьмой, весь вечер ни с кем не разговаривала, ни на обед, ни на ужин не пошла. И то, что я из столовой принесла, есть не стала... Я уж думала: все, утром будет Валя паковать свой чемодан... Хорошо, тетя Люба, горничная, ее успокоила (помнишь, тоже такая... сдобная женщина). Рукой махнула: «Валечка, та тю на них! Пока толстый сохнет, худой сдохнет!» У Валюшки и слезы вмиг прошли. Заулыбалась, стали они изображать с тетей Любой, какой становится у Борьки носик клювиком, как у попугая или горного орла, когда он под твою гитару Окуджаву поет. Ладно, проехали...

Саш, а что собой представляет твоя Охта? Я ведь вовсе без понятия. Расскажешь? Ох-та, ох-ты... Это папа у нас под настроение поет: «Ох ты, ах ты, все мы космонавты...»

О моих школах? Саш, вот всем всегда интересно про школу рассказывать, заметил? В первый класс пошла в Золотоноше, слышал о таком городе? А знаешь, як там балакають... «Гэ» фрикативное: хаз, Халя, хруща... Еще? Понравилось? Я там училась читать по вывескам: «Взуття», «Друкарня», «Перукарня»... Мама (в девичестве Лебеденко!), как толмач, переводила. Нет уж, Александр, сами помучайтесь на досуге, найдите ответы, может, это вас от дурного влияния Бореньки отвлечет... А как тебе такие перлы: крамныця, зализныця, дрибныця? Дытына, драбына, годына... Ищи, милый, в Гугле, найдешь — расскажешь!

Ой, Сашенька, пардон, беру тайм-аут! Сегодня моя вахта, мне обед готовить. До вечера! Чмок!!! Сто разиков! Не-е-е, только в носик. У тебя бородица жгучая-колючая, как у дяди Маквалы. Кто? Потом расскажу. Чао, Санечка! Заканчивай свои чертежи. Господи, политехнический! По-топ!!!

* * *

Спасибо, Сашунь, за такое поэтичное описание Охты. Мне так хочется теперь посмотреть на нее своими глазами. А у нас после Украины была Белоруссия. Квартировали в Гродно, сказочный, просто музейный город. Хочешь съездим, там мамина сестра живет, моя тетка «Халя»...

Потом очутились на какое-то время в Грузии, папа военным советником в консульстве работал — до тех, до тех еще событий... Адрес запомнился: Тбилиси-3, улица Бидаури, дом Маквалы Айвазова. Саш, ты бы видел этого гиганта: метр девяносто шесть, Шрек отдыхает! Бородища густая, смолянистая, как у морского пирата, ни губ, ни носа не видно. Голос громовой, как у палубной артиллерии, и ручищи до колен. Как мы его поначалу боялись... А потом оказалось, нет на свете добрее человека! Всю окрестную детвору угощал своими булочками горячими, слоечками, крендельками — у него маленькая частная пекарня была, где он, жена, сын и невестка трудились — город в очередь у окна стоял. Мы когда уезжали, «Бармалей» даже слезу уронил, целую корзину выпечки своей к машине притарабанил, еще папе бутылку вина из подвала достал, а нам с мамой лимонад и «Воды Логидзе»...

Эх, Сашка, что же натворили наши политики! И когда теперь те шрамы зарастут? Да? И я хочу верить...

Слушай, кацо, а какие хинкали мы там ели, какие хачапури, вах, мама моя! Санечка, это был Эдем, райская жизнь, соплис цховребо, клянусь! Все, что нам с тобой в Адлере и в Сочи в ресторанах подавали — саперави, сулгуни как якобы грузинское, все, что я вижу здесь у нас, в Москве, даже на Фрунзенке, ну, на Фрунзенской набережной, где у причала грузинские рестораны на понтонах по Москве-реке качаются, — все не то. Ни в какое сравнение не идет. Поверь. Здешние хинкали — это просто большие пельмени, не более того. А там... Песня! Ой, Санечка, «Скажи на моего коня тпру, бо в мене губы змерзлы!» Кажется, генерал наш приехал! «Ordnung muss sein!», — иначе хана. Бегу накрывать стол. Папа, знаешь, как говорит: «Сказал командир «кролик» — все! Никаких сусликов...» Санечка, чмок 101 разик. В но-сик!

* * *

Да нет, Саша, не трапеза наша затянулась, разговор с Валей затянулся. Ну да, по скайпу. Грусть-тоска... Мама у нее после похорон Валиного отца все в себя не придет, то давление, то сердце. И с женихом у Вали не ладится, он, оказывается, еще к одной местной девице где-то на родине, в Дондюшанах, сватался; тот еще оказался ловелас... Прохвост! Кстати, Валюшка на следующей неделе едет со своими виноделами в Питер на трехдневный семинар, спрашивала твой телефон: вдруг там по лекарствам что-то надо будет ей помочь, подсказать... Не обременительно, нет? Спасибо, я ей тогда мобильный твой напишу.

Как познакомились с ней? Так их же семья, Руссу, соседями нашими оказалась в Кишиневе, буквально дверь в дверь, на одной площадке жили. Улица Пирогова, рядом с университетом. Валечка на два года старше. Мамы наши стали нас знакомить, она смотрит на меня такими кукольными глазами зелеными: «Кум те клямэ не тинне?» Сразу дала понять, как здорово молдавский язык знает. А я по интонации вопрос уловила, в ответ руку ей протягиваю: «Настя!» Она опять по-своему: «Кыць ань ай ту?» («Сколько тебе лет?») Я плечами пожимаю, ни бум-бум, мол... А она лукаво так глазенками постреливает: «Мержем астэз ла картинэ?» Ах, картина, кино, ну, это ежу понятно. Киваю: конечно, пойдем. Вот так и осваивались потихоньку друг с другом.

Комплекция? Ой, Саш, если по-честному, Валька с детства отсутствием аппетита не страдала. У мамы нашей и борщ, и второе всегда стоят

наготове, вдруг гости пожалуют? Вот и Валечка сразу после школы бежала к нам звонить в дверь: «Еу вреу сэмынынк!» Понял, да? «Я есть хочу.» Врушка она немножко, начинала жаловаться, что за целый день, дескать, только «треи мере» — три яблочка — съела. Кто поверит при таких щечках упитанных? Ну, все равно, садись, Валечка, садись, с тобой и наша худышка в охотку пообедает...

Са-а-шка! Я заболталась по твоей милости. Но ты-то на часы посматриваешь, нет? Сколько-сколько. 22.00 скоро! Марш на планету. И я — к телескопу!

* * *

Нет, Саш, такие передачи не смотрю. Это утеха глупых и сварливых старушек, которые наутро будут обсуждать на лавочках тысячу и одну ночь, то бишь тыщу первую серию... Что смотрю? Где люди умные. А, апропо! Ты читал «Телохранителя» Кристофера Грима? Ой, Саш, возьми в библиотеке, не пожалеешь. Там же о нас. Нет, не в буквальном смысле, конечно. Но зато о нашей планете Альтаир — самой загадочной, самой красивой в Северном полушарии (недалеко ведь от твоего Питера, между прочим, всего сто пятьдесят триллионов километров!) «Вреден Север для меня»? Точно! Ах, наш граф фантастику не читает... А Вы все же, вопреки устоявшемуся убеждению, прочтите, Ваше высочество! Там, среди клубящихся туманов, в сплошном зазеркалье живут некие винды, которым и две тысячи лет не возраст. Есть среди них дельцы нехорошие, жулики, нороящие при дикой скорости вращения планеты обмануть ближних, играя в честность... Ладно, не хочешь, не буду пересказывать, но сам прочти.

Саш, а Валя не звонила? Еще не приехала? Ой, да как мы с ней вместе оказались в Адлере? Запросто! Наверное, как и ты с Бобом. Созвонилась в августе, списались, обговорили... Она мне: «Настя, еу деграбэ мэдук ын отпуск». Господи! И у меня еще целые три недели свободные! «Еу вреу сэ мэдук деграбэ ла Адлер?» Так точно, сеньорита, благословенный Адлер! И никаких сусликов! Если лучшая моя подруга едет в кавказский край магнолий, пальм и кипарисов, то нужен ли мне берег турецкий? И Африка мне не нужна! Боб уже звонит? В бассейн? Счастливые! Я все никак не начну... Пока-пока, Ихтиандр! Не забудь там плавки свои и тапочки... Не чмок! На бегу не целуюсь!

* * *

Саш, прикинь! Наш генерал с легкой простудой остался дома. Раньше бы и речи не было о каком-то насморке, «Хрусталева, машину!», а теперь все чаще хандрит. Маме жаловался на днях, мол, служить бы рад — прислуживаться тошно. Что там у них творится наверху, не знаю, он разве что расскажет... Но брату своему, моему дяде Гере, сказал по телефону, я слышала, хочу, мол, в третье тысячелетие, как узник на свободу, с чистой совестью... Не знаем мы теперь с мамой, что и ждать...

Александр Сергеевич! Был у нас вчера долгожданный разговор. Да, состоялся. Не торопите меня, пожалуйста. Сейчас все расскажу. Вам как, в мельчайших подробностях и в лицах? Извольте.

Сентябрьский вечер. Несколько не типичная московская квартира на улице Профсоюзной, где на седьмом этаже в окнах невеличкой девичьей светелки догорает закат... Величественная, еще более дородная в своем

любимом синем халате с золотыми позументами, властная, как императрица, Екатерина Максимовна, урожденная Лебедеико, входя:

— Чую, донечка, чую, материнским своим сердцем вещунным чую, о чем у нас с тобой пойдет речь... Я не ошиблась?

— Мамочка, он очень хороший!

— А то! Стала бы за плохого моя мамзель просить? Не так воспитана!

— Мамуля, обратно мы с ним вместе сюда приедем, сама посмотришь!

— Посмотрим... Гроши тебе на дорогу надо?

Мать и дочь до-о-лго стоят посреди комнаты, замерев, обнявшись, только учащенным перестуком сердечек прислушиваясь к мыслям и словам друг друга.

Мама (*негромко, спустя паузу*): Ты уже у нас, дочка, человек взрослый, без пяти минут с дипломом. Что тебе мама может посоветовать? Ты же знаешь, я не из тех мам-злыдней, которые своим дочерям жизнь руют, а на смертном одре спохватываются: «Ой, прости, доченька, что я натворила». Только, скажи (отстранив от себя за плечи и пристально всматриваясь мне в глаза): ты разум свой хорошенько обо всем спросила? Ну, тогда... перед необходимостью пасуют даже боги...

Саш! Я где стояла, там и села. Это говорит моя мама? Вот урок, как нужно готовиться всем матерям к неизбежному разговору со взрослыми «доньками»...

Потом, деликатно постучав, явился папа. На плечах генеральский мундир, но без погон, зато в трениках и все в тех же тапочках на босу ногу. Руки в брюки (шаровары). Хмуроватый взгляд из-под лохматых бровей (екнуло у меня под ложечкой). А ведь это я в детстве его косматые бровки и стригла, и причесывала, и никогда клиент не брыкался.

Взял он нашу фотографию, где мы с тобой на пляже (хорошо, Борька заснял еще одетыми). Дотошно крутил снимок и так, и этак. Потом хмыкнул: «Думаешь, Анастас, я не догадывался?» (Мама за его спиной, как бы между прочим, на очень низких регистрах, нараспев: «Но разведка доложила точно, и пошел, атакою взметен, по родной земле дальневосточной...») Еще раз вздохнул, расставаясь с карточкой, пожал плечами: «Глаза вроде честные. Хотя...»

Мама (*не дав продолжить*): Алексей! Вот это свое «хотя» ты оставь, пожалуйста, для Генштаба. У вас же там тесная и сплоченная атмосфера боевого братства (настоящее ее слово видоизменяю), где все друг друга с полувзгляда-полунамека понимают...

Папа (*никак не реагируя на мамин петушинный наскок*): Ладно, Анастас. Поезжай. Остановишься у дяди Геры, я ему позвоню. Заодно и записки мои этому писателю передашь, он давно просил. А бородач твой, что же? Приедете сюда — познакоимся поближе. А то заочно, как?

Мама: Ага! Заочно у нас только Академию Генштаба некоторые герои за боевые заслуги кончают...

Вечная их пикировка. До самой серебряной свадьбы, что не за горами. А там еще же и золотая... Вот так со стороны кто посмотрит, то ли, скажет, вправду они ругаются, то ли прикалываются... А друг без друга жить не могут. Папа только в дом: «Анастас, а где мама?». Максимовна чуть шаг на порог: «Настя, генерал не звонил?»

Сашк... Я сейчас тихонько заглянула к маме в спальню. Саш... Она сидит одна у окна, сторбилась, понурилась. Ладошкой дым разгоняет. Значит, опять из заначки сигаретку достала... А то мне ли не знать, о чем думает...

Вот уже и донька выросла как. Невеста. А давно ли я ее за ручку в Темрюке в детский садик водила... Годы... И вся молодость моя вместе с Лешкой прошла то в его степях башкирских, то в улусах бурятских, то за горами грузинскими, то за долами молдавскими; ясен пень, на брусчатке против Кремля боевые ракеты не ставят... Хорошо хоть ЗАГС нашли тогда приличный в каком-то Усть-Катаве, а то до сих пор так и жили бы не расписанными... Платья свадебного не было, где его могла пошить? В норках у сусликов? Зато отгуляли как в офицерской столовой! Хай там тазы с салатами стояли на подносах попережку с винегретом и селедка под шубой лежала в кастрюлях, как и холодец, зато молодые же, веселились до упаду. Гера, бедный, перепил малость... Ничего! Зато у Настюшки все теперь будет! Все свое ателье ей наряды шить посажу!!!

Сашуль. Я такую фату у мамы в ателье присмотрела. Это просто мечта стюардессы «Эйр лайнз»! Гости наши в обморок упадут, увидишь!

А! А!! А!!! Альтаир, Саньчик! Давай бегом на балкон! На вокзал принеси мне астры, понял? Не надо роз, и хризантем не надо. Сиреневые и белые астры. Обожаю!!!

* * *

Саш! Ты точно был сейчас на Альтаире? Поймал мой привет? Я тоже тебя люблю. Саш... А почему сейчас привет твой прилетел такой... прохладный? Осень виновата? Ну-ну...

Сашенька, я, знаешь, что тебя хотела спросить? У твоей мамы какой размер ноги? Я тут поблизости в бутике туфельки женские присмотрела — прелесть: средний каблук, носок мысиком, пряжечка такая изящная, цвет капучино, совместное производство. Но — залюбуешься! Ей понравится. А Сергею Дмитриевичу твоему что подарить? Он не рыбак, случайно? А то я ему из папиной коллекции спиннинг классный привезу, генерал разрешит. Саш, для меня наша Максимовна это все — и вяжэ, и луминэ, и соаре (вот тебе еще молдавские словечки!) — и жизнь, и свет, и солнце. Ты тоже свою маму крепко любишь?

Знаешь, мне от мамули передалось все, что тебе так нравится (если только ты не напридумывал, сказочник!) — бузэ, динць, урень — носик, губы, зубы, ушки... И точно такой же у меня, как у мамы, характер — покладистый, ровный, к людям с добром, доверчивостью... А то не обжигались... Еще как! Генерал наш на нас, знаешь, как рычит? То вещи раздали, то долги простили, то в какой-то фонд вложились... Он нас так и зовет: благотворительницы. Грозится посадить только на свою пенсию — да, ему уже по выслуге лет положена...

Саш! А я тебе, правда, нужна? Успокойся, шторм ненастный! Спрашивала и еще буду спрашивать! А как ты думал? Может, кружил нам тогда хмельные головы «морской прибой, морской прибой», помнишь, как на пляже каждый день эта песня всем мозги выносила... А мы такие молодые, такие красивые и бесшабашные, пьем то сухое вино, то полусладкое, лопаем то хурму, то виноград, в ресторанах музыку заказываем... Сашечка! И все заботы наши были — тебе с Борькой к вечеру брючки нагладить, туфельки надраить. А нам с Валюшкой — макияжик поярче навести... А теперь будет брак. Семья, понял?

Ты готов? Александр свет Невский... Слово мужика? Железобетон? Саш, а знаешь, как по-молдавски «невеста»? Ни за что не догадаешься!

Невестэ!!! Девушка — фатэ. Ой, как же я хочу ту фату в мамином ателье примерить!!! Жених? Бэрбат. Красивый? Фрумос. «Давай поженимся?» «Айде сэ ме ын сурем!» Понял?

«Те ю беск, Сашенька!» Очень-очень!!! Тоже скучаю. Ну, еще недельку... И жду... твоих астр на перроне!

* * *

Приглушенный свет гостиничного торшера усмешливо бликовал на мутной амальгаме пыльного трюмо и экране мерцающего телевизора, на заставленном бутылками и закусками полированном столике с винными подтеками, прикроватной тумбочке, пластиковом подоконнике, отражаясь затем под косым углом и на прочей скудной мебели одноместного номера: распатанном стуле, обтянутом дрянным велюром некогда бежевого цвета, такого же окраса продавленном кресле с отломанной ножкой, наконец, скрипучей односпальной кровати, где, однако, под проштемпелеванными фиолетовыми казенными печатями хрусткими простынями уместились двое. Он — поджарый, чуть ли не дочерна загорелый, с густой каштановой бородкой, удобно примостивший, как она сказала, свою «капул» (голову) меж двух ее пышных, высоко взбитых булок с тугими вишенками на закруглениях. Она — от природы смуглая, широкобедрая, зеленоглазая. Еще до конца не отдышавшаяся после страстных объятий и бурной борцовской схватки, без трико, полюбовно закончившейся вничью...

— Когда, ты говоришь, Настя приезжает? — старалась плавно, без рывков высвободить примятое колючей мужской бородой плечо и щеку полнотелая смуглянка.

— Сказал же, в эту субботу, утром, — тянулся к джинсам за сигаретой обладатель жесткой «капул».

— Ох, ты ж и альфонсик, Шура! — прикрывая грудь взбитой подушкой, пыталась окончательно высвободиться из-под навалившегося груза и плотнее привалиться к спинке кровати смуглянка.

— Че это ты вдруг, как прокурор? — чиркал зажигалкой Шура. — Тебе что?

Словно и не слыша его слов, «прокурор» задумчиво покусывала губы:

— Да... однако! Интеллигентные мальчики... На хлеб — «мандро», на козу — «падро»...

— Э, э, барышня, как там у вас, фрумоасэ фатэ, ты, может, еще выпьешь?

— Да нет, куда уж больше, — отрицательно покачала волнистыми кудрями барышня. — Нет, но надо же! Три недели они с дружкой за Настин счет по кабакам, по кафешкам, по магазинам... Наплел девке, что папа фирмач, мама, кто? Политолог! Застрелиться. А сам... Щелкунчик... Лимитчик... Босота... Не стыдно?

Удачно, наконец, чиркнув зажигалкой, обвиняемый низко-низко склонился к полным губам смуглянки, обдавая их сигаретным дымом и винным перегаром:

Если старец игрив чрезвычайно,
Если юноша вешает нос,
То обоих терзает их тайно,-
Где бы денег достать, вот вопрос!

Продекламировав хорошо заученное, Шура удовлетворенно хмыкнул, восприняв, как комплимент, отчетливо произнесенное обладательницей полных форм: «Гузган!» (Крыса!) И дальше: «Кучине ту фриешт, пула!»

— Слушай, Некрасов, — подняла после некоторого колебания мрачные глаза на беспечно покуривающего Шурика закутавшаяся в простынь постоялица номера. — Забирай-ка сейчас же свои шмотки и катись отсюда на все четыре стороны...

— Ох... Охренела ты, что ли? — возмущенно задрал кудлатую бородку к потолку изгой. — Я куда тебе в час ночи потащусь? Это же общага, другой конец города! И мосты уже все разведены...

— Да мне по барабану! — наслаждалась жаждой мести смуглянка. — Катись хоть в Неву башкой, мешать не буду. Пигор в мыне — ноги в руки — и давай, жок, жок, веселее отсюда!

— Чума! Крокодил! Чесотка! — не попадая в узкие штанины брюк или попадая обеими ногами в одну штанину, вытанцовывал в темноте «жок» зло шипящий недавний кавалер безжалостной барышни. — Чтоб тебя на том свете черти жарили! — уже с вывернутой наоборот футболкой на голове и в скатку скрученным свитером под мышкой заканчивал пожелания за дверью Шура.

«Красавчик. Фрумос флекэу», — бездумно всматривалась в полумрак с невозмутимым трюмо и абсолютно безразличным к окружающему миру обветшалым мебельным гарнитуром временная хозяйка номера. Та, которую уже отчаялись безуспешно звать бушующие где-то в комнате не вдалеке загулявшие виноделы — участники международного семинара.

И надрывно доносился из плохо показывающего телевизора концерт французской эстрады — звучала песня чудесной маленькой фетицэ, маленькой птички, точнее, маленького врабие, воробышка, Эдит Пиаф — знаменитая ее баллада «Милорд», потаенный смысл которой: как же правильнее жить на свете — с мягким сердцем или стальными локтями?

«Милорд, милорд, милорд, говорят, иногда достаточно одного только корабля, чтобы все рушилось, когда корабль уплывает. Он увез с собой девушку с нежным взглядом, которая не могла понять, что разобьет вашу жизнь... Милорд, милорд, милорд...»





Вера Николаевна Часовских родилась в Нижнедевицком районе Воронежской области. Окончила художественно-графическое отделение Бутурлиновского педагогического училища. Работает преподавателем Воскресной школы. Автор поэтического сборника «Небо у самой травы». Публиковалась в журнале «Подъём». Живет в городе Бутурлиновке Воронежской области.

Вера Часовских

ПТИЦА СОЛНЕЧНОГО ЛЕТА

ПРЕДНОВОГОДНЕЕ

Чуть скрипит далекая околица,
Легким шагом ходят холода...
Что друзья знакомыми становятся —
Это, между прочим, не беда.
Это для меня напоминание
О непостоянстве наших дней
И о том, что будет расставание
С плотью драгоценною моею.
Лишь бы без упреков даже мысленных
Разойтись, без всяческих обид,
Без измены неизменной Истине,
Что и незнакомых нас роднит.
От того не станет меньше радости,
Что декабрьский луч в окне погас.
Нет, не досижу я до двенадцати,
Лягу раньше, может быть, на час.
А моя сосенка невеликая
Будет красоваться, как в бору,
Дивными ажурными снежинками,
Связанными в летнюю жару.

* * *

Светлеют, светлеют туманные дали,
Рассеянный луч через стекла прошел...
Здоровья и счастья вы мне пожелали —
Ну как же привычно, и как хорошо!

Как будто открыты в лазурь голубятни,
Ветра зелены и покосы свежи...
Хотя — с давних пор мне намного приятней,
Когда пожелают спасенья души.

* * *

Ты целый день ворчал направо и налево,
В сознание без огня летал-клубился дым,
Внезапно на меня ты вылил столько гнева —
Я никогда тебя не видела таким.
Обычно говоришь почти благоговейно,
То с нежностью ко мне, то с детской простотой.
И оттого больней. И оттого, наверно,
Иду я, как в бреду, по нашей мостовой.
Повсюду аромат белоналивных яблок,
Да горько мне теперь их сладостью дышать...
Мне шепчут: «Посмотри: любовь его ослабла,
Коль не смогла она от гнева удержать».
«Подумай хорошо: а если повторится?
Где раз, там три и пять — по смертную черту!»
... Жива моя любовь. И гнева не боится.
И верит, что с тобой вовек не пропаду.

ГОРЕ

Не судьба со мною шутит шутку —
Это та же Божия рука,
Что взрастила злак и незабудку,
В море — рыбу, в небе — облака.

Та рука, которая недавно
Так легко спасала от невзгод.
Для меня пока большая тайна:
Почему теперь — наоборот?

Мысли днями носятся кругами,
Да и дни подобны миражу...
Но от горя ватными ногами
Я к иконам все же подхожу.

* * *

Разнообразить жизнь мою хотят,
А ведь она насыщена до края,
И замечает мой спокойный взгляд
Не только на цветах оттенки рая.

Река, румяный лес, фасад резной —
Все дорого, но есть мечты другие:

Ты лишь бы до конца была со мной,
Моя любовь, святая Литургия!

Мне точно воздух — пение твое...
Вот так же птица солнечного лета
Одно и то же каждый день поет,
Но сердцу надоест не может это.

ИКОНА

Когда, готовясь к причащению,
Пленится ум мирскою сказкой,
Есть у меня одно спасенье —
Стать пред иконой Валаамской.

Писал художник невеликий,
Нет драгоценного оклада,
Но в каждом стразе, в каждом блике —
Неугасимая лампада.

Стихают здесь пустые звуки
И волны чувств с безумной пеной,
И я беру Христа на руки
С Пречистых рук Благословенной.

* * *

На исходе сентябрь, потому расцвели сентябрины,
Потому подарили мне их на мои именины,
Прямо в сердце тепло перешло от простого букета,
И прощаюсь я радостно с бабочкой бабьего лета.
Улетает она. И летят, и летят паутины,
Постепенно тускнеют и вянут мои сентябрины,
Лишь тепло не уходит при самой нещадной погоде,
Даже если припомнить, что юность уже на исходе.
Даже если представить, что близко далекая старость,
Или попросту дней, а не лет моих, мало осталось.
Все, что дорого мне, я оставлю с печалью земною,
Ну, а то, что дороже всего, будет вечно со мною.



Николай Кардашов

БЫЛ БОЙ У РАЗЪЕЗДА ПУХОВО...

(Школьная тропинка к истории Отечества)

Листая один из многочисленных школьных учебников истории, с удивлением обнаружил, что о Героях Советского Союза его авторы не обмолвились ни строчкой — будто и не было у великого народа 11600 (!) героических сыновей и дочерей, отмеченных этим высшим званием Родины. Бесчестное время и люди, нечистые на душу, пытаются навязанным нам забвением вычеркнуть из нашей жизни понятия, без которых у любого народа не бывает будущего, — честь, Отечество, патриотизм... Ведь ампутированную память назад не пришьешь, а без нее, как без иммунитета, человек уязвим для любых нравственных хворей.

В истории лискинской земли уже было такое, когда время долго скрывало от людей имя и подвиг человека, на героизме которого могли бы воспитываться настоящие патриоты. Герой Советского Союза лейтенант-танкист Петр Козлов не был известен лискинцам более полувека. Командир роты тяжелых танков «КВ», прорвавшись в январе 1943 года со Щученского плацдарма к разъезду Пухово, ценою жизни своей перекрыл «железку» и шоссе перед отступающими немцами и мадьярами. Тяжелораненый и окруженный ими, более двух часов руководил он боем в подбитом танке, предпочитая смерть плену. Через несколько дней отважный танкист скончался в госпитале, шепча имя едва знакомой ему девушки-медсестры Марии. Спустя месяц его подвиг у Дона был отмечен высшей наградой — золотой Звездой Героя. Но лискинцы ни имени этого, ни подвига танкиста не знали 62 года. Пока не нашлись люди, по долгу совести прошедшие заросшими дорогами к тому январскому бою у железнодорожного разъезда. В марте 2005 года учительница Ковалевской школы Алла Бурляева обошла со школьниками и сотрудниками районного музея все улицы Пухово в поисках старожилов-очевидцев того боя. И нашли людей, не только видевших его, но и знавших героического лейтенанта.

Пуховчанка Мария Науменко, на чьих глазах отбивались от наседавших фашистов окруженные танкисты, рассказала: «Вон из тех вишняков у железной дороги и лупили по нашим танкам супостаты. А в сугробах вокруг них — горы трупов мадьярских. Когда наши подоспели, одного танкиста, всего обгоревшего, в соседнем саду похоронили... А все остальные раненые были». Увы, нет уже в живых Марии Петровны. Но остались на диктофоне Аллы Станиславовны записи ее воспоминаний, восстановивших драматические события того январского боя за железнодорожный разъезд и облегчивших путь школьников-следопытов по следам подвига танкистов.

После публикации в областной газете очерка «У разъезда Пухово» позвонила из Воронежа женщина: «Я знала Петю Козлова...» Это и была та самая медсестра Мария, с именем которой шел в последний свой бой и умер отважный лейтенант-танкист. Чуть позже Мария Дмитриевна Новичихина передаст школьному и районному музеям фронтовые треугольнички последних писем Петра к ней. И станут они, как и воспоминания воронежской медсестры, новыми вешками на пути подвига, которым идут ребята вместе со своей учительницей Аллой Бурляевой.

На месте последнего боя героя-танкиста меж пуховской околицей и железнодорожной насыпью встал гранитный монолит со словами признательности Петру Козлову, впечатанными в памятную доску. А чуть позже въехала на пьедестал и самоходка «Зверобой» — символ немеркнущего подвига танкистов. В появлении этих знаков памяти — заслуга и ковалевских школьников-следопытов.

«Я никогда не думала, что есть еще равнодушные люди, которые в наше время могут кого-то искать, чтобы увековечить память погибших». Эти слова, сказанные 17-летней правнучкой Марии Новичихиной в день торжественного открытия памятника, могли бы стать лучшей наградой питомцам Аллы Станиславовны и ей самой. Но в день этот памятный никто еще и не предполагал, что гранит на окраине станции Пухово жители станут называть «святым камнем», а погибшего за их село псковитянина Петра Козлова — «наш Петя».

Завуч Алла Бурляева цели этой работы формулирует так: «Главная задача школы — воспитать чувства гражданской ответственности и патриотизма, прививать учащимся социально значимые ценности, возрождать национальные традиции». «Если не мы, то кто же?» — так назовут свой бессрочный проект патриотического движения воспитанники Аллы Бурляевой. И станет этот проект не модной инновацией зареформированной школы, а живой работой учителей и детей, подчас рутинной, но такой нужной. Ребятам важно самим понять, что не бывает у истории забытых страниц, а есть желание отдельных «историков» перевернуть наше сознание, лишив его памяти о прошедшей войне.

— Мы начали с самого неотложного — поспешили застать в живых земляков, участников и очевидцев исторических событий в наших селах, — рассказывает Алла Станиславовна. — Вместе с ребятами обошли всех старожилов, подробно записали их воспоминания. Так узнали, что в сельском саду был похоронен механик-водитель одного из наших подбитых «КВ». В военных архивах удалось установить его имя — сержант Сергей Широков. И первая радость удачи — ребята нашли в Подмоскovie его брата, от которого проклятая война более 60 лет прятала место и обстоятельства гибели танкиста. Потом к нему на могилу в Ковалево в каждый праздник Победы приезжал из Домодедово брат Николай...

А к очередной годовщине Острогожско-Россошанской наступательной операции неутомная Алла Станиславовна открыла в школьном музее панораму последнего боя танкистов роты Петра Козлова за разъезд Пухово. ...Хорошо узнаваемая сельская зимняя околица у железнодорожного полотна, обезображенная траншеями и воронками от снарядов. Два обездвиженных советских танка ведут неравный бой в окружении фашистов. Горят крайние сельские избы. Из вишнякак бьют по танкам прямой наводкою тяжелые штурмовые и противотанковые орудия немцев. В сугробах — сраженные оккупанты, так и не сумевшие пленить советских танкистов...

— Ой, як цэ дюже похоже! — всплескивает руками пуховчанка Мария Горелова, в огородах которой на ее глазах и разгорелся тот неравный бой. И утирает концами платочка слезы благодарной признательности учительнице и детям, не видевшим войну, но так правдиво воссоздавшим драму военного лихолетья. Панораму эту ребята делали с помощью учительницы рисования Веры Топоровой около года. А Алла Станиславовна не один раз побывала в магазинах неблизкого Воронежа в поисках подходящих макетов танков, орудий, фигурок танкистов и захватчиков. Перед этим

музей Ковалевской СОШ был признан лучшим школьным музеем Лискинского района и получил краеведческую премию «Золотой Летописец». Вместе со статуэткой «Летописца» руководительнице музея была вручена и денежная премия. Та призовая скромная тысяча плюс деньги спонсоров и были потрачены на изготовление «правдивой панорамы». И идут селяне вперемежку со школьниками посмотреть, как это было у их села в лютом январе 1943-го. Лискинские ветераны в майские дни Победы приезжают сюда поклониться подвигу танкистов-освободителей и рассказать ребятам о своей фронтовой юности.

Из-под спуда времени ковалевские школьники извлекли десятки имен воинов и односельчан, похороненных безымянными в расстрельных ямах хуторов Пухово, Шведово, Путчино, Мелахино... И обелиски с фамилиями убиенных, благодаря им, встали над теми ямами. А ведь могли бы и не извлекать, как и сотни их сверстников, оставляющих у пламени вечных огней лишь бутылки из-под пива да обертки от жвачки. И не спешить к полуслепой землячке Полине Жарой, восстанавливавшей железнодорожный мост через Дон, расчищать дорожки ее двора от снега. И не выходить в канун дня Победы к танку-памятнику у разъезда, чтобы с помощью депутата райсовета Бориса Меняйлова вместе с сотрудниками ГИБДД вручить водителям георгиевские ленточки и листовки с рассказом-напоминанием о подвиге здесь героев-танкистов. И не снимать фильм о защитнице Щученского плацдарма Клавдии Матеркиной. И не делать документальный фильм о подвиге Героя Козлова.

Ребята могли бы играть в компьютерные «стрелялки», а не искать на сайтах Минобороны сведения о земляках, потерявших на войне. И переписка с музеями Пскова и Великих Лук — родиной Петра Козлова — могла бы быть им неинтересна: ведь география интересов многих из нынешней молодежи, к сожалению, дальше пустопорожних тусовок не простирается. Но история края, ее участники и очевидцы не разминулись с ковалевскими ребятами потому, что рядом с ними оказалась зажигательная учительница-подвижница Алла Бурляева. Она ведет своих воспитанников по дороге праведной истории не галочки ради и не ради модных акций-однодневок. Не деля себя на «наших» и иных, ребята принимают за «наше» все, что прошло через биографию их малой родины и большого Отечества. Свое прошлое ковалевские школьники собирают по крупичам своими руками и несут его к людям.

По патриотической тематике питомцы А. Бурляевой становились победителями районного этапа областного конкурса «Гражданин Воронежской области — гражданин России». А Ковалевская имени Героя Советского Союза Петра Козлова школа признавалась лучшей сельской школой России. И сама сельская учительница Алла Бурляева за свои «уроки вне расписания» признавалась обладателем Президентского гранта. Ее имя занесено в районную Книгу Почета в самую уважаемую из номинаций — «За благородство».

...Ее уроки заканчиваются около часа. Но раньше семи вечера Аллу Бурляеву домашние обычно не видят. Потому что вместе со школьниками она после уроков поедет в военкоматовские архивы искать все еще неизвестное захоронение Героя-танкиста. Или снова приедет в Лиски и будет тормозить военкома и районных депутатов, чтобы помогли завязать шефство с армейцами. А то с ребятами отправится в Щучье записывать на диктофон воспоминания последнего живого участника танкового десанта к Пуховскому разъезду. А к концу недели будет в Воронеже уговаривать известного скульптора отлить копию бюста Петра Козлова для выпестованного ею школьного музея. А потом искать у спонсоров деньги, чтобы выкупить этот бюст. Все это не прибавит Алле Станиславовне длинных рублей к скромной учительской зарплате. «Это моя работа. И она мне нравится. Если не мы, то кто же?!», — так просто и категорично объяснила она мне суть своего подвижничества. И понял я, что такие хранители памяти всегда были и будут самым надежным бастионом против «разложения России изнутри», о котором мечтают заокеанские стратеги.



Леонид Античко

СТАРЫЕ ПИСЬМА

Дело было в 1980 году. Я, молодой хирург Воронежской областной клинической больницы, из журнальных публикаций узнал о новой для того времени методике операций на позвоночнике сибирского ученого. Но каждая новая статья профессора порождала новые вопросы, ответа на которые у меня не было. Я взял и написал письмо в Н-ск профессору, автору взволновавших меня статей: так, мол, и так, хотел бы поучиться у Вас. И что удивительно, спустя две недели (почта тогда работала, что ли?) получил я ответ: приезжайте, готовы принять, даже на два месяца, вот только общежития у нас нет, о жилье позаботьтесь сами.

Видимо, судьба мне благоволила. Моя пациентка, которую я очень удачно избавил от серьезной болезни, сказала, что в Н-ске живет ее сестра, которая мне обязательно поможет. Вскоре мне действительно сообщили: жилье есть, можно ехать.

И вот я уже и на месте. Сибиряки встретили меня радушно, даже сводили в театр. А утром следующего дня я встретился с хозяином моей будущей квартиры. Как я догадался, раньше здесь жила его мать, после кончины которой квартира пустовала. Однушка, на окраине города, на первом этаже, минутах в сорока автобусом от центра, где располагалась клиника.

И потянулись дни моей учебы. Это отдельная история. Мне было все так интересно, что я не замечал времени. Никто меня не учил, я ходил на пятиминутки, участвовал в обходах, перевязках, клинических разборах, смотрел операции и впитывал в себя дух той науки, которой я впоследствии посвятил всю свою жизнь. Некоторое время спустя мне разрешили ассистировать на операциях. Не шефу, боже упаси, только его главным ученикам, но и это была великая честь для залетного доктора. В клинике я напал на прекрасную библиотеку, где нашел иностранные журналы по все той же интереснейшей теме и за два месяца проштудировал все, что публиковалось в Америке и Европе в последние двадцать лет. Будучи старым библиотечным «грызуном», я обаял библиотекаря, и они разрешали мне в конце дня забирать журналы домой (из читального зала!), но до 9 часов утра я был обязан вернуть их на место. А еще мне было дозволено делать то же самое в пятницу, но с уговором — утром в понедельник, к открытию библиотеки — как штык!

Так я и жил. В 6 подъем, зарядка, скромный завтрак (чай), дорога в клинику, операции, разборы больных, обед в столовой, дорога домой, где я сидел допоздна за иностранными журналами, умная на собственных глазах...

В интенсивном научном поиске я прожил несколько недель. И однажды вдруг ощутил, что все это мне... надоело. Видимо, объелся. Ну, в смысле гранита науки, который я грыз с остервенением. Захотелось как-то отвлечься... Но в моем жилище

не было ни телевизора, ни радио или полки с книгами. Тоскливо побродив по комнате, я вспомнил, что в шкафу, в дальнем углу, где лежал мой чемодан, я видел какие-то письма. Вытащив пакет, завернутый в ветхую газету, обнаружил фронтовые треугольники...

Письма были адресованы женщине, в квартире которой я жил. Муж, ушедший на фронт, писал ей с начала войны. «Участников переписки уже нет, — думалось мне. — Никому не сделаю плохого, если прочитаю эти письма. Просто посмотрю и аккуратно сложу, как было...» Но незатейливые, искренние строчки так увлекли меня, что я их читал взахлеб, некоторые перечитывал, и все время меня не оставляла мысль, как же мы мало знаем о самом главном. Как было...

27 октября 1941 года

Добрый день или вечер! Здравствуй, дорогая моя семья: супруга Мотя, сынок Митя, дочки Катенька и Светочка, мамаша Наталия Артемовна, сестра Маруся! Шлю Вам свой сердечный привет и желаю доброго здоровья. Многолюбящий Вас Ваш муж, отец, сын и брат Василий. Во первых строках своего письма спешу уведомить Вас, что я в настоящее время нахожусь жив и здоров. Того же и Вам желаю — всего наилучшего в Вашей дальнейшей жизни. Пишите, как Вы живете, убрали ли огороды, как запаслись на зиму. Пишите подробно, как Ваша жизнь и жизнь в селе? И вообще обо всех новостях...

Должен сказать, что разместился я хорошо. Определили меня в школу кухонных работников. Дело житейское, я не возражал — куда поставят, там и служи. Обмундирование выдали по аттестату, кормят хорошо, благо по пищевой части нас и учат. Скажу — непросто. След знать, сколько на бойца положено крупы, макарон или тушенки и готовить правильно. От неправильной кормежки может упасть боеготовность, а это на войне дело подсудное. Так нам начальник объяснял. Занятия продлятся еще с месяц, а затем нас в войска — обеспечивать бойцов вкусной и здоровой пищей.

Ну, кончаю письмо. Днями вышлю посылочку, здесь все так делают. Будьте здоровы, не хворайте. Ваш сын, отец и муж Василий.

5 декабря 1941 года

Добрый день, дорогая моя супруга Мотя! Шлю я Вам свой супружеский привет. Еще кланяюсь маме и сестре Марусе, деткам Кате и Светочке и сыну Мите и шлю я Вам всем свой армейский фронтовой привет и желаю доброго здравия в Вашей дальнейшей жизни.

Сообщаю, что, закончив учебу по части поварской с отличными отметками, я нахожусь в действующей армии. Расположение и назначение дело секретное, но скажу — не волнуйтесь, находится мой объект в безопасности. Работы, конечно, много, всех накорми да напои. Но снабжение у нас отличное, забота командования о бойцах в полном обеспечении боеприпасами, обмундированием и едой. Вчера еще Вам послал 350 руб., как получите, так напишите, чтобы я не сомневался. Каждый месяц я буду переводить Вам, сколько могу, может быть, хоть эти малые средства составят Вам какую материальную помощь. А мне деньги абсолютно не нужны. Покупать здесь нечего. В лесу нет ни магазинов, ни ресторанов. Со здоровьем у меня хорошо, даже поправился, а вот Вы, мама, легкие берегите, помните, как всю зиму кашляли? И, Мотя, береги детей, я днями посылку вышлю с тушенкой, Вы такую и не видели. А нам дают от пуза. Одет я тепло: хорошая шуба, шинель, ватные куртка и брюки, новые валенки и теплые рукавицы. Морозы у нас стоят крепкие — 35-38 градусов, но они нам ничем. Но больше и писать нечего.

Засим остаюсь со скучным приветом. Ваш муж, сын, отец и брат Василий.

12 февраля 1942 года

Добрый день или вечер! Здравствуй, дорогая моя семья: супруга Мотя, сынок Митя, дочки Катенька и Светочка, мамаша Наталия Артемовна, сестра Маруся! Шлю Вам свой сердечный привет и желаю доброго здоровья. Многолюбящий Вас Ваш муж, отец, сын и брат Василий. Сообщу, что жив, здоров, варю супы и каши, а кроме кухонной работы были стрельбы. Командир сказал, чтоб не забыли мы при котлах про войну. Я охотник заядлый, мне это легко. Выбил 28 из 30. Начальник говорит, надо мне в снайперы. Я не прошусь, и не возражаю, наше дело маленькое, хотя на кухне спокойнее.

Мотя, не написала, получили ли посылку? Нас кормят хорошо. А к новому году я послал тебе денег 350 руб., но не знаю, получила ли ты их или же нет. Сообщи, получаешь ли ты деньги по аттестату, и вообще, как у тебя в материальной жизни отпиши, в чем нужда. Мне здесь хватает. Ты спрашиваешь, как с мытьем? Умываюсь, Мотя, регулярно, руки моем по пять раз на день. Чистота у меня на пищеблоке, что в санчасти. С этим у нас строго. Также и с бритьем и стрижкой. Гигиена называется, вернусь, расскажу.

Остаюсь со скучным приветом, Ваш сын, отец, муж и брат Василий.

20 июня 1942 года

Добрый день, дорогая моя супруга Мотя! Шлю я Вам свой супружеский привет. Еще кланяюсь маме и сестре Марусе, деткам Кате и Светочке и сыну Мите и шлю я Вам всем свой армейский фронтовой привет и желаю доброго здравия в Вашей дальнейшей жизни.

Мотя, как я соскучился без Вас, без своих деточек. Наверное, они теперь стали большие. Вот косил бы я в поле, а девочки мне обед принесли, какое счастье! Доченьки мои милые, отпишите, наверное, Вы ходите за ягодами и за грибами. Мотя, часто думаю о тебе, о детях. Эх, война. Но, Гитлер за все ответит, мы еще ему в грудь кол-то осиновый забьем!

Мотя, ты обижаешься, что не писал долго. Не обижайся. Война дело серьезное, нашего брата забрасывает, куда ни попадя. А есть такие места, откуда и не напишешь — не дозволено. На то существует порядок. А наше дело маленькое, нельзя так нельзя. Благо при кухне находимся, сыты и в безопасности. А так, ребят побило много, но о том не буду. Нам в атаку не ходить, а если что — автоматы рядом, патронов без меры, отобьемся!

Вы все в добром здравии. Это для меня самое главное и радостное.

Остаюсь со скучным приветом Ваш сын, отец, муж и брат Василий. По секрету — старшина, отметили мой труд на благо Родины.

4 октября 1942 года

Здравствуй, семья: любимая моя жена Мотя, сынок Митя, дочки Катенька и Светочка, мамаша Наталия Артемовна, сестра Маруся! Шлю Вам свой сердечный привет и желаю доброго здоровья. Многолюбящий Вас Ваш муж, отец, сын и брат Василий. Еще кланяюсь тете Шуре и свату Петру. Спасибо за последние ласковые и нежные письма. Продолжай, Мотя, в том же духе и в том же роде, но только не забывай — вкладывай в каждое письмо по чистенькому листочку бумажки, с бумагой бывает туго. Письма Ваши перечитываю по многу раз, а вот фото выслать не могу — негде и нечем здесь снимать, так что смотри почаще на ту карточку, где мы с тобой и с малыши. Я думаю, я такой же.

Мотя, прошу тебя и маму больше следить за малышами, а то они могут быстро простудиться, а Вы, милые мои младшие, без разрешения мамы и бабушки как летом на улицу не бегайте, надо одеваться. Помогите старшим копать картошку, не давайте

ни одной картошке пропасть, ибо она Вам пригодится. Надо помнить, что война, берегите и сохраняйте каждое зернышко.

Мотя, я Вам послал посылку 5 килограмм. Консервы не наши, Вы таких не видели, белого материала и одну наволочку на перины. Хотел послать мыла и сахарку — было больше 5-ти килограмм, пришлось все это вынуть обратно.

Остаюсь со скучным приветом, Ваш сын, отец, муж и брат Василий.

31 декабря 1942 года

Добрый день или вечер! Здравствуй, дорогая моя семья: супруга Мотя, сынок Митя, дочки Катенька и Светочка, мамаша Наталия Артемовна, сестра Маруся! Шлю Вам свой сердечный привет и желаю доброго здоровья. Многолюбящий Вас Ваш муж, отец, сын и брат Василий.

Мотя, спасибо за письма, получил сразу два. Прочел, все узнал о Вашей жизни и сейчас же пишу ответ. Поздравляю Вас с Новым годом и желаю Вам всего наилучшего. Я встречаю Новый год хорошо. В настоящее время наша часть громит оккупантов, на Новый год сделали себе подарок, выбили гадов из важного места, какого, все расскажу опосля. К празднику разрешили доппаек, кому радость, а нам на кухне, сама понимаешь, строгий подсчет — чтоб никого не обидеть. Но, слава Богу, и мы не обижены. В свободное время решил написать письмо. Пишу письмо в 10 часов вечера 31 декабря. Скоро разгромим немцев и вернемся по домам, к своим родным с Победой. Остаюсь со скучным приветом, Ваш сын, отец, муж и брат Василий.

10 апреля 1943 года

Привет с фронта! Здравствуй, многоуважаемая супруга Мотя, сынок Митя, дочки Катенька и Светочка, мамаша Наталия Артемовна, сестра Маруся. Во первых строках моего небольшого письмаца разрешите передать Вам пару ласковых слов и наилучшие пожелания Вашей тыловой жизни.

Мотя, сообщаю Вам о том, что я сегодня получил от Вас 5 писем, за которые очень и очень благодарю. Мотя, пару слов о своей жизни: в данное время жив-здоров, самочувствие хорошее. Вы все в добром здравии — это для меня самое главное и радостное. Я сегодня видел тебя во сне всю ночь. Только засну — и опять вижу... Чтоб все сбылось, мы и воюем, бьем фашистских извергов так, чтобы наши удары были чувствительными фрицам и гансам, и всем тем, кто смел нарушить нашу счастливую мирную жизнь.

Мотя, еще Вы интересуетесь моим званием, так сообщаю: мое звание — старший лейтенант. Вот и на моей спокойной службе замечают и повышают. Не зря говорят — живи по уставу, завоюешь честь и славу. А что до наград, привезу покажу, есть немного, не последний Ваш папка. Мотя, пока все. Остаюсь со скучным приветом, Ваш сын, отец, муж и брат Василий. Живите не тужите, ожидайте с победой домой. Жду ответа, как соловей лета.

12 августа 1943 года

Добрый день, мои дорогие! Здравствуй, дорогая моя семья: супруга Мотя, дети Митя, Катенька и Светочка, мамаша Наталия Артемовна и сестра Маруся! Шлю Вам фронтовой привет, желаю доброго здоровья. Многолюбящий Вас Ваш муж, отец, сын и брат Василий. Во первых строках своего письма сообщаю, что я жив и здоров. Мотя, в письме ты спрашиваешь, как у нас с питанием. Питание сверхотличное. Кушаем сало свиное, мясные, рыбные консервы, бекон. Консервы получаем и наши и американские, очень хорошие, Вы такие не кушали. Согласно преискуранту солдатам положены витамины, значит — овощи: капуста, свекла, мор-

ковь, картошка. Также положены и жиры — комбижир, сливочное масло. Подумаете, что я обманываю! Нет, это правда, нас, фронтовиков, так и кормят, Родина заботится о нас. Я как специалист по питанию чувствую это лучше других. Жарю, парю, все для Победы!

Семью не забываю. Высылаю Вам посылочку — продукты, что не испортятся, и 350 рублей. Остаюсь Ваш любящий сын, муж, отец и брат. Берегите себя. Жду ответа, как соловей лета. Василий.

6 ноября 1943 года

Добрый день или вечер! Здравствуйте, дорогая моя семья: супруга Мотя, сынок Митя, дочки Катенька и Светочка, мамаша Наталия Артемовна, сестра Маруся! Шлю Вам свой сердечный привет и желаю доброго здоровья. Хочу поздравить Вас с праздником 7-го Ноября, с 26-й годовщиной Октябрьской социалистической революции. Пару слов о себе. Я пока живу, все по-старому... Мы уже воюем далеко от дома. Бои идут жестокие и кровопролитные. Озверели немцы, из последних сил стремятся приостановить наше наступление, но под натиском наших войск никакие преграды немчуры не устоят. Здесь стоят туманы, дуют холодные ветры. В чужой стране всегда холодно. Как хочется увидеть родные края!

Мотя, соскучился я, вот часто вечером закрою глаза, как будто по хате, по двору пройду. Сколько дел у Вас, и все в одни руки. Жди. Приду, все переделаю. Так руки по работе скучают, а душа по тебе, по детям...

Но, думаю, недалеко до встречи.

Все письма, что я получил от Вас — я их берегу в конверте. Иногда, время от времени, я их вынимаю и смотрю, и вспоминаю тебя, Мотя, своих деток, наше село. Мотя, ты спрашиваешь, в чем моя служба, так отвечу — простая, так же все в обозе, даром, что война, все у нас тихо, да спокойно. Конечно, начальство, дисциплина. Но есть и радости. Мы уже бьем врага на чужой земле, есть и трофеи. Я чудную материю припас тебе в подарок, платье будет, вся деревня ахнет. Ты ж у меня, Мотя, красавица. Жди с подарками.

О себе. Здоровье прекрасное. Ну, вот у меня пока все, что и хотел сообщить. Остаюсь со скучным приветом, Ваш сын, отец, муж и брат Василий.

29 декабря 1943 года

Здравствуй, семья: любимая моя жена Мотя, сынок Митя, дочки Катенька и Светочка, мамаша Наталия Артемовна, сестра Маруся! Шлю Вам свой сердечный привет и желаю доброго здоровья.

Поздравляю с наступающим Новым, 1944 годом, нахожусь на фронте уже за границей. Вот сподобился за границу повидать. Митя, наверное, уже совсем большой, помощник мамке. Митя! Мы тут у врага мотоциклет отбили, ну, не мы, конечно, а разведчики наши, так это, скажу тебе, зверюга. Нам бы в хозяйство такой. Скоро будем и в Германии, и тогда закончим войну и вернемся домой с полной победой над врагом. Надеюсь, в Новом году добьем гитлеровскую сволочь. Отольются немчуре наши слезы!..

Сегодня я иду на выполнение боевой задачи, бить фашистских извергов, бить так, чтобы наши удары были чувствительными фрицам и гансам и всем тем, кто смел нарушить нашу счастливую мирную жизнь. Этого от меня требует наша Родина, любимый Сталин. И я, мои родные, не пожалею своих сил и самой жизни выполнить приказ Родины и любимого Сталина.

Ну, вот у меня пока все, что и хотел сообщить. Остаюсь со скучным приветом, Ваш сын, отец, муж и брат Василий.

Я дочитал это, предпоследнее письмо. Вот и до границы добрался солдат, трофейные подарки готовит домой. В обозе, на пищеблоке всю войну, видимо, судьба такая. И звание получил, и награды. Надо же.

Что-то здесь я не понял! Простой деревенский мужик, без образования и военной подготовки — и вдруг старший лейтенант! Что за пищеблок он возглавляет, где офицерские звания раздают?

24 июля 1943 года был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР, которым впервые в армии и флоте устанавливалось четкое деление военнослужащих на рядовой, сержантский, офицерский состав и генералов. Этим Указом в РККА и РКВМФ впервые было закреплено наименование «офицер», а все воинские звания стали именоваться офицерскими званиями.

Указ определял новый порядок присвоения воинских званий. Если раньше первичное офицерское звание могло быть присвоено всем зачисленным в кадры армии из числа рядового и младшего начальствующего состава, то теперь в офицеры производились лишь военнослужащие, получившие соответствующее военное образование, и только в исключительных случаях допускалось присвоение первичного офицерского звания военнослужащим без военного образования за проявленное ими особое умение командовать в бою.

Взяв в руки последнее письмо, я увидел незнакомый почерк. К почерку Василия я уже привык, и отчего-то сжалось сердце...

Здравствуйте, многоуважаемая Матрена Петровна!

Пишет командир подразделения, в котором отдал свою жизнь цветущую Ваш муж Василий Митрофанович Сырых. Примите от нас всех, уважаемая, сердечный боевой привет.

Я чувствую Ваши переживания при получении известия о героической смерти Вашего мужа. И при получении этого письма Ваше женское сердце заставит рыдать Вас о человеке, дороже которого нет ничего на свете.

Мы прошли с ним дорогами войны тяжелые три года. Уже в июле 1941 года Василий был отправлен в специальную школу подготовки разведчиков. Пригодились его навыки лесного человека, умение читать следы, маскироваться и снайперское владение оружием. С осени 1941 года Василий служил в полковой разведке вначале рядовым, а затем командиром группы разведчиков. И не было у нас более удачливого командира, всегда его группа возвращалась без потерь. А вот в апреле прошлого года сам Василий был тяжело ранен, ребята вынесли его, и почти полгода лечился он в госпитале, комиссовать хотели, так нет — сбежал и продолжил службу.

Я был свидетелем последних его часов, минут жизни. Утром 30 декабря Василий пришел ко мне. Принес к нам кролика за уши, после внес ему свежей капусты. Мы все смеялись над его шутками. После — попрощавшись, пошел. Шел мимо нашей артбатарей — командовал: «За меня 2 снаряда беглым, огонь!» После пошел на выполнение боевого задания. Спокойно прошел ручеек и у маленького болотца вдруг упал. Шедший с ним связной побежал. Нам было видно, как пули вражки всплескивали воду при подползании связного к старшему лейтенанту. Пули не дали возможности вынести его. Прибыл и доложил: «Старший лейтенант, наверное, убит. Крикнул: «Ой!» и при оклике ничего не ответил».

Двое назвали вынести его. Взяли его в палатку, принесли к нам. Василий Сырых, простреленный вражьей пулей в левую сторону — ниже грудной клетки — лежал безмолвным. Не было ничего печальнее, как остаться без него — всегда веселого, смелого командира. Узнавши, остальные — никто не верил, что не стало Василия. Печаль овладела всеми. От передовой на машине увезли его за 10 км в тыл, где готовились к похоронам его. А мы на передовой готовились к залпу в честь нашего командира. В 12.00 31 декабря 1943 года по телефону командира части была передана

команда: «За смерть лучшего офицера части по фашистам — огонь!» Снявши головные уборы, ждали команды «Вольно». Это были последние минуты, когда мы в последний раз отдали честь Василию. После я ходил на кладбище, где он похоронен. За стеклом его фото, бугорок из земли разукрашен цветами.

Прислали Вы письмо на имя Василия от 8/XI. Получил его я 8 января 1944 года. В это время решил дать ответ. Я хотел написать Вам немедленно, но как-то не мог, потому что знал, что это принесет Вам много слез. Так я думал до сегодняшнего дня, и при получении Вашего письма даю ответ.

Я жизнь Вашего мужа Василия знал как никто. Знаю Вас, что он Вам писал, знал о семье. Жил он при мне, обращался ко мне. Я его уважал и любил. Я сам на 2 года старше Вашего мужа. Сам из Рязанской области. Вот уже второй год как старший лейтенант, участвую в боях с первого дня войны. Был ранен, дважды награжден орденами. Фотографии после его смерти у меня есть, и я храню их как память лучшего боевого друга.

Ну, вот у меня все. С уважением к Вам, Матрена Петровна.

Иван Семенович Расторгуев.

Пишите. Всегда отвечу.

8 января 1944 года.





Александр Сергеевич Высотин родился в 1936 году в селе Круиша Панинского района Воронежской области. Окончил отделение журналистики Воронежского государственного университета. Работал в районных и областных газетах, собкором газеты «Труд». Публиковался в коллективных сборниках публицистики и прозы, в журнале «Подъём». Член Союза журналистов России. Живет в Воронеже.

Александр Высотин

РАТНЫЕ ПОЛЯ РОССИИ

Эссе

**БОРОДИНО:
«ИЛЬ ПОВЕДИТЬ, ИЛЬ ПАСТЬ...»**

“Все ожидали боя решительного. Офицеры надели с вечера чистое белье, солдаты, сберегшие про случай по белой рубашке, сделали то же. Это приготовление было не на пир! Бледно и вяло горели огни на нашей линии, темна и сыра была с вечера ночь на 26 августа...

Я слышал, как квартирьеры громко сзывали к порции: «Водки привезли; кто хочет, ребята! Ступай к чарке!» Никто не шелохнулся... слышались слова: «Спасибо за честь! Не к тому изготовились. Не такой завтра день!..» — так будет позже вспоминать один из командиров Бородинского боя, военный историк, поэт Федор Глинка.

...Подмосковный октябрь 1941 года был хмурым, промозглым. На пожухлых травах лежал иней, ветер нес желтые листья по схваченным ледяной коркой лужам. Немецкие танки оставляли в них свои черные парные следы с раздавленным тонким льдом и вдавленными желтыми листьями. Вместо былых тихих и затаенных переключек истовых любителей-грибников слышался танковый рев, разносимый осенним эхом.

Бородинское поле в октябре 1941 года... Поляны, холмы, ручьи, леса — ландшафт — как тогда, в 1812 году. И как тогда предстояло вновь повториться судьбе Бородинского поля — стратегического пункта, лежащего на пути к Москве...

Необходимость решительного сражения назрела по всем тактическим, стратегическим обстоятельствам, всей философии Отечественной войны 1812 года, где уже главенствовали особое духовное настроение русского народа, его солдат:

Что ж мы? На зимние квартиры?
Не смеют что ли командиры
Чужие изорвать мундиры
О русские штыки?..

Бои, конечно, были: Смоленск, Салтановка, Валутина Гора, Лубино...

Среди тех сражений — бой в селе Красное, что в полусотне верст от Смоленска. Здесь и показали, «что значит русский бой удалый!»

27-я пехотная дивизия была сформирована из рекрутов Московской губернии, обучена в старании генерал-майором Дмитрием Петровичем Неверовским с подчиненными ему офицерами. Когда был получен приказ выдвинуться в места дислокации 2-й армии Багратиона, то эту дивизию по степени подготовки стали называть в первопрестольной не иначе, как «московская гвардия».

К началу августа 1812 года стало совершенно ясно, что основные силы армии «двунадесяти языков» стремятся к Москве. По прямой. А прямая та пролегла от Витебска, где сконцентрировались французы, по Старой Смоленской дороге к Смоленску, который как получил когда-то прозвище Ключ-город, так и оставался таковым.

На Старой Смоленской дороге и предстояло 27-й пехотной дивизии ждать основные силы Наполеона и его элитную гвардию. И не просто ждать, а воспрепятствовать продвижению французов. Даже с приданными дивизии несколькими пушками артиллерийской роты, Харьковским драгунским полком, несколькими казачьими сотнями нашего войска выходило негусто: восемь тысяч — против десятков тысяч!

14 августа в 9 утра казачьи разъезды стали срочно докладывать: движется огромная масса неприятельских соединений. Вскоре конные колонны французов растеклись по полю перед селом и, едва успев перестроиться в боевой порядок, с ходу ринулись в атаку. Смяли эскадроны харьковских драгун и ворвались в село Красное. Генерал понял, что села не удержать, а самое важное — как можно дольше удержаться на дороге к Смоленску. Полки построились в каре и начали отход...

Памятуя о суворовской школе штыкового боя, командир дивизии Неверовский еще при обучении рекрутов особенно внимательно инспектировал и следил за тренировками. Теперь Дмитрий Петрович по-отечески попросил: «Ребята, помните, чему вас учили. Никакая кавалерия не победит вас. Не торопитесь в пальбе, стреляйте метко...»

Потерявший самообладание маршал Мюрат раз за разом посылал кавалерийские строи на русские каре. И раз за разом элитная французская конница откатывалась. Пехота Неверовского в течение пяти часов — с двух до семи пополудни — выдержала более 40 атак!

Мюрат потом вспоминал: «Никогда не видел большего мужества со стороны неприятеля». «Это было отступление льва», — вторили маршалу офицеры.

В штаб-квартире Наполеона царило недоумение. Бригадный генерал из наполеоновской свиты Филипп-Поль де Сюгер отметил в мемуарах, что государь никак не мог поверить в то, что блестящим корпусам Мюрата противостояла одна единственная дивизия русских, состоявшая из вчерашних новобранцев.

В русском лагере тоже потом не поспешили на похвалы. Многие повидавший Багратион писал в донесении: «Дивизия новая Неверовского так храбро дралась, что и неслыханно. Можно даже сказать, что и примера такой храбрости ни в какой армии показать нельзя...»



Бородинское поле сегодня

Французы прекратили насаждать, когда уже стало темнеть.

27-й пехотной дивизии до Смоленска оставалось 25 верст. 15 августа в три часа пополудни с запада, у смоленских посадов, появилась пехотная колонна... Вот он, встрепенулись в дозорах, француз! А оказалось: к городу подходят батальоны Неверовского...

«Я помню, какими глазами смотрели на эту дивизию, подходившую к нам в облаках пыли и дыма, покрытую потом трудов и кровью чести. И каждый штык ее горел лучом бессмертия!» — так писал о возвращении 27-й в Смоленск не склонный к лишним сантиментам боевой офицер Денис Давыдов.

Дивизия потеряла 1,5 тысячи солдат и 20 офицеров — оставшиеся в строюполнили ряды защитников Смоленска и еще три дня бились, защищая русский Ключ-город. Примет участие 27-я пехотная дивизия и в Шевардинском сражении. Но если из села Красное Неверовский увел большую часть дивизии, то здесь им была уготована иная судьба. Тут они стояли в буквальном смысле этого слова насмерть. Сам Дмитрий Петрович Неверовский напишет о той битве по-военному скупо: «Неприятель атаковал... и я был первый послан защищать батарею. Страшный и жестокий был огонь. Несколько раз у меня брали батарею, но я ее отбирал обратно. 6 часов продолжалось сие сражение в виду целой армии... Накануне сражения дали мне 4000 рекрут для пополнения дивизии; я имел во фронте 6000, а вышел с тремя. Князь Багратион отдал мне приказом благодарность и сказал: «Я тебя поберегу».

Берегли всего в течение полутора суток: в Бородинском сражении остатки 27-й пехотной дивизии попали в самое пекло — на Семеновские флешы...

Поле, на котором произошло определяющее сражение Отечественной войны 1812 года, расположилось у села Бородино в 125 верстах западнее Москвы («И вот нашли большое поле, // Есть разгуляться где на воле!») Офицеры, посланные Кутузовым выбирать место для боя, остановились на нем потому, что оно было большим, — 9 километров по фронту и 2 с половиной километра в глубину — а еще, сближаясь здесь, вели к Москве Старая и Новая смоленские дороги. Принято было во внимание и тактическое преимущество: правую часть Бородинского поля выгодно прикрывала река Колоочь.

...Продуваемое ветрами Бородинское поле в октябре 1941 года казалось пустынным, но готовым к исторически повторному Бородинскому бою. Только, если в 1812 году на Бородинском поле сошлись 132 тысячи русских солдат с 624-мя орудиями и 135 тысяч французских с 587-ю орудиями, то осенью 1941-го здесь было сравнительно немного войск. По двум значимым обстоятельствам. Во-первых, войска все еще подтягивались, во-вторых, столько, сколько требовалось, тающий резерв дать не мог. Фронты этой, новой Великой Отечественной войны развернулись от Белого до Черного моря...

«Между тем мы подошли к Бородину: эти поля, это село мне были более, нежели другим, знакомы! Там я провел и беспечные лета детства моего, и ощутил первые порывы сердца к любви и славе. Но в каком виде нашел я приют моей юности! Дым отеческий одевался дымом биваков..., ряды штыков сверкали среди жатвы, покрывшей поля, и громады войск толпились на родимых холмах и долинах... Там, на пригорке, где некогда я резвился и мечтал..., там закладывали редут Раевского. Завернутый в бурку и с трубкой в зубах, я лежал под кустом леса за Семеновским, не имея угла не только в собственном доме, но даже и в овинах», — строки из «Дневника партизанских действий 1812 года» Дениса Давыдова. Глубинно эти чувства герой Отечественной войны 1812 года поэт Денис Давыдов выразил и подкрепил стихотворением «Не хочу высоких званий», где честно заявил:

Не хочу высоких званий,
И мечты завоеваний
Не тревожат мой покой!
Но коль враг ожесточенный
Нам дерзнет противустать,
Первый долг мой —
Долг священный
Вновь за родину восстать!

Как все большое рождается из малого, так и большое чувство любви к Отчизне рождается изначально из любви к своей малой родине с ее милыми приметами. А если эта твоя малая родина подвергается смертельной опасности? Тогда абстрактное чувство любви к большой своей Родине, высокое слово «патриотизм» еще более наполняется реальным пониманием: защищать предстоит конкретный «пригорок, где в детстве резвился и мечтал...» Не эти ли приметы и есть подлинные истоки героизма любого поколения, вступившего за Отчизну свою, в том числе и порыв представителей золотой молодежи той эпохи, очаровательных, не только с виду, франтов. Это о них проникновенно, чисто, нежно сказала Марина Цветаева в стихотворении «Героям двенадцатого года»:

Вы, чьи широкие шинели
Напоминали паруса,
Чьи шпоры весело звенели
И голоса,
И чьи глаза,
как бриллианты,
На сердце оставляли след, —
Очаровательные франты
Минувших лет!..
Вас охраняла
длань господня
И сердце матери, — вчера
Малютки-мальчики,
сегодня —
Офицера!

Однако не случайно потом было сказано:

Не зависит совесть от режима,
Не уходит гордость в каждый род,
Если кровь кричит неудержимо:
Благородство, Родина, народ.

Надо отдать должное и тому, как оперативно (большевики это умели завидно делать!) было использовано не так давно допущенное слово «Родина» для поднятия патриотического духа.

С первых дней Великой Отечественной войны героическое прошлое России моментально затмило прошлое царской России, усердно до этого критикуемое...

22 июня 1941 года заместитель Председателя Совнаркома СССР и нарком Иностранных дел В.М. Молотов, выступая по радио в связи с вероломным нападением германских войск, для подтверждения уверенности в том, что агрессор получит сокрушительный удар, использовал следующий исторический факт:

«Не первый раз нашему народу приходится иметь дело с нападающим зазнавшимся врагом. В свое время на поход Наполеона в Россию наш народ ответил Отечественной войной и Наполеон потерпел поражение, — пришел к своему краху. То же будет и с зазнавшимся Гитлером, объявившим новый поход против нашей страны. Красная Армия и весь наш народ вновь поведут победоносную Отечественную войну за Родину, за честь, за свободу».

(За 6 лет до этого в Медвенском районе Курской области был уволен из районной газеты Константин Воробьев, будущий автор повести «Убиты под Москвой», «за преклонение перед царскими генералами», которое свелось — всего-то! — к усердному увлечению историей Отечественной войны 1812 года.)

7 ноября 1941 года газета «Правда» публикует статью писателя Алексея Толстого «Родина»: «Земля отчич и дедич немало поглотила полчищ наезжавших на нее насильников... Наша родина ширилась и крепла, и ничего не могло пошатнуть ее... Так было, так будет. Ничего, мы выдюжим».

1 января 1944 года при первом исполнении Государственного гимна СССР первая строка припева мощно звенит словами: «Славься, Отечество наше...»

Издательства начали выпускать карманным форматом и большими тиражами биографии Суворова, Кутузова, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, адмиралов Нахимова, Ушакова.

Ввели погоны, хотя в годы гражданской войны этот отличительный символ офицеров Белой армии красные изничтожали презрительным словом «белопогонники».

Писатель Анатолий Ананьев, автор романа «Танки идут ромбом», свидетельствовал: «Во время войны, например, в 1943 году, когда ввели погоны, мы особенно почувствовали себя — корнями связанными с прошлым нашего государства, с его патриотической историей, в которой были и Куликовская битва, и Полтава, и Бородино, Суворов, Кутузов, Нахимов...»

Конечно, было бы неверно сказать, что мы одержали победу только потому, что надели погоны; но что это помогло нам одолеть врага, бесспорно и неопровержимо. Думаю, не случайно были введены и ордена Суворова, Кутузова, Александра Невского; уже одни имена эти напоминали нам о славе русского оружия, о сражениях, в которых русские люди отстаивали свое отечество. Говоря иначе, мы осознали себя в середине того нелегкого пути, какой выпал на долю нашего народа, и причастность к этой общей, живой и могучей силе, удвоила, утроила, удесятирила наши...»

И Бога вспоминали. И не только пожилые и взрослые советские бойцы, в детстве прикоснувшиеся к вере, но и...

В ночь, когда нас бросили в прорыв,
был я ранен, но остался жив,

чтоб сказать хотя бы о немногом.
Я лежал на четырех ветрах,
молодой, безбожный вертопрах,
почему-то береженный Богом.

«Безбожные вертопрахи» мудро и оперативно прозревали, вбирая историческое прошлое России и примиряя его с настоящим, постигая, что есть воистину русский человек на войне. Об этом очень искренне сказал фронтовик-поэт Михаил Кульчицкий:

Не до ордена,
Была бы Родина
С ежедневным Бородино...

...От Вязьмы противник прорвался вперед, и западнее Бородино натолкнулся на передовые части 32-й Дальневосточной стрелковой дивизии. Накануне эта дивизия — одна из лучших в Красной Армии, громившая японских милитаристов на Хасане, — прибыла под Москву с Дальнего Востока. И тотчас по распоряжению Ставки заняла оборону на Можайском рубеже. Кроме нее оборону здесь держали танковые бригады, артиллерийские полки, народные ополченцы. Подразделения дивизии спешно зарылись в землю.

Бородинское поле хранило память о бое 1812 года местными названиями рек, ручьев, холмов и долин: река Война, ручьи Огник, Стонец, холм Редутный, лес Запасной, луга Заредутные...

И на все смотрел с высоты русский орел на памятной колонне близ села Горки, где в 1812 году находился командный пункт Кутузова. Напротив памятной круглой колонны на западе поля придавлено к земле лежал монумент Наполеона...

Окопы и траншеи осенью сорок первого года были вырыты среди памятников, установленных в честь героев 1812 года. А командный пункт командира 32-й стрелковой дивизии полковника Виктора Ивановича Полосухина разместился в том самом месте, где был командный пункт Кутузова...

Когда Виктор Иванович Полосухин узнал, что его дивизии предстоит занять оборону в центре исторического Бородинского поля, он сказал то, что и должно в этом случае: «Эту высокую честь и доверие оправдаем. Будем сражаться не на жизнь, а на смерть, но приказ выполним».

— Священное место, — неустанно повторял он потом офицерам и солдатам. — На таком поле нельзя плохо драться с врагами. Надо сразиться так героически, как предки наши сразились в Бородинском бою...

Военные историки дотошно и точно исследуют все обстоятельства накануне Бородинского боя, емко обозначенными поэтом, певцом Бородинского боя, поручиком Михаилом Лермонтовым: «И слышно было до рассвета, // Как ликовал француз».

«Ликовал француз» от предвкушения победы 41-летнего императора Наполеона, который не спал, боясь, как бы неприятель снова не ушел, как до этого, отходя, уклонялся от решающего боя, ускользая огромным войском, словно то был небольшой отряд.

Не спал и 67-летний Михаил Илларионович Кутузов, назначенный главнокомандующим русской армией всего три недели назад.

И вот в утренней мгле гаснут костры, начинается движение полков по всему фронту. За первыми орудийными выстрелами с обеих сторон огневая канонада...

«Я уснул, как теперь помню, когда огни один за другим стали сниматься, а заря начала заниматься. Скоро как будто кто толкнул меня в бок. Мнимый толчок, веро-

ятно, был произведен сотрясением воздуха. Я вскочил на ноги и чуть не упал опять с ног от внезапного шума и грохота. В раскаленном воздухе шумела буря. Ядра, раскрывая и срывая наши шалаши, визжали пролетными вихрями над нашими головами. Гранаты лопались. В пять минут сражение было уже в полном разгаре», — это свидетельство Федора Глинки. И далее, как в лермонтовском «Бородино»:

Земля тряслась — как наши груди;
Смешались в кучу кони, люди,
И залпы тысячи орудий
Слились в протяжный вой.

...На Бородинском поле продолжила сражаться прославившая себя 27-я пехотная дивизия под командованием генерал-майора Дмитрия Петровича Неверовского. Не раз он лично ходил в штыковую атаку. Его походный сюртук оказался простреленным в трех местах. И лишь после того, как получил контузию от ударившего в руку ядра, на простой крестьянской телеге Неверовский был отправлен в лазарет.

«...С отменной храбростью исполнял все обязанности как храбрейший и достойнейший генерал», — скажет о нем сам Кутузов.

А их, отличившихся, были тысячи и тысячи в тот грозовой день — день Бородинского боя...

Поручик Карабын, «получивши четыре контузии, несмотря на то, что его орудия были отправлены для перемены подбитых лафетов, продолжал со вверенных ему орудий поражать неприятеля с отличной храбростью».

Корнет Елисаветградского гусарского полка Магнушевский «со взводом отлично храбро врубился в неприятельскую кавалерию и пехоту и опрокинул оную, причем ранен пулею».

Штабс-капитан Киевского полка, уроженец Острогского уезда Захар Константинович Сомов «с отличной храбростью с командуемым им эскадроном отражал от батареи неприятельскую пехоту» на Шевардинском редуте. В Бородинском бою был контужен, за храбрость награжден орденом. Он продолжит воевать, отличившись еще и при взятии Парижа. Имя воронежца было упомянуто на одной из 177 мраморных досок в храме Христа Спасителя.

Наградками отметили и солдат. Среди награжденных — солдат Сергей Суворин. Он потом будет ранен, выживет, вернется в строй, станет долго служить, получит офицерский чин, дослужится до небольшого дворянского чина. У Сергея Суворина на Воронежской земле родится сын Алексей, который станет первым пером русской журналистики, известным книгоиздателем.

Поразительно храбро действовало и высшее офицерство:

И.С. Дорохов. «Из усердия преодолев болезнь... командовал лично в сей знаменитый день своею бригадой легкой кавалерии, атаковал и преследовал неприятельских кирасир...»

А.П. Ермолов. «...Когда неприятелю удалось взять центральную батарею, ... то сей генерал кинулся сам вперед, ободрил своим примером солдат, и вмиг сия батарея опять была взята, и неприятель... весь истреблен...»

П.П. Коковцын. «3-я дивизия под его предводительством отняла обратно взятые высоты».

А.Н. Остерман-Толстой. «Примером своим ободрял подчиненные ему войска так, что ни жестокий перекрестный огонь неприятельской конницы не могли их поколебать».

Н.Н. Раевский. «Как храбрый и достойный генерал с отличным мужеством отражал неприятеля, подавая собой пример».

«...С 5 часов утра заревел бой и загудели пушки. Я был в стрелках на левом

фланге, командовал цепью 2-го батальона и был ранен в левое плечо, пуля осталась в лопатке. Тут же ранили и князя Багратиона», — просто напишет о своем участии в Бородинском бое воронежец Аполлон Никифорович Марин, автор знаменитых потом воспоминаний в стихах «Русские богатыри — заветная книжка для ратных людей и народа русского».

После Отечественной войны 1812 года, герой Бородина, генерал-лейтенант и кавалер ордена Святого Георгия Аполлон Никифорович Марин проживал в Воронеже. У дома, где Марин жил, висел пудовый колокол, отлитый из французской пушки с Бородинского поля. В этот колокол, по прошествии каждого часа, звонил сам хозяин или его слуга. Вот так славил свою победу русский человек!

На войну с Наполеоном патриотический Воронеж отправил тогда 3-й и 4-й егерские полки по 1987 нижних чинов в каждом. Обмундирование, амуниция и обозы для них были приобретены за счет дворянства на сумму 150 тысяч рублей. Боевое снаряжение, провиант и жалование вновь прибывших сформированных полков обеспечивалось за счет государственной казны. В августе егерские полки выступили в поход. И сам Кутузов признал, что «по прибытию их в армии при осмотре моем 15 сентября 1812 года найдены, что они в столь короткое время хорошо образованы и что большая часть людей стреляет довольно хорошо».

После боя 1812 года на поле Бородино французы потеряли убитыми и ранеными 58 000 солдат и 49 генералов. Победы не было...

Потери русской армии тогда составили 44 000 солдат убитыми и ранеными, из строя вышли 23 генерала. Дух победы не был потерян...

В эпопее «Война и мир» об этом осознании духа победы той и другой стороной написано: «Не один Наполеон испытывал то похожее на сновидение чувство, что страшный размах руки падает бессильно, но все генералы, все участвовавшие и не участвовавшие солдаты французской армии, после всех опытов прежних сражений (где после вдесятеро меньших усилий неприятель бежал), испытывали одинаковое чувство ужаса перед тем врагом, который, потеряв половину войска, стоял так же грозно в конце, как и в начале сражения. Нравственная сила французской, атакующей армии была истощена. Не та победа, которая определяется подхваченными кусками материи на палках, называемых знаменами, и тем пространством, на котором стояли и стоят войска, а победа нравственная, та, которая убеждает противника в нравственном превосходстве своего врага и в своем бессилии, была одержана русскими под Бородино. Французское нашествие, как разъяренный зверь, получивший в своем разбеге смертельную рану, чувствовало свою погибель; но оно не могло остановиться, так же, как и не могло не отклониться вдвое слабейшее русское войско. После данного толчка французское войско еще могло докатиться до Москвы; но там, без всяких усилий со стороны русского войска, оно должно было погибнуть, истекая кровью от смертельной, нанесенной при Бородино, раны. Прямым следствием Бородинского сражения было беспричинное бегство Наполеона из Москвы, возвращение по старой смоленской дороге, погибель пятисоттысячного нашествия и погибель наполеоновской Франции, на которую первый раз под Бородино была наложена рука сильнейшего духом противника».

Об этом и документальные подтверждения непосредственных участников Бородинского боя. Сам Наполеон отмечает: «Из пятидесяти сражений, данных мною, в битве под Москвой выказано наиболее доблести и одержан наименьший успех». Французский офицер Поль Ложье пишет в дневнике: «Какое грустное зрелище представляет поле битвы! Никакое бедствие, никакое проигранное сражение не сравнится по ужасам с Бородинским полем...»

С французской стороны Бородинский бой — упрямая любовая атака на русские позиции. Вернее, затяжная серия непрерывных любовых атак — ни одной пресловутой наполеоновской хитрой придумки. «Высокая стратегия» Бонапарта состо-

яла в самоуверенном расчете на силовое превосходство, позволяющее непременно покончить на Бородинском поле с «ускользающим противником», покончить с русским сопротивлением и принудить Россию к позорному миру.

Что до Кутузова, он первые часы после окончания Бородинского сражения был убежден, что безусловно победил. В частном письме к жене, 29 августа (по старому стилю) Кутузов пишет: «Я, славу богу, здоров, мой друг, и не побит, а выиграл баталию над Бонапартием».

В рапорте, в столицу Петербург, императору Александру I Главнокомандующий русской армией изложит, как намерен действовать далее: «...Когда дело идет не о славах выигранных только баталий, но вся цель будучи устремлена на истребление французской армии, ночевав на месте сражения, я взял намерение отступить 6 верст, что будет за Можайском, и, собрав расстроенные баталией войска, освежа мою артиллерию и укрепив себя ополчением Московским, в теплом уповании на помощь Всевышнего и на оказанную неимоверную храбрость наших войск, увижу я, что могу предпринять против неприятеля...»

Как стратег Кутузов оказался проницательнее. Он понимал, что судьба военной кампании 1812 года не решится под Москвой... Готовя в Тарутинском лагере губительное для наполеоновских войск контрнаступление, Кутузов писал: «Река Нара станет для нас так же знаменита, как Непрядва, на берегах которой погибли бесчисленные полчища Мамая». Так пример предков, не давших победить себя золотоордынскому мечу на Куликовом поле, вдохновлял солдат Отечественной войны 1812 года.

Александр I негодовал, узнав, что Кутузов ушел из Москвы, не попытавшись ее оборонять. Известно, что победителей не судят: через пару месяцев Кутузов раздавил «великую армию».

Война калечит душу каждого и всех его участников, но больше всего души людей, души завоевателей, особенно когда в захватническом походе сопутствуют удачи. И закономерно, что в 1812 году «цивилизованные» французы и иже с ними оказались куда хуже «русских варваров». Это теперь за давностью лет и присутщей чертой русского народа не помнить зла, не вспоминаются учиненные при нашествии Наполеона в Россию бесчинства, грабежи, насилия, убийства мирных жителей. Именно такое поведение «цивилизованных» французов и иже с ними соратников и вызвало у «русских варваров» такую форму народного патриотического сопротивления захватчикам, как партизанское движение. И это — при вполне серьезных обещаниях Наполеона отменить крепостное право, а оккупированной Москве быть «суверенной» и с собственной конституцией.

С чувством проснувшейся вины за причиненное зло напишет, например, в частном письме адъютант известного французского генерала Деллан: «В Москве, это сущая правда, мы грабили, жгли, разрушали эту великую столицу и причинили непоправимое зло России; однако Русская армия... отступила в организованном порядке и заманила нас в глубь страны, откуда... по всей вероятности, не выйдет ни один из нас. Наша армия сократилась в 4 раза. Мы были вынуждены покинуть Москву... из-за отсутствия продовольствия и фуража. Я не в силах не погружаться в скорбь, когда смотрю на этот огромный город, который... теперь являет собой груды развалин. Проклинаю войну и государей, что играют счастьем, судьбами и жизнью людей; проклинаю, наконец, свою собственную судьбу, которая сделала меня орудием несчастья целого народа...»

Вся та война 1812 года, которая возвеличится до имени «Отечественная», признана жертвенностью русского народа. Расхожее мнение, что «Наполеон бежал из Москвы до реки Березины без оглядки» опровергают реальные факты. Наполеон вывел из Москвы 100 тысяч боеспособных солдат. На Березину же привел 30 тысяч. Можно было бы радоваться, две трети отстали, замерзли, заблудились. Не

совсем так: Кутузов из Тарутинского лагеря вывел армию в 120 тысяч солдат — на ту же Березину привел 80 тысяч. А ведь Кутузов солдатскими жизнями не швырялся.

Денис Давыдов, которому надоедят ссылки на «капрала Мороза» (в 1941 году немцы станут называть его «генерал Мороз») как главного виновника всех неудач французов, отложив поэтические упражнения, напишет статью «Мороз ли истребил французскую армию в 1812 году?» После Березины, писал Денис Давыдов, действительно «настала смертоносная стужа». Да только «армии, в смысле военном, уже не существовало, и ужасное явление природы губило уже не армию, способную маневрировать и сражаться, а одну сволочь, толпы людей, скитавшихся без начальства, без послушания, без устройства, даже без оружия».

И все же, если без запальчивости, преследование армии Наполеона — была тяжелейшая военная операция сама по себе. К тому же она проходила для преследующей противника русской армии также в тяжелых условиях: тыл отставал, не поспевал, порой приходилось обходиться одним мерзлым картофелем. Не было в достатке для русского войска теплой одежды и обуви. Русская привычка к морозам вовсе не избавляла от необходимости иметь теплую одежду и надежную обувь. Требования Кутузова обеспечить армию полушубками и валенками не были полностью выполнены в губерниях. Поэтому и у русских, преследующих французов, тоже было много больных и обмороженных. Все эти трудности и преодоление их русскими людьми лишь возвышает подвиг русской армии в 1812 году.

И неменьший духовный подвиг русских офицеров и солдат — разительное отличие поведения русских, «этих дикарей», за границей и в Париже от поведения французов в России и особенно в Москве.

Русские, вступив в 1814 году в Париж, никого здесь не расстреляли, ни одной церкви не осквернили, ни одной лавочки не ограбили. Когда роялисты пытались в угоду русским крушить памятники Наполеону, то сами русские их и оттесняли, оставив охрану из казаков и пехотинцев. Чтобы предотвратить конфликты с бонапартистами, офицерам было приказано переодеться в гражданское платье...

В Париже росс! — где факел мщенья?
Поникни, Галлия, главой.
Но что я вижу? Росс с улыбкой примиренья
Грядет с оливою златой.
Еще военный гром грохочет в отдаленье,
Москва в унынии, как степь в полнощной мгле,
А он — несет врагу не гибель, но спасенье
И благотворный мир земле.

Это строки из стихотворения «Воспоминания в Царском Селе» Александра Сергеевича Пушкина.

Настоящий патриотизм есть — любовь к своей стране, а не ненависть к чужой...

Все меняется на земле по велению времени. Одно неизбежно сменяется другим. Старое поколение сменяется новым поколением. И каждое новое поколение приносит в этот мир что-то свое, отличительное. Не меняется для всех поколений только обязанность — защищать свое Отечество. Каждая война, это очевидно, не бывает похожей на предыдущую войну своей тактикой, стратегией, техникой. Не похожи по житейским обстоятельствам, менталитету, общественному сознанию и защитники Отечества — они же и участники войн. Неизменно только для всех для них остается проявление героизма, что было очень зримым, когда ДВЕ войны за Отечество, ДВА разных поколения свело ОДНО поле русской ратной славы — Бородино. И в 1812 году, и в 1941 году: «Клятву верности сдержали в Бородинский бой».

...В полдень 13 октября 1941 года над Бородинским полем, раньше, чем к нему приблизились танки фрицев, появились «юнкеры» и «мессершмитты». Потом пошли танки...

В полосе обороны 2-го стрелкового батальона 17-го полка 32-й Дальневосточной дивизии комбату капитану Петру Ильичу Романову была придана противотанковая батарея на предполагаемом прорыве немецких танков. И они появились, оглушая ревом, стеля желтый дым понизу, стреляя на ходу, по две машины в ряд. Из множества открытых люков высовываются танкисты в кожаных куртках, видимо, чтобы воочию увидеть, как они сейчас будут давить этих русских солдат в их окопах с невысокими насыпями впереди, как и обещалось в разбрасываемых немецких листовках: «Поедут наши таночки // Раздавят ваши ямочки...»

Припав к панораме орудия, наводчик Кравцов быстро поймал в перекрестие прицела первый танк. Командир расчета Харинцев скомандовал:

— Огонь!

Оглушительно хлопнул пушечный выстрел — первый артиллерийский выстрел 32-й Дальневосточной дивизии. За первым выстрелом последуют еще и еще — и подкрепятся на Бородинском поле, в Подмосковье, слова гимна дивизии «Дальневосточная — опора прочная...»

Головной танк дернулся, заелозил, потом замер на месте и загорелся. Подбиты были прямой наводкой и следующие. Та же участь постигла и мотопехоту гитлеровцев.

Командир стрелковой роты лейтенант Кузнецов, воспользовавшись сумятицей у фашистов, повел подразделение в атаку. 150 трупов захватчиков остались лежать на шоссе. Это было реальное подтверждение решимости бойцов отстоять Москву, или, молча, стиснув зубы, или, припевая «Мы не дрогнем в бою за столицу свою...»

16 октября 1941 года колонна немецких танков все-таки сумела зайти в тыл 32-й дивизии в восточной части Бородинского поля. Комдив Полосухин привел в действие всю боевую технику, все тыловые подразделения, штаб дивизии.

При отражении танковой атаки особенно отличился артдивизион, которым командовал капитан Василий Александрович Зеленев. Этот дивизион вел огонь с позиций, где в 1812 году находилась знаменитая батарея Раевского. В этом бою на Бородинском поле капитан Зеленев был смертельно ранен.

На Бородинском поле мужество и волю явил командующий 5-й армией генерал-майор Лелюшенко. Когда при очередной атаке фашисты прорвались на его НП, Дмитрий Данилович мгновенно призвал находившихся вблизи бойцов и повел их в контратаку. В рукопашной командарм был ранен, но не покинул поле боя. Подбежавшим к нему с носилками санитарам дал знак остановиться, продолжая руководить боем.

Бойцы и командиры начали забрасывать бутылками с горючей смесью немецкие танки, прибывшие на выручку пехоте.

Лишь только после того, как командарм потерял сознание, его эвакуировали в медсанбат.

В медсанбате, когда Дмитрий Данилович Лелюшенко пришел в себя и узнал от начальника штаба, что фашисты не прошли через Бородино, то боевой генерал, не раз смотревший смерти в глаза, растроганно сказал: «Никогда я не был так счастлив...»

В музее боевой славы Бородинского поля среди документов о Бородинском бое 1812 года и 1941 года в газете малого формата напечатано следующее стихотворение:

Не французские уланы
с пестрыми значками,
драгуны с конскими хвостами,
А танки фрицев, огонь высекая
из башен, на полном ходу
подкатывают к Бородину...

Стихотворение, явно написанное в подражание «Бородино» и с явным желанием проследить нерасторжимую связь героизма русских солдат и советских бойцов, заканчивалось так:

Смело вы, советские бойцы,
Клятву верности сдержали
В свой Бородинский бой!

Тут же, в музее, соседствовали документы и экспозиции Бородинского боя 1812 года с документами и экспозициями боев на Бородинском поле осенью 1941 года, что и было подтверждением нерасторжимой героической связи русских поколений двух Великих Отечественных войн.

И другое, тоже потрясающее, совпадение между вероломным нападением Наполеона на Россию и вероломным вторжением Гитлера в Советскую Россию.

Император Наполеон, невзирая на все предложения, сделанные ему Россией, предложения, отклоняющие всякую войну, сближал многочисленные свои армии к Висле. Под предлогом вступить в мирные переговоры, он послал своего уполномоченного в город Вильно. И пока тот находился здесь, корпуса французской армии форсированными маршами приблизились к Неману и в ночь с 11 по 12 июня без всякого объявления войны начали военные действия (через 129 лет, тоже в июне, так же поступит Гитлер по отношению к СССР).

Главный удар французских войск был направлен на Москву: «Я поражу Россию в сердце», — сказал Наполеон.

Планы Гитлера еще губительнее: «Речь идет не столько о разгроме государства с центром в Москве, — говорилось в гитлеровском плане «Ост». — Дело скорее заключается в том, чтобы разгромить русских как народ, разобщить их».

Союзная и покоренная Европа тоже поставляла Гитлеру живую силу: до двух миллионов человек, так что, как и при Наполеоне, это было то же нашествие «двунадесятых языков».

...Танки, которые в стихотворении, «огонь высекая из башен, на полном ходу подкатывают к Бородину», были танками 4-й танковой группы генерала Гепнера 4-й танковой армии фельдмаршала Клюге.

Естественно, что автор стихотворения не мог знать, что в 1941 году французы вновь появились у Бородинского поля. Судя по этой акции, равной фарсу истории, немцы все-таки знали прошлое, но уроков из него не извлекли и, подражая бонапартистам, повторили судьбу французской армии. А уж подражали и в большом и в малом: немецкие генералы любили останавливаться там, где квартировал Наполеон, продвигаясь вперед по России. Начиная бросок танками на Москву, прежде всего через Бородинское поле! Немцы пустили здесь в «первом эшелоне» французов-коллаборационистов. Сам фон Клюге держал демагогическую речь перед тем, как пустить французов в наступление на Бородино. Французов было четыре батальона, столько лишь удалось наскрести в оккупированной фашистами и охваченной Соппротивлением Франции. Этим четырем батальонам Клюге патетически напомнил, как при Наполеоне французы и немцы сражались бок о бок, умолчав, чем закончились «великие дела» Наполеона.

Все и повторилось в 1941 году так, как и в 1812...

Французский легион пошел в наступление, но при первой же контратаке со-

Вместе с тем уже тогда виделась (еще более кричащая в наши дни) забота о продлении во времени для памяти потомков «правды войны», запечатленной в литературе и искусстве (и не запечатленной, живущей изустно, тоже).

В самом деле, к чему творческие мучительные описания «правды войны», «окопной правды», к чему подлинные свидетельства героизма и пафоса, присутствующие рядом с этой «окопной правдой», если то и другое сметет «оскорбительный ветер забвенья»?

Об этом прежде всего строки Александра Твардовского из стихотворения «Я убит подо Ржевом»:

Нам свои боевые
Не носить ордена,
Вам все это, живые,
Нам — отрада одна:
Что недаром боролись
Мы за Родину-мать.
Пусть не слышен наш голос, —
Вы должны его знать,
Вы должны были, братья,
Устоять как стена,
Ибо мертвых проклятье —
Эта кара страшна!

Во многих произведениях, военных и мирных, звучит серьезное предупреждение о том, что потеря обществом исторической памяти изменяет менталитет народа, разоружает его вначале духовно, а затем и в полном смысле этого гибельного слова...

Мужество воинов победоносно, если есть заранее забота о мощи Отечества, о ее главных союзниках — армии и флоте. Забота не только власти, но и граждан ее.

У Василия Розанова — об этом с излишним пафосом, но очень точно: «Что обеспечивает независимость государства? Сила, хорошая вооруженность, а внутри — патриотизм. Закованное в железо и с хорошо бьющимся сердцем — оно непобедимо». Если по-другому, то останется лишь сетовать:

Мы дышим — от войны и до войны,
Страхнем с колен — и снова на колени.
Мы притерпелись в пятом поколеньи.

Сложно подсчитать в каком поколении, но случилось то, что случилось. Вдруг оказалось, по замечанию одного поэта, «*Сколько нас, нерусских, у России...*» Не по национальности — по духу, по чувству патриотизма. Упрекая Россию, что она стала «маленько не такая», что, по верному самокритичному определению другого поэта, «так ведь и мы не те...» А есть и те самые, кто, используя современные технологии, социальные сети и Интернет, пытаются уничтожить в России русский дух, российский менталитет, умалить в памяти то великое, что есть у нас — Великую Победу.

Начиная от наскоков блогеров: «Я не вижу ничего хорошего в выигрыше СССР Второй мировой», до осуждений (в прямом телевизионном эфире) предков за то, что они не поддались полякам еще в 1612 году, потом французам в 1812 году, не распластались перед Европой.

Усиливается дискредитация Великой Победы исподволь и дискредитацией маршала Победы Георгия Жукова, заверившего Верховного Главнокомандующего, что «Москву мы отстоим». Когда исподволь, когда прямо, то, упрекнув за жесткость, то за личные качества и обстоятельства личной жизни посредством сериала...

А как вам попытки поставить на одни весы истории гитлеровскую Германию и Советский Союз. На это есть хороший ответ Юнны Мориц:

Мы Гитлеру равны?
Да он — родной ваш папа!
Теперь вы влюблены
В культурный слой гестапо.
И в следующий раз
Мы спросим вас любезно:
Как драться нам железно
И умирать за вас,
Чтоб было вам полезно?
А мне, мерзавке, жаль,
Что гибли наши парни
За бешеную шваль
На русофобской псарне!

Но страсти одной только Юнны Мориц маловато в том гвалте, который ведет либеральная прозападная пятая колонна по всем направлениям, в том числе и по дискредитации Великой Победы.

Дело приняло такой невиданный оборот, что пришлось на родине победителей принимать закон об уголовной ответственности за посягательство на историческую память в отношении событий, имевших место в период Второй мировой войны. Закон законом, а дело каждого, кому дорога память о ратных делах отцов и дедов, освоить науку отеческой памяти и осмыслить собственное деяние.

Мы должны сохранить память о Победе, о тех, кто не постоял за цену, заплатил собственными жизнями: «Устоять как стена, // Ибо мертвых проклятье — // Эта кара страшна!» Это, слава Богу, видит патриотическая общественность.

Русский мир, уникальную русскую цивилизацию хотят уничтожить. Как минимум ослабить, как максимум переделать, изменить наш исторический код и наши ценности. Случившиеся трагические события на Украине имеют вполне конкретных организаторов и вполне конкретную цель. Цель — похоронить память о победах России. А что имя России без побед?..

Остается по примеру наших предков выдюжить, потому что:

За нами родная страна,
За нами — Россия.
Так нам ли ее предавать,
Попавшую в горе, ее, как
Больную и нищую мать?
Ведь мы — не изгой!
Никто ей теперь, кроме нас,
Не мессия.
Нельзя проиграть нам сейчас:
За нами — Россия.

Как та, историческая, Россия, за которую сражались предки на ратных полях, которая была спасена их деятельной любовью к Отечеству, так и Россия нынешняя может быть спасена только такой же деятельной любовью. Любовью, которая не дается вместе с оружием, обмундированием, регалиями и званиями — она накапливается заранее. Нынешнему молодому поколению в условиях виртуального мира и мировой глобализации это сделать труднее и — легче, имея пример ровесников, для которых прошлое и настоящее на Великой Отечественной войне 1941-1945 годов возвысилось в себе до неразрывного духовного и патриотического единения с Отечеством:

Была бы Родина
С ежедневным Бородино.



Александр Мальцев

НЕ ЗАБЫВАЕТСЯ

(Украинский разлом проходит
через человеческие судьбы)

У же столько времени никнет Россия к экранам телевизоров, жадно впитывая новости. В голове не укладывается жуткая трагедия Украины. Националистически настроенные украинские силовики творят что-то ужасное с городами и жителями Донбасса. Для меня лично эта беда персонифицирована: многие мои родственники издавна живут на Украине, да и сам я давно духовно сроднился с этой прекрасной страной. Оттого так больно душе: почему так случилось, так стало?!

Лет в пять или шесть я впервые увидел Киевский вокзал. Поезд, на котором ехали мы на Украину — так тогда говорили — с дедушкой Макаром и бабушкой Мариной, звался в простонародье «Киевским». По нему мы пацанвой ориентировались, когда гнать коров домой на обеденную дойку: подходит по высокой насыпи на первый путь «Киевский», значит, пора.

Билеты покупали в окошечке с дверкой у близкой подруги моей матери кассирши тети Дуси. Она еще спросила деда: «К кому ж это вы на Украину-то, Макар Павлович?» — «Сына Тишку попроведать надоть, — гордо пояснил кассирше дед. — Он у меня в тамошнем колхозе скотину лечит». На родной станции Нижнедевицк после полудня погрузились с гостинцами в вагон, а уже на другой день перед обедом разглядывали Киевский вокзал. Запах у него был какой-то особенный, с привкусом романтики дальних дорог и еще чего-то особенного. Голос диктора как из поднебесья, грянул и напугал неожиданностью. Мне показалось, долетал он до самых отдаленных уголков не только этого величественного здания, но слов сообщения я не понял.

Дед прореагировал беспокойством, обращаясь к бабушке: «Нето Тишка-то наш попривык к ихним колы-булы, мать-и-так?» «Мать-и-так» у моего деда было единственной, но часто употребляемой эмоциональной присказкой в словесном обиходе.

Уличный свет из огромных окон дополнялся мягким светом от больших шаровых светильников со стен и лестничного марша. Глазая по сторонам, впитывал я диковинности увиденного. Наш любимый привычностью деревянный станционный вокзальчик, если верить надписи на металлической табличке, построенный в 1898 году, освещался еще керосиновыми лампами, а тут роскошь-то какая!

На привокзальной площади трамвайное кольцо. Трамваи на нем, повизгивая колесами и позванивая, разворачивались. Точно такие тогда были и в Воронеже.

Даже ехали в одном с теткой Настей в толчее пассажиров. Бабы всю тетку завидовали. «Какая молодая, — говорили, — какого сына себе вырастила». Тетка Настя, еще и замуж не выходявшая, молча краснела и улыбалась.

Из первой поездки в Украину, хотя и мало, но кое-что запомнил. Именно с тех пор и навсегда остался во мне певучий язык Украины и голос улыбчивой тетки Розы, жены Тихона: «Сидай, будемо исты... Бай дюже, яка гарна...» Новые слова вводили меня в украинскую мову стремительнее всякого обучения. «Що, що ты казав?» — переспрашивала тетка Роза, когда я невольно вставлял в свою речь украинское слово.

Здесь я познакомился с еще одним дядей — Петром. Отсидев срок за какую-то провинность и сойдясь с украинкой из этих мест Марией, он приехал сюда из России первым, позже пригласив брата Тихона. Не хотел, видимо, позорить в деревне отца и моего деда своей прошлой ошибкой — уехал с глаз подальше. Работал машинистом узкоколейного паровозика на сахарном заводе. Как-то показал он мне свой паровозик. На улице тридцатиградусная жара. В кабине у топки под шестьдесят, в сумме все девяносто получатся. Изо дня в день кипение в аду. Позже я сообразил: обычный локомотив в пути на хорошей скорости обдувается встречным ветром, а маневровый, ползающий по заводскому двору туда-сюда, нет. После работы, повечеряв, лез дядя в круг месить ногами глину, покуда жена Мария мазала сарай. Колы вин робыв и на паровози, и в кругу глины, с длинного его носа сбегали и падали наземь большие капли пота.

— Тяжка ты, глиняная праца, — влезая в круг, приговаривал дядька Петр. Тихону как-то сказал, показывая на меня: «Дывись, який хлопец вымахал, я уезжал, он тики титьку дудолит. Як времечко штримаэ». Это он отсчитывал по мне бег времени в Украине. Дядя говорили-размовлялись на смеси украинских и российских слов, перевирая те и другие. Потом уже говорить на каком-то одном языке они не могли.

Через «долину» по огородной тропке приходила маленькая пожилая женщина — теща Тихона. Завидев ридну маты, Тихон морщился: «Счас заспивае, як ей важко». Но звал-величал маму так, как требует народный обычай этих мест, только на вы. Уходил на работу со своим ветеринарным чемоданчиком даже летом затемно, приходил где-то в девять, в десять завтракать, принося на себе специфический запах лекарств и скотины. Отдыхал на досках крашенного в синий цвет диванчика, «вытягнув ратицы» и подремывая часа два, а то и три. И уходил опять до вечера. По соседним селам ездил на рессорной двуколке. Говорил: «Пийшов конякой до...» И называл село: чи до Манькивки, чи до Саботиновки, чи ще як.

Жили мы тогда в одной стране; и русские, и украинцы, и грузины, и армяне, и еще много какие народы и народности. Страна одной семьи, для которой общим домом была Россия. Одни песни пели, один хлеб ели... Тогда у меня и сложилось:

Рельсы и рейсы, столбы и вокзалы,
Люди в вагонах с горилкой и салом.
Звякнет стыками стайка стаканов:
Там полустанок, тут полустанок...
Державно протопчут весом колеса:
Туда к дядьям, оттуда к крестной.
Хруст позвонками составов от веса:
С хлебом по рельсам, с лесом по рельсам.
Рельсы в Воронеж, в Киев рельсы, —
Явью и сталью, одним интересом.
Редко промчится мимо порожний;
Воронеж—Киев, Киев—Воронеж...

Ни лях, ни литвин, ни швед, ни турок не стал украинцам братом, а нам и становиться было незачем — мы исторически братья по вере, по крови, по духу, по языку. Как и полагается братьям, нередко подшучиваем друг над другом по-братски. «Тату, тату, — вбегает запыхавшийся малец, — москали у космос политэли». Тату поднимает очки на лоб: «Уси?» Или сышлем в адрес друг друга снисходительный юмор: «Украинцы живут на Украине, а хохлы где лучше».

На Украину я ездил часто, но особо запомнилась поездка на свадьбу к Тихонову-старшему. Двоюродный брат мой Сашко лет на шесть меня моложе, учился тогда в Белоцерковском ветеринарном институте. По приезде я тихонько спросил Тихона о причине спешки.

— Авансировала дивчина хлопца, вот и погнали галопом, — ответил он.

Дом культуры был полон. Жених в черном и невеста в белом. На сцене стол под темно-красной бархатной скатертью, кругом цветы. В торжественной тишине мягким женским голосом полилась-зазвучала чистая украинская речь: «Шановний Саша, шановна Валя...» — так вроде бы запомнилось. «До чего же мягко, чисто и выразителен язык!» — поразился я тогда. Гости полезли за платочками, заслезили, засморкались чувственно, вкушая мед пожеланий.

На улице не удержался, спросил тетку Розу: «А на каком языке книги читаются больше?» «А все на русском, — ответила Роза. — В селе знает украинский язык директор школы. Может, еще кто... не знаю. На украинском труднее понимается». Я тогда подумал: нет его никакого отдельно украинского языка, есть диалекты русского в Вологодчине, в Архангельске, в Сибири, в Украине, в низовьях Волги и Дона. Есть говоры московские, воронежские, горьковские и чуть ли не каждого села.

Даже в глубинке говорят на диалекте — смеси из украинского и русского. Тихон легко читал и понимал газеты на украинском, растолковывал непонятные мне слова, но говорить продолжал на «варварском» наречии. В последние приезды украинским языком я уже пользоваться не пробовал. Роза Яковлевна спросила о причине. Я пожал плечом, потому что и сам не знал, почему — сместилось что-то в душе и все тут.

После разора девяностых и Украину постигли упадок и обнищание. Быстро стали пустеть села, повалилась и потеряла прежний веселый вид уличная городьба, крашенная когда-то хозяевами по-особому. Хаты свои хохлушки белить по весне в разные цвета перестали. Облупились они, стали похожи на русские избы нерадивых хозяек в глухих деревнях.

Пересекал Украину в последний раз на автомобиле маршрутом: Воронеж — Курск — Киев — Одесса — Николаев — Днепропетровск — Харьков — Белгород — Воронеж. Видел все своими глазами и поражался незавидным переменам. Тогда посетил и Киево-Печерскую Лавру. И здесь былого благолепия и святости не ощущалось — горнее трансформировалось в обыденность из-за нарастания церковного раскола.

Уже на подъезде к Киеву забеспокоила проблема топлива, «палева» по-украински. Посоветовали попытаться заправить бензином машину в Умани. В Умани добыл десять литров. Там тоже посоветовали... и пошла езда на советах с сидениями на канистре, с унижительным выклянчиванием и даже ночевками возле заправок.

Дядя мой Тихон Макарович хоть и постарел, духом не падал, много шутил, вроде бы и не произошло никаких разделов.

— А шо ты, Сашко, зажурывся; пей, гуляй... — и подливал из заварочного чайника горилку в чайные чашки. «Ну, за твое...» — Поостыв и наговорившись, вновь предлагал: — Пидэмо, чайку...

На подъеме от речушки Ятрань остановил гаишник, заходил кругом, по-бабьи запричитал, прежде чем оштрафовать: «Як вин раскатывся, як вин...»

«Хохлы несутся мимо — не нарушают, а вот москаль даже ползком — взял и нарушил!» — думалось, но я молчал.

В Одессе уже тогда движение было таким, как у нас сегодня, с большим количеством иномарок. Выехал на окраину в мокрой от пота волнения рубахе. После Одессы на крохах бензина и советах полз до Белгорода. И только заправившись «сколько надо» в Белгороде, с каким-то надрывом облегчения души ощутил: дома я, в России я, до-о-ма!

Уже вроде бы отошли времена односторонней холодной войны с натовским блоком. В Украине же на нас уже вешали всех собак без разбору — и украинский голодомор, устроенный, по мнению новых властей, москалями, и исторические несправедливости влияния востока на тяготеющих к западу бедных украинцев. Везде втолковывали молодежи и детям в школе, что вот пришли хорошие немцы освободить их от плохих русских, а плохие русские не дали, что кормить москалей бедные украинцы замучились... Двадцать с лишком лет подряд бубняжа одного и того же так, будто не было никогда ни Переяславской Рады, ни Богдана Хмельницкого. И памятника ему никогда не было и нет в центре Киева на площади, ни долгой счастливой совместной жизни...

А сегодня укры (изобретение украинских историков) ночами снятся украинским детям, нашептывая им, что корень у украинцев един с арийцами, а не какими-то там кочевниками-скотоводами и жуками-земледельцами. И вселяется в детские души восторг превосходства и над этими русскими, и над «сбродом колорада» Донецка и Луганска.

Мы в этой информационной войне многое проморгали, пронадеялись на братские симпатии, и проиграли. Проиграли, и это оказалось главным стержнем ненависти к русским, выстроенном на лжи и подтасовке дирижерами процесса. Так начинал Наполеон, свой поход оправдывая необходимостью защиты Европы, которую Россия должна захватить якобы по завещанию Петра Великого. В Германии потом Гитлер подхватил фальшивку. Его последователи в Украине идут тем же путем, на те же грабли наступают. Ложь стала частью политики не только Украины...

Два моих племянника и племянница служат в украинской армии. Племянница после университета не от хорошей жизни, надо полагать, пошла рядовой, племянники — один майор связи, второй — подполковник разведки. После хорошей чарки хорошей украинской горилки задал я им тогда прямой вопрос в лоб: «Есть ли в украинской армии оперативные разработки в отношении России, как в отношении вероятного противника?» Хлопцы побожились: нэмае! Есть только экономические предположения. Это мои родственники по линии моей матери.

Отцовы же сестры — мои тети — уехали еще в тридцатые сталинские годы на Донбасс. С невероятными трудностями там они обустроились, освоили шахтерские профессии, нашли мужей — русских, украинцев, переселенцев из Молдавии, и стали давать стране угля. Проблем с языком и обычаями не было — преобладал русский с вкраплениями молдавских, греческих и татарских слов. Хорошо зажив, вырастили детей, для которых места эти стали от рождения родиной. Других мест они просто не знали, потому что в Россию ездили крайне редко, некоторые не приезжали вообще. Говорят все по-русски, изредка вставляя украинские слова.

Внуки и внучки тетя отца сегодня воюют с внуками и внучками моих дядьев по матери. А я все не возьму в толк: как же это так, а?

В Рамони на рынке разговорился с пожилым южанином, торгующим саженцами винограда.

— Откуда родом? — спрашиваю.

— Армяны, — отвечает.

— Я в Грузии в армии служил, — говорю. — В Армении бывал на учениях. Армяне очень близки к русским менталитетом.

Армянин согласно кивнул головой:

— Я так думаю — нэт на земле плохих народов, все народы хорошие. И грузыны, и армяны, и украинцы, и русские... Есть только плохие руководители — они-то людей и стравливают.

Так сказал старый рамонский армянин с легким южным акцентом. Правильно, на мой взгляд, сказал.

Осень моего последнего посещения Украины измучила жарой. А у Олександра Тихоновича (так зовут-величают его теперь сельчане) непререкаемый авторитет и признание опытного ветврача. Ждет он в своем ветеринарном царстве с сонным от безделья ветфельдшером на пороге гонца насчет стерилизации хряка или иных необходимостей в местном скотском поголовье, которое, как и у нас, куда-то в Украине подевалось. А тут еще с летним душем проблемы, и молоток в руках ветеринара выглядит как-то по-бабьи не сноровисто.

Нашел я в его закромах большущий бак и решил сделать летний душ, да вот беда — нет рабочих брюк. Сашко вынес мне камуфляжной расцветки штаны. Пробую. Так ничего, но в поясе весьма великоваты. Сам Сашко и его дети мелкокостные.

— Это мой подполковник в Америке с американским офицером портами поменялся, — пояснил Сашко.

— И шо ж вин там робыв? — неожиданно для себя перешел я на «свой» украинский. И только потом понял, почему перешел: за державу, за Украину обидно стало, и за Россию!

Племянница Аня с четырехлетней дочкой Викторией приехали из Луганска в начале июня. Бежала она всякий раз к телевизору слушать новости, сердце все время болит: как там, дома? Там уже бомбили, но не так решительно, как потом. Ходили мы в один из дней по рамонскому вещевому рынку, когда послышался низкий нарастающий гул подлетающего самолета. Никто на этот гул из-за близости аэропорта никогда не обращает внимания, только маленькая Вика закричала громко и тревожно:

— Мама, самолет!

Такой пронзительный крик ребенка, успевшего повидать войну.





НАМ ЖИТЬ И ПОМНИТЬ

(О жизни и творчестве писателя Валентина Распутина)

Я НЕ МОГ НЕ ПРОСТИТЬСЯ С ДРУГОМ...

Смерть Валентина Григорьевича Распутина вызвала такой шквал стихотворений, посвященных его памяти, воспоминаний и статей о нем и его творчестве, что припомнить что-нибудь подобное просто невозможно. Поиному и не могло быть. Ведь в глазах народа он стал олицетворением самой Совести, защитником русского национального Достоинства. Своими произведениями, своей общественной деятельностью Распутин вел беседу не только с современниками, но и с будущими временами, с потомками, адресуя им жестокую правду о наших днях. Читая его книги, понимаешь, что автором выстрадано все, о чем пишет, что ему слышны каждый стон и плач людей, что он видит каждую их слезинку. В его слове была такая духовная глубина, постичь которую дано только великому писателю. И для читателей, и для абсолютного большинства коллег по перу Валентин Григорьевич стал моральным авторитетом и даже пророком. Таким он был и для меня.

Я познакомился с ним в декабре 1985 года, в дни работы VI съезда писателей РСФСР, оказавшись вечером в общей компании, собравшейся в одном из номеров гостиницы «Россия». Здесь было немало именитых людей, но внимание было приковано именно к Распутину. Его яркое выступление с трибуны Большого Кремлевского Дворца никого не оставило равнодушным. В присутствии Горбачева, членов Политбюро ЦК КПСС писатель страстно говорил о судьбе Байкала, о недопустимости осуществления проекта поворота северных и сибирских рек, об уважении к традициям, памяти, культуре и земле.

Мы встречались с ним и после: на очередных съездах писателей России, на VII и VIII съездах писателей СССР, на пленумах правления, проходивших в Москве, Санкт-Петербурге, на всевозможных литературных праздниках. Но встречи эти были как бы мимолетными. Многое уже стало забываться. Но день, когда мы с ним подружились, запомнился навсегда. Конечно, дружба не возникает внезапно, в один миг. Но, видимо, бывают и исключения. Наша дружба и стала таким исключением.

С начала 1990-х годов я активно выступал в жанре публицистики. Выступления эти не остались незамеченными: в декабре 1995 года я был удостоен Булгаковской премии за цикл очерков в защиту русской культуры. К моей большой радости я был награжден ею одновременно с Валентином Распутиным. Вручение премии состоялось 26 декабря в редакции газеты «Гудок», с которой в 1922-1926 годах активно сотрудничал Михаил Булгаков. Официальная часть была до-



Валентин Григорьевич Распутин

статочно короткой, после чего перешли к шампанскому. «Переход» этот грозил затянуться, но Распутин решительно встал: «Извините, мне пора».

Вслед за ним поднялись и остальные.

Распутин подошел ко мне: «Пройдемся вместе до метро?»

Конечно, я согласился. Помню, тогдашний главный редактор «Гудка» Юрий Алексеевич Казьмин попытался отговорить нас от пешей прогулки:

— Ребята, может, вам машину дать? Деньги вы получили немаленькие, а обстановка сейчас такая, что и за десятку жизни можно лишиться!

Премия действительно была солидной, но от машины мы отказались.

Редакция «Гудка» располагалась в ту пору в районе Московской консерватории. По Большой Никитской мы двинулись в сторону метро «Баррикадная». Говорили о многом: о литературной России и литературном Воронеже, об общих друзьях и врагах, о книгах. Когда вышли на Садово-Кудринскую, Валентин Григорьевич спросил: «А твой поезд когда?»

Я уезжал в Воронеж поздно ночью, и времени у меня было предостаточно. Узнав об этом, он предложил пройтись по Садовому кольцу. Увлеченные разговором, мы и не заметили, как преодолели довольно длинный путь до станции метро «Маяковская». Невдалеке от нее Распутин вдруг присел на какую-то скамейку, достал из портфеля свой «молодогвардейский» двухтомник и написал на титульном листе первого тома: *«Дорогому Евгению, Жене Новичихину дружески. В. Распутин. 26.12.1995. «Гудок».*

Не знаю, правильно ли делал, но я своих книг Распутину никогда — ни в тот раз, ни позднее — не дарил. Меня все время преследовала мысль: если я подарю ему свою книгу, то вольно или невольно поставлю себя в один писательский ряд с ним, не понимая своего реального места в литературе. При этом многократно видел, как другие литераторы, ничем не смущаясь, дарили ему свои произведения буквально пачками. И он их покорно принимал, деликатно благодарил. Но вряд ли ему удавалось все это даже пролистать.

Возле «Маяковской» мы с ним разошлись. Я добрался до вокзала, сел в поезд. В купе оказался единственным пассажиром. Достал свой блокнот и ручку, доволь-

но подробно записал все, о чем мы говорили с Распутиным. И теперь очень рад, что сделал это, потому что, к сожалению, к подобным записям прибегаю редко. Когда-нибудь я, пользуясь и этими записями, и другими нашими, более поздними, разговорами, непременно о них напишу.

Сделав записи в блокноте, я достал из своей сумки двухтомник Распутина, смотрел на его автограф и не верил своим глазам. Невероятно! Сам Распутин подтвердил своей подписью дружеские чувства ко мне!

Такое подтверждение последовало и несколько месяцев спустя. В фойе третьего этажа здания Союза писателей России на Комсомольском проспекте мой давний друг Иван Евсеенко подвел меня к Распутину и сказал ему:

— Знакомься, это Женя Новичихин.

Валентин Григорьевич, пожимая наши руки, с некоторым недоумением посмотрел на Ивана и, кивнув в сторону проходившего мимо Владимира Крупина, усмешливо произнес:

— Вань, ты меня еще с Крупиным познакомь!

Поняв все, Евсеенко спросил:

— Так вы уже знакомы?

— Не только знакомы. Мы с Женей друзья, — ответил Распутин.

Было заметно, что Евсеенко отнесся к этой новости несколько ревниво. Ведь он-то к тому времени знал Валентина Григорьевича много лет, и ему казалось, что среди воронежцев, кроме него, нет больше друзей Распутина.

...Не проститься с Валентином Григорьевичем я не мог. Стоя у его праха в Храме Христа Спасителя, молитвенно желал ему упокоения в райских кущах. Если есть они, эти райские кущи, то он будет именно там, потому что жил честной и чистой жизнью праведника.

Мир душе твоей, мой дорогой великий друг!

Евгений НОВИЧИХИН,
поэт, прозаик, сценарист,
заместитель председателя правления
Воронежского отделения Союза писателей России

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

Впервые Валентина Григорьевича Распутина я увидел воочию 12 сентября 1991 года в Москве, в президиуме чрезвычайного съезда Союза писателей РСФСР. Проходил съезд в помещении кинотеатра «Горизонт», что на Комсомольском проспекте. Сидел Распутин в последнем ряду, держа на коленях то ли папку, то ли портфель. Раньше мне приходилось видеть его только с экрана телевизора. И вот я смотрю на него из зала... Первое, на что я обратил внимание — это его голова. Она мне показалась непропорционально большой по отношению к его стройной, я бы даже сказал, хрупкой юношеской фигуре. Большие, как мне показалось, чуть выпуклые глаза...

В отличие от других членов президиума, Распутин почти ни с кем не разговаривал, а очень внимательно и сосредоточенно слушал выступающих. В то же время не видно было, чтобы он делал какие-либо пометки. Он просто слушал.

В перерыве я увидел Валентина Григорьевича в фойе кинотеатра и решил подойти к нему. Нашелся и предлог — со мной была его книга (Повести. Москва, «Молодая гвардия», 1978). «Для начала попрошу автограф», — подумал я и с этой мыслью пошел в сторону Распутина. Но пробиться к нему было не так-то просто. К нему без конца подходили какие-то знакомые ему и незнакомые писатели, что-то говорили ему, говорили. Распутин слушал всех внимательно, хотя смотрел в

основном куда-то в сторону, иногда согласно кивал головой, реже что-то коротко отвечал.

Наконец, к нему подошла поэтесса из Сыктывкара Надежда Мирошниченко. Надю я неплохо знаю — в мае 1985 года мы были вместе с ней в Пицунде, в доме творчества писателей. Человек она очень талантливый, эмоциональный и общительный. Свои же стихи может читать сутками. Поэтому когда она от разговора с Распутиным перешла к чтению стихов, то мне подумалось, что пробиться к Валентину Григорьевичу во время этого перерыва мне уже не удастся. Но к моей радости и удивлению Надя после чтения отрывка все же отошла от Распутина. Я подошел к нему и вдруг даже растерялся отчего-то, не зная, что сказать писателю. Помнится, начал с того, что я в 1964-1965 годах жил в Иркутске, учился в училище искусств. Как мне показалось, это немножечко расположило Распутина ко мне. Он слушал. И я стал говорить ему, что полностью разделяю его мысли и чувства по отношению к России, к трагической судьбе русского народа. Распутин слушал сосредоточенно, а, выслушав, сказал: «Очень хорошо, что Вы так все понимаете. Спасибо. Будем надеяться, что Россия все же выживет...»

Я попросил у него автограф. Он взял книгу и, не задумываясь, как мне показалось, написал: «Владимиру Молчанову искренне, с верой, что жива Россия и живо славянство. В. Распутин. Сентябрь 1991».

На второй день Валентин Григорьевич выступал с трибуны съезда. «Но жива Россия...» — эта фраза несколько раз прозвучала в его речи. И мне подумалось тогда: до чего же цельная и патриотическая натура. Если бы все россияне были такими патриотами, как Распутин, то никогда бы Россия не была доведена до такого плачевного состояния. Но, увы! Сегодня те, кто ненавидит наше Отечество, с особой жестокостью и особым садизмом истребляют все российское и особенно русское. И травит тех, кто отстаивает Россию, болеет за нее.

«Но жива Россия...»

И будет жить всегда.

Как будет всегда жить в нашей памяти русский писатель Валентин Распутин. Их с Россией не разлучить никогда и никому.

Владимир МОЛЧАНОВ,
*председатель правления Белгородского
отделения Союза писателей России,
секретарь и член правления Союза писателей России*

ЕГО ГОЛОС УСЛЫШАН И В РОССИИ, И В МИРЕ

1

В чем притягательная сокровенность писательского дара Валентина Распутина?

В органической способности принять в себя боль человеческую.

В предельной искренности.

В мужестве быть независимым от преуспевающих мнений, тенденций, всего шумливого, подменного, пробавляющегося ложью и шельмованием тех, кто не с ними.

В счастливой цельности, когда един Распутин — и мальчик из сибирской деревни, и повидавший жизнь всемирно известный писатель.

В верности себе, своему народу, предназначению.

В верности родному языку. Верность — с молодости. «После деревни работа в газете потребовала нивелировки языка. И мне приходилось поддаваться на это.

Ломать себя. Но очень скоро я опамятовался и понял, что это не мое. И как только я вернулся к родному языку, мне стало легче».

В преданности. И духовном и душевном пребывании в вере, какая осеняла его предков.

2

Есть у писателя примечательное высказывание: «В Болгарии восклицательный знак называют удивительным — меня это очень греет... Я бы поставил удивительный знак нашему народу за терпение, которое, может быть, нас и спасет».

Терпение — одна из ипостасей народной души. Одна, но отнюдь не единственная. В ней жизнетворит многое, что помогало нам в течение веков выстоять на жестоких ветрах истории и создать неповторимо-прекрасный язык, который — и наше прошлое, и, надеемся, наше будущее.

3

Названия художественных произведений Валентина Распутина — часто емкие, жизнеполагающие. В самом деле, «Век живи, век люби», — сколько в этом большого смысла на все времена. Люби отцовский дом, зеленый луг, ветлы на берегу, проселок в соседнее село. Люби землю, люби небо. Люби слово, которое услышал из уст матери. Люби родных своих. Люби Отечество свое. Люби большой мир.

А как быть с недругами, которым не только не дорого все, что ты любишь и почитаешь, но которые попирают все, тобой любимое и чтимое, и готовы разрушать всегда? Да прежде всего ни в чем не уподобиться им! Не уподобиться истекающим злобой всякого рода борцам против бытия духовного, бытия корневого, веками выверенного, по-крестьянски домоустроительного, созидательного.

Один вопрос. Могла бы жизнь у Распутина сложиться иначе, не по-писательски? Может быть. Но для русского слова то был бы драматический, если не трагический, сбой. Наверное, в каждой деревне есть свой поэт, летописец, певец, печальник за малую отчину, однако, чаще всего, далее родного проселка и неведомый. Но Распутин сказал такую поэтически сущностную правду о русской деревне, что метафизически она уже бессмертна. Он голос и тех, кто не смог сказать, кому не дали сказать.

Но даже и его временами затяжное молчание не идет вразрез с традицией православной веры, нашего национального сознания, нашей литературы, помнящих об откровении и подвиге исихастов-молчалльников. Через молчание прошли наши духовные подвижники — Сергей Радонежский и Серафим Саровский. Великие русские писатели знали все-таки ограниченные возможности слова (при всей его богоданности) и с горечью размышляли об этом. Боратынский в письме к Киреевскому предлагает «мыслить в молчании», он убежден, что внутренний мир души и духа «не передашь земному звуку». Гоголь годами молчит, написанное, то есть выговоренное, может быть, великое выговоренное, своими руками и уничтожает: сжигает. «Мысль изреченная есть ложь» — Тютчев; «Молчите, проклятые книги! Я вас не писал никогда!» — почти отчаянно — Блок.

4

Распутин — из немногих, кто писал от чувства боли за близких и далеких — страдающих. И, разумеется, его голос давно услышан и в России, и в мире. Услышан, хотя мировые волны несут совсем иные шумы-ценности, внесочувственные к человеческому бытию. Слово писателя стало частью народного сознания, неко-

ей заповедью печали по уходящим и погибающим, охранной грамотой долгой памяти, вечной памяти. Его «Прощание с Матерой», его «Пожар» — повествования о затоплении сибирской деревни и уничтожении в багровом пламени сибирского села — обретают масштаб всемирного потопа, адава огня, слепого маршрута неумолимого и ненасытного прогресса. В повествованиях — словно вневременный дух трагедии, хотя они имеют прямую обращенность к тому, что случилось с Россией в двадцатом веке.

Труженицы Матеры, труженицы Сибири, труженицы России. Героини его повестей и рассказов, ставших классическими. У писателя они — в страде, они и в беззаветности любви, в милосердии, а случается, и в способности противостоять бесстыдству насилия, в праведной силе возмездия, как в последней его повести — «Дочь Ивана, мать Ивана».

Когда Распутин сказал, как лишь ему дано, о русской женщине, уже этим исполнил он национальный долг. Может быть, здесь — поистине неповторимое явление в мировой литературе: в женских образах художественно отображена и современная жизнь, и зримо присутствует тысячелетняя традиция, запечатлевшая образы женщин в их благодатном проявлении, когда в них — душевный свет, тихая красота, справедливость, незлобивость, кротость, сострадание, верность. Распутин возвращает женщине от Бога ей предназначенное — быть дочерью, сестрой, невестой, женой, матерью. Женщиной, помнящей о Богородице. Возвращает вопреки тому, что ныне, да и во все века, на женщину смотрят не только как на созидательницу жизни, хранительницу очага, душу семейственности...

5

В последние годы, на переходе столетий, писатель нередко откладывал в сторону страницу художественного текста, чтобы обратиться к читателю с публицистическим словом. И хотя сам с горечью отмечал, что после его публицистики пятнадцать последних лет ничего не двинулось, но, разумеется, и прямое, общественно зовущее его слово «работает» не менее действенно, чем художественное, и что-то да сдвигается к точному пониманию происходящего и в людях, и в стране. Так много навалилось на Отечество и на человечество криминального смога, образовалось руин, истекло лжи, что публицистические страницы писателя часто заострены, бьют правдой, исключаяющей лукавые эвфемизмы политического и художественного бомонда, метафорические красоты слога, и такая в его слове сила искренности и боли! О чем бы ни шла речь — о Сибири ли, о братской Сербии, о большом мире, втягиваемом в глобалистский проект.

«Все теперь уже определилось и пришло к иудину концу: Югославия развалена и распята, о бомбардировках НАТО под издевательским названием «Милосердный ангел» в 1999 году почти и не вспоминают...

Только отчего не проходит боль, отчего, не отпуская, продолжает ныть и ныть, что есть в нас родственного с сербами, да и просто человеческое — и сердце, и душа, и совесть; почему кровь в наших жилах при воспоминании о происшедшем там, на Балканах, ускоряет бег, чтобы скорее миновать неприятное воспоминание, или, напротив, стыдливо замедляет бег?..

Предали, бросили на произвол судьбы... И какими обстоятельствами, какими мотивами ни защищайся, другого вывода не существует. Побежали искать друзей за океаном, где их быть не может, клюнули на европейские «права человека», не признающие прав народа, принялись вычислять на базарный манер, что выгодно и что невыгодно. Это одна из самых позорных страниц российской дипломатии...»

Валентин Григорьевич откликнулся на мою просьбу — написать для Воронежа. В немногих строках — глубоко сострадательная душа писателя, человек честный и верный правде жизни, который стоит за правду всегда и во всем — в короткой ли публицистической статье или в выступлении на всемирном конгрессе. И насколько метафоричны слова о том, что народы совершают жизненный путь по течению своих рек, и в этом смысле Дон-батюшка — великая национальная русская река...

«Демократическая» пресса перестроечной поры, щедрая и на необольшевицкие ярлыки для «чужих», и на похвальные определения для «своих», многих успела поименовать совестью новой России, нации, честью страны... Распутину, человеку совести и чести, выпадали в те годы чаще плоско-поверхностные оценки. Время расставляет все по должным местам, и не столь много его утекло, а имя и творчество Валентина Распутина предстает не только перед нами, но и в далеких зарубежных пределах в своем подлинном значении. Воспринимается как органическое продолжение классической русской литературы, которая давно уже в мире именуется не иначе, как великая, учительная, святая.

Виктор БУДАКОВ,
поэт, писатель
(Воронеж)

ЕГО ДУША БЫЛА ИЗНАЧАЛЬНО РОЖДЕНА ВМЕСТЕ С СОВЕСТЬЮ

В моем рабочем кабинете стоит один-единственный книжный шкаф, который друзья-приятели прозвали «забайкальским». В нем стоят книги и журналы участников и руководителей семинара молодых писателей Сибири и Дальнего Востока, который прошел в Чите с 6 по 16 сентября 1965 года.

Тогда на заключительном заседании семинара молодых прозаиков Владимир Алексеевич Чивилихин точно предсказал: «Мне почему-то кажется, что великий художник, которого мы с нетерпением ждем, придет из Сибири. В Сибири есть все: язык нетронутый, есть правда особая, бодрящая, которая зовет не к созерцанию, а к действию. В Сибири сосредоточены политические, экономические, моральные и другие проблемы. В Сибири характеры крепкие, крупные, которые отражают психический склад сибиряка. Наконец, Сибирь живет на земле, дорогой для всех народов. И в Сибири сложнее, чем где бы то ни было. Мы уверены, что именно Сибирь даст художника, которым будет гордиться человечество...»

Эти слова оказались поистине пророческими, потому что таким художником, как показало время, оказался участник читинского писательского форума, ставший впоследствии Героем Социалистического Труда, лауреатом государственных и многих других премий, писатель-сибиряк Валентин Григорьевич Распутин.

В моем «забайкальском» книжном шкафу очень много книг Валентина Григорьевича с дарственными подписями. Книги, изданные в Москве и Иркутске, Калининграде и Китае, много журналов с его произведениями.

Вот его тоненькая книжка, изданная на простой бумаге без переплета в Иркутске в 1981 году. Это рассказ «Уроки французского» — с такой дарственной надписью: «Эдуарду Анашкину с низким поклоном за свое давнее и былое. В. Распутин».

Впервые рассказ был напечатан в трех номерах иркутской областной газеты «Советская молодежь» в августе 1973 года. А в 1978-м на телеэкраны страны вышел фильм режиссера Евгения Ташкова «Уроки французского», который на восьмом Всесоюзном телевизионном фестивале в Баку в 1980 году получил Большой приз фестиваля. В 1980 году московская фирма грамзаписи «Мелодия» записала рассказ на грампластинку. Он был издан отдельной книгой в Москве в издательстве «Советская литература», а затем в издательстве «Детская литература».

Валентин Григорьевич так говорит о его создании: «Я описал свое детство в рассказе «Уроки французского». Конечно, есть вымысел, учительница не играла со мной на деньги, но учительница на самом деле присылала мне посылки с макаронами. Я ими кормился. И потом, когда стал писать рассказ, одних макарон для сюжета явно не хватало, пришлось выдумывать. И вся деревня так жила, думаю, вся крестьянская Россия так жила...»

Вот высказывание иркутского критика Валентины Семёновой — короткое, емкое, яркое: «Уроки французского» на самом деле — это уроки русской жизни, принявшей тягостное, неласковое русло. Конец сороковых, послевоенные годы, Сибирь... Одиннадцатилетний отрок получает первый опыт пути против течения. Путь этот удивителен тем, что не стал жестким ответом на жестокость времени. Противостояние шло по другой линии: выдержка, терпение, преодоление себя. Что заставляло его так держаться? Детская душа — как зерно, из которого прорастают побеги будущего характера. И видно по всему, душа героя рассказа «Уроки французского» была изначально рождена вместе с совестью. Совесть повела от первых уроков к «заданию на жизнь» — именно так было осознано писательское призвание автором «Матёры» и «Моего манифеста».

Заданием стало неколебимое стояние за тысячелетнюю Россию — с ее Сибирью, Байкалом, Сергием Радонежским, с ее литературой, уронить величие которой нельзя, как нельзя утратить доверие учителей. Уроки горькой правды о дне нынешнем превозмогаются уроками любви, веры в преодоление отчаяния, в то, что наступит подъем духовных сил народа, и он не поддастся натиску материалистического мирового порядка...

Главный урок Распутина: зло побеждается не злом, а накоплением и единением сил добра, и победить можно...».

Я очень долго искал прототип рассказа — учительницу французского языка Усть-Удинской средней школы Лидию Михайловну Данилову.

Родилась Лидия Михайловна Данилова в 1929 году в Москве, в Орликовом переулке. В 1937 году семье пришлось поменять адрес, когда отец, сотрудник наркомата легкой промышленности, чтобы избежать участи сослуживцев, попавших в жернова репрессий, отправился работать в далекое Забайкалье, в город Сретенск, который расположен на красивой реке Шилке. Здесь же окончила среднюю школу и поступила на факультет французского языка Иркутского государственного педагогического института. А после завершения учебы получила направление на работу в таежный райцентр Усть-Уда. Здесь ей предстояло учить ребятишек французскому языку в местной средней школе. И конечно, тогда, вышагивая в туфлях на каблуках по тротуару, сделанному из сосновых досок, молодая учительница с чемоданом в руке, вовсе не догадывалась, что этот глухой сибирский поселок станет особой вехой в ее жизни.

Не показывая в классе, что первое время, как писала она впоследствии в письме местному краеведческому музею (и честь ей и слава, что не скрывала этого), «плакала по ночам и проклинала день и час, когда сошла здесь с парохода». Поначалу ей самой пришлось многому учиться — носить воду из колодца, топить печь, колоть дрова. Но начинался день, и она — легка и молода, как подлинная фран-

цуженка. И никто не видел ни слез, ни проклятий, а только любовь и счастливое служение.

Конечно, ей трудно было перебороть собственный страх и неуверенность. И было отчего: новенькую «француженку» назначили классным руководителем самого «хулиганского» в школе 8 «б», в котором из двадцати шести учеников шестнадцать были «двоечниками». «Я сначала боялась их, как черт ладана», — признавалась она спустя годы. К счастью, сами сорванцы-подростки в поношенных ватниках с холщовыми сумками, глядя на свою всегда спокойную и строгую «классную даму», не догадывались об этом.

А вскоре жители Усть-Уды перестали жаловаться директору школы на их выходки — когда ребята после уроков не болтались по улицам. Лидия Михайловна организовала для них драматический кружок. Через год класс было не узнать: за это время ей удалось не только подтянуть успеваемость, но и подружиться со своими учениками, хотя иногда это считалось «непедагогичным».

Одним из немногих, кто не доставлял Лидии Михайловне хлопот, был Валя Распутин — тихий скромный мальчик с последней парты. Хотя ему, оторванному от родного дома, в полуголодные послевоенные годы приходилось куда сложнее, чем одноклассникам. И молодая учительница хорошо это знала.

— Мама всегда уверяла, что никакой особой роли в судьбе будущего писателя она не сыграла, — вспоминает Татьяна Пономарёва, младшая дочь Лидии Михайловны, живущая ныне в Нижнем Новгороде. — Незадолго до ее отъезда был такой случай: ребята решили сделать ей подарок к празднику, но не знали, что выбрать. Тогда они просто собрали деньги. А мама была удивительным человеком, когда ей дарили, к примеру, книгу, она тут же старалась подарить что-то взамен. Конечно, отказалась: «Ребята, я не возьму». Те обиделись: «Мы же от чистого сердца! Что же теперь — обратно раздавать?» Тогда она сказала, что ей будет очень приятно, если они помогут однокласснику Вале Распутину — он лежал в больнице... «Да разве он возьмет? Вы же знаете — он у нас гордый, хоть и тихоня». Но мама нашла выход: по ее совету, дети сказали, что деньги — от родительского комитета. «Будешь работать — вернешь». Уж не знаю, кто рассказал потом ему всю правду. Знаю лишь, что долг тот он школе отдал.

К тому времени в жизни молодой учительницы произошли важные перемены: там же, в Усть-Уде, она познакомилась с парнем — горным инженером Николаем Молоковым, полюбила его и вышла замуж. А вскоре уехала с ним в шахтерский город Черемхово Иркутской области, куда супруг получил назначение на работу. Семейное счастье Лидии Молоковой было недолгим: в 1961 году в дом пришла беда — погиб муж... В тридцать два года она осталась вдовой с двумя маленькими дочками на руках. Мать ее уже перебралась из Забайкалья к родственникам в Мордовию. Лидия Михайловна с детьми отправилась к ней.

В то время в Саранском университете открылась кафедра французского языка, и Лидию Михайловну взяли на работу.

— Первым нашим домом стала комната в преподавательском общежитии, — рассказывает Татьяна Пономарёва. — Размещались мы там с трудом: старшая сестра Ирина спала на диванчике, а я — вместе с мамой. Но я не помню, чтобы мама когда-нибудь унывала и жаловалась. Уже на склоне лет она как-то сказала мне: «Вот, все говорят — «тяжелое время». А мне никогда не жилось тяжело!..».

Однажды на факультете французского языка университета имени Огарёва пришла разнарядка: искали преподавателей для работы в Камбодже, и Лидия Михайловна сразу решила: еду! Молокова была хорошим педагогом, потому что в институте кхмеро-советской дружбы уже через год ее назначили заведующей кафедрой, хотя там работали и другие преподаватели из лучших вузов СССР. Заслу-

ги Лидии Михайловны отмечены правительством этой страны: она стала командором камбоджийского королевского ордена.

По завершении командировки в Камбоджу Лидию Молокову послали в Алжир. Там она преподавала в школе кадетов революции — заведении полувоенного типа, где учились дети, чьи родители погибли во время революционных событий. Дочери в это время учились в Подмоскowie, в интернате Министерства иностранных дел — там находились дети, родители которых работали за рубежом. И когда Лидия Михайловна вернулась из Алжира, она получила, наконец, квартиру на юго-западе Саранска.

В маленькой «двушке» на проспекте 50-летия Октября жили три поколения семьи Молоковых. Лидия Михайловна забрала сюда свою старенькую маму и свекровь, оставшуюся в том самом сибирском поселке Усть-Уда. Когда ее спрашивали, зачем взваливать на себя такую ношу, она отвечала кратко и ясно: «На меня мои дети смотрят».

А последняя командировка Лидии Молоковой была во Францию, в парижскую Сорбонну, где она начала вести практические занятия на кафедре славистики. Там ей довелось познакомиться с литературным творчеством своего бывшего ученика. О Распутине она услышала на лекции о современных советских писателях. Тут же всплыл в памяти мальчик из далекого сибирского райцентра: неужели тот самый?

В Париже Лидия Михайловна часто приходила в магазин русской книги «Глоб», что в латинском квартале города. Один из визитов в магазин запомнился ей на всю жизнь. Она познакомилась здесь с актером Владимиром Ивашовым, который приехал во Францию представлять знаменитый фильм «Баллада о солдате». Во время беседы с Ивашовым к ней подошла продавщица: «Вы интересовались книгами Распутина? К нам поступил его сборник!» Открыв пахнущий типографской краской томик, она пробежала глазами биографию автора, в оглавлении наткнулась на рассказ «Уроки французского» и, быстро пролистав страницы, стала читать... «Что с Вами? — спросил Ивашов, увидев, как лицо собеседницы внезапно покраснело красными пятнами, а в уголках глаз заблестели слезы. А когда Молокова сбивчиво объяснила, в чем дело, почтительно поцеловал ее руку и тоже купил книгу.

Лидия Михайловна написала автору прямо из Парижа, на конверте вывела так: «СССР. Иркутск. Валентину Распутину». А через некоторое время получила ответ: «Я знал, что ВЫ отзоветесь...»

— Валентин Григорьевич — удивительный человек, — вспоминает дочь Татьяна. — Свои письма к маме он подписывал: «Ваш старательный и бестолковый ученик» или просто «Ваш Валя» и постоянно звал ее в гости. Мама воспользовалась его приглашением. Вернувшись, рассказывала, с каким теплом встречали ее хозяин и его супруга, Светлана Ивановна, — милые скромные люди; о настоящем сибирском угощении — пирогах с рыбой и особом «немецанском» уюте в их доме. Продолжал он писать маме и потом, когда она переехала из Саранска в Нижний Новгород — поближе ко мне, внучке Кате и правнуку Артему. Затем мама тяжело заболела и уже не могла писать, и Валентин Григорьевич звонил, чтобы справиться о ее здоровье.

В семье Лидии Михайловны Молоковой бережно хранят ее архив. В толстой стопке писем от писателя последней лежит телеграмма: «С болью в сердце узнал о кончине Лидии Михайловны, моей дорогой учительницы и мудрой наставницы. Не стало ее, и тяжесть до конца моих дней легла на сердце и душу. Поклонитесь ей в последние минуты и от меня тоже...»

К этому времени Валентин Григорьевич Распутин — выходец из далекого иркутского села — стал писателем: русским, советским и мировым...

В последние годы мы с Валентином Григорьевичем чаще созванивались, чем

переписывались. Когда в апреле месяце 2013 года мне позвонили из иркутского отделения Союза писателей России и сказали, что я включен в состав делегации по предложению Валентина Григорьевича Распутина на Всероссийский праздник русской духовности и культуры «Сияние России» в Иркутске, я поначалу даже дар речи потерял. Не сразу нашелся, что ответить. Уже потом вспомнил, что месяцем раньше Валентин Григорьевич прислал мне подарочное издание своей книги «Прощание с Матёрой» с таким автографом: «Эдуарду Анашкину дружески, с надеждой на скорую встречу в Иркутске. В. Распутин».

Мы выступали в школах и учебных заведениях, в библиотеках и на предприятиях, в литературно-театральном салоне Вампиловского центра. Были мы и у Кругобайкальской железной дороги. Не забуду поездку на малую родину Валентина Распутина — в поселок Усть-Уда, где стоит красавец деревянный Богоявленский храм, построенный с помощью Валентина Григорьевича. Писатели посетили этот храм и получили благословение настоятеля, протоиерея о. Владимира.

Дважды в Иркутске у нас состоялась беседа с Распутиным. При последней беседе он меня спросил, прищурив свои черные глаза: «Эдуард, за последние годы ты так интересуешься моим творчеством, моей личной жизнью. К чему бы это?» — «Да вот, Валентин Григорьевич, «дело» завел на Распутина. Хочу книгу о нем написать из серии «Жизнь замечательных людей». Он тихо рассмеялся и молча пожал мне руку.

Удалось мне побывать в святая святых для Распутина — на Смоленском кладбище, где похоронены его жена и дочь. И побывал там благодаря Анатолию Заболоцкому. Услышал случайно, как Анатолий Дмитриевич попросил художественного руководителя Иркутского Театра русской драмы, заслуженного деятеля искусств России Михаила Корнева свозить его на кладбище, где похоронены Мария Валентиновна и Светлана Ивановна Распутины. Я попросил взять меня с собой: мне давно уже хотелось поклониться могилам этих женщин. Когда мы уже тронулись в путь, выяснилось, что никто не знает, где находятся могилы. И я рискнул позвонить Валентину Григорьевичу. Он помолчал в трубку. Потом спросил: «А где вы сейчас находитесь?» Мы были еще в пределах Иркутска. Валентин Григорьевич велел подъехать к нему. Вышел с пакетиком в руке. Как назло, у нас не получилось купить цветов: цветочный магазин, на который мы рассчитывали, оказался уже не цветочным!.. Так вот, без цветов, явились мы на кладбище. Когда стояли около могил Марии и Светланы, Валентин Григорьевич вынул из пакета бутылку марочного итальянского вина. И снова накладка: в машине не оказалось ни штопора, ни стаканчиков. Михаил Корнев как-то чудом проткнул пробку вглубь бутылки. И мы пригубили по глотку. Я себя в душе ругал, что не подготовился к поездке. Грустно стало, что судьба порой посылает нам возможность, а мы оказываемся не готовы...

Я видел, что и у моих спутников как-то погрустнели и помрачнели лица. Распутин стоял, как всегда, отрешенно. Анатолий Заболоцкий снимал на камеру для будущего фильма кладбище, лес... И вдруг — с дерева белочка! Прыг к нам и вертится возле, не боится нас, человек! И как-то полегчало на душе. А Валентин Григорьевич говорит: «А ведь это добрый знак, это душа усопших дает нам о себе знать...»

Последний раз мы разговаривали по телефону с Валентином Григорьевичем 5 февраля. Он был в больнице. «Как Вы себя чувствуете?» — «Не очень, но обязательно встретимся с тобой. Есть о чем поговорить. Материал, который пишешь о читинском семинаре, пришли, посмотрю...»

Не позвонит. Не посмотрит...

Эдуард АНАШКИН,
литературный критик (Самара)

«ОТЦЫ» И «ДЕТИ» В ПРОЗЕ В.Г. РАСПУТИНА

В традиционных скобочках после фамилии Распутина во всех словарях и справочниках теперь появится вторая дата — 14 марта 2015 закончен земной путь Валентина Григорьевича, человека и писателя, присутствие которого во многом определяло развитие русской литературы второй половины XX века. Эту истину трудно оспорить, даже опираясь на недоброжелательную критику в адрес писателя, отсутствие интереса «массового» читателя к его нелегким произведениям. Большая литература никогда не жила по «цеховым» законам и не модным спросом руководствовалась. Оценка распутинских произведений, таких как «Живи и помни» или «Последний срок», за пределами внутрилитературной суеты.

Валентин Распутин был русским писателем и по судьбе, и по интонации, и по напряженной думе, с которой всегда приходил к читателю. Его появление в послеоттепельной литературе было ошеломляющим. С современниками говорил зрелый мастер, говорил, не форсируя интонации, избегая пафосных сюжетов и популярной тематики. Он вернул в русскую литературу ее традиционных героев — «старинных старух», крестьянских детей, а не передовых колхозников советских десятилетий. Произошло это возвращение на удивление быстро и при полной готовности читателя принять распутинских героев и поверить писателскому слову о них.

Судите сами: главные сочинения В. Распутина — «Деньги для Марии» (1967), «Последний срок» (1970), «Живи и помни» (1974, Государственная премия 1977), «Прощание с Матёрой» (1976) — уместаются в одно десятилетие, а их автор, которому в 1976 году было 39 лет, был ими поставлен в ряд не со своими ровесниками, тогда начинающими писателями, а вровень с теми, кто и по литературному, и по жизненному опыту годился ему в учителя. Концентрация мысли, художественное мастерство, нравственная и философская значительность, ставшие отличительными чертами его текстов, сделали В.Распутина в глазах современников наследником и завершителем традиций великой русской реалистической прозы, нашего истинного национального богатства. Нести это звание, как известно, нелегко и ответственно, но В.Г. Распутина эта ноша пришлась впору: с 1970-х годов он вел со своими современниками непрерывающийся диалог о главном, корневом смысле человеческого бытия.

Говоря о непрерывающемся диалоге, я имею в виду не интенсивность появления новых текстов, что является прерогативой популярного и модного писателя, а уровень предлагаемого разговора, глубинную значительность обсуждаемых проблем. И вот по этим параметрам распутинские произведения оказались поистине неисчерпаемыми. Как и положено классику, В. Распутин опережал свое время, предлагая сюжеты и проблемы, к решению которых было не готово общественное сознание. Во многом и этим объясняются расхожие критические выпады в адрес писателя.

Более серьезные соображения и по поводу произведений В. Распутина, и по поводу «деревенской» прозы, неоспоримым лидером которой он стал, выдвигали профессиональные исследователи современной литературы, обсуждавшие перспективы ее развития. Хорошо помню актуальную для конца 1970-х мысль о том, что писатели-«деревенщики» восстановили русскую традицию для того, чтобы ее закончить. Однако перечитывая главные произведения того, «распутинского», десятилетия, понимаешь, что и сам писатель был обречен на самоповторения, а не только его соратники и последователи. Герои, обозначенные ими проблемы в текстах В. Распутина были столь значительны, что размышлять над ними и отвечать на заданные молодым писателем вопросы выпало не только его ровесникам.

Поясню свою мысль. В. Распутин никогда не писал о злободневном. Его герои включались в сюжеты онтологически значительные, а потому и не имевшие лег-

ких решений. Несовместимость распутинских героев с литературным советским потоком для читателей была очевидной. Помню вопрос, заданный мне учительницей средней школы в 1970-е годы на лекции, где речь шла о литературных новинках. Вопрос носил вполне прагматический характер: можно ли считать В. Распутина «мастером социалистического реализма»? Такой была расхожая формула школьных учебников, писатель с ней отчетливо не совпадал, что, разумеется, было ясно и самой учительнице. Она лишь хотела узнать, как соблюсти требования школьной программы и живой литературы. И я, и мои слушатели хорошо понимали, что речь шла не о выработанности потенциала русской классики, а о несовместимости догматов соцреализма и реальной литературы. В. Распутин без эффектных разоблачений, без политических деклараций заговорил с современниками о том, о чем всегда говорила с читателем русская классика. Его негромкий голос был услышан, как оказалось, не только читателем: очень непростая для советской идеологии повесть «Живи и помни» получила Государственную премию. И это при том, что писатель В.Г. Распутин всегда жил, словно бы и не замечая «канонов соцреализма» и увлеченной групповой борьбы с ними. Однако его внешне негромкие повести по-новому разворачивали и «деревенские» сюжеты, да и всякую иную тему, если он к ней прикасался. Не входя в число планомерных и показательных ниспровергателей советской литературы, именно В.Г. Распутин больше других сделал для возвращения русской классики и ее идей в круг чтения своих современников.

Приведу в пример уже упомянутую мной повесть «Живи и помни». История дезертирства Андрея Гуськова, его судьба и вина вполне естественно возникла в военном сюжете писателя. Однако Распутин в центр внимания поставил судьбу и жертву Настены, а не ее мужа-дезертира. Профессиональная критика, как правило, стремящаяся к однозначным и уверенным оценкам, тогда ограничивалась стандартными заключениями по поводу судьбы героини. Зато рядовой читатель, которого Распутин заставил пережить нелегкую судьбу и жертвенную гибель Настены и ее ребенка как свою собственную, с полным пониманием и сочувствием откликнулся на финальные сцены повести: «После похорон собрались бабы у Надьки на немудреные поминки и всплакнули: *жалко* было Настену» («Живи и помни»). Эти же бабы дали похоронить ее среди утопленников-самоубийц. «И предали Настену земле среди *своих*, только чуть с краешку, у покосившейся изгороди» (Курсив в цитатах мой. — Т.Н.). В этом жесте деревенских баб, как их написал В. Распутин, не прощение Настене явлено, а полное понимание ее «вины невиноватой», ее судьбы, от которой она не уклонилась.

В нравственных глубинах, открывающихся внимательному читателю, по моему глубокому убеждению, основание все еще не закончившегося диалога с В. Распутиным, начатого в 1970-е годы о жизни и смерти, о человеке и его прошлой и будущей жизни. С полным правом можно сказать, что главный нерв сюжетов писателя — тема смерти. Его герои не рефлексируют по ее поводу, они ее *проживают*. В «Последнем сроке» (напомним — на *момент публикации* В. Распутина тридцать три года) дана целостная картина готовности героини к вхождению в смерть, аналог которой трудно обнаружить у других авторов. Она столь значительна, пластично и мировоззренчески завершена, что не могу не воспроизвести ее в возможной полноте.

«Старуха хорошо знала, как она умрет, так хорошо, словно ей приходилось испытывать смерть уже не один раз. Но в том-то и дело, что не приходилось, а все-таки почему-то знала, ясно видела всю картину перед глазами. Может быть, потом, перед самой кончиной, это открывается каждому человеку, чтобы он заранее, пока еще в памяти, досмотрел свою жизнь до последней точки. О начале ему рассказали, когда он подрост и стал понимать что к чему, и было бы неправильно, несправедливо, если бы ему не явился конец.

Она уснет, но не так, как всегда, незаметно для себя, а памятно и светло — *слов-*

но опускаясь по ступенькам куда-то вниз и на каждой ступеньке приостанавливаясь, чтобы осмотреться и различить, сколько ей еще осталось ступать. Когда она наконец сойдет на землю, покрытую сверху желтой соломой, и поймет, что теперь полностью уснула, навстречу ей с лестницы напротив спустится такая же, как она, худая старуха и протянет руку, в которую она должна будет вручить свою ладонь. Немея от страха и радости, которых она никогда не испытывала, старуха мелкими шажками начнет подвигаться к протянутой руке, и тогда вдруг справа откроется широкий и чистый, как после дождя, простор, залитый ясным немым светом. Душа в нетерпении поторопит старуху, и она пойдет скорее. Идти надо будет совсем немного, и старуха почти сразу увидит, что пришла. В последний момент ей захочется отступить или обойти место, к которому несли ее ноги, но она не сможет ни того, ни другого и остановится как раз там, где надо, а потом, уже не владея собой, виновато подаст руку, чтобы поздороваться, и почувствует, что рука свободно, как в рукавичку, входит в другую руку, полную легкой, приятной силы, от которой оживет все ее немощное тело. И в это время справа, где простор, ударит звон.

Сначала он ударит громко, празднично, как в далекую старину, когда народ оповещали о рождении долгожданного наследника, потом лишний гром в нем уберется, и над старухиной головой поплывет, кружась, песенная перезвонница. В непонятном волнении старуха оглянется вокруг себя и увидит, что она одна: та, другая старуха исчезла.

И тогда, никого не пугаясь, счастливо и преданно она пойдет вправо — туда, где звенят колокола. Она пойдет все дальше и дальше, а кто-то, оставшись на месте, ее глазами будет смотреть, как она уходит. Ее уведет за собой затихающий звон.

Как только она скроется из виду, глаза опадут и затеряются в соломе. Лестницы тоже исчезнут — до следующего раза. Земля ровняется, и наступит утро. Живое утро» (Курсив в цитате мой. — Т.Н.).

Этот целостный миф принадлежит не только Анне. Его структурируют поэтические представления, сотканые из легко опознаваемых источников — освоенных народной памятью фольклорных и евангельских преданий.

Единонаправленно выстроенный (от бытовой повседневности — в пространство и время вечности) сюжет ухода Анны («Изжилась до самого донышка, выкипела до последней капельки») должен был завершиться в ожидаемые героиней сроки, что само по себе стало бы наградой-признанием достойно прожитой жизни («...на мать нам пожаловаться нельзя»). Не противоречил бы такой финал и устоявшейся литературной традиции. Именно его ждал читатель, воспитанный на русской классике, к этому готовили его сюжеты «деревенской» прозы. И, наконец, этого ждали дети Анны, готовые, как сказал ее сын Михаил, «дело до конца довести».

Однако В.Распутин предлагает читателю не ожидаемое завершение сюжета, а достаточно жесткую жизненную коллизию, разрешение которой не в бытовых аналогиях и приговорах. Анна уходит с острым чувством стыда, вины за оставляемый мир. Это частый финал распутинских сюжетов, питающих его творчество в целом. Вспомним горестные размышления Дарьи из «Прощания с Матерой», которая стала свидетельницей, а потому и участницей разорения родного села: «Лучше бы мне не дожить до этого — господи, как бы хорошо было! Не-ет, надо же, на меня пало. На меня».

Дарье, как и Анне, выпало увидеть мир, в котором не действуют те законы и нравственные нормы, которыми они жили. Сегодняшний мир целиком зависит от их детей. В «Последнем сроке» и «Прощании с Матерой» В.Распутин достаточно последовательно разрабатывает этот нелегкий сюжет.

Его начало — в неожиданной и пугающей детей ответственности, которую каждый из них должен на себя принять. Анна вспомнит те слова, что сказал ей Михаил после рождения своего первенца: «— Смотри, мать: я от тебя, он от меня, а от

него еще кто-нибудь». Однако у Распутина эта ситуация разрешается не умили- тельным осознанием отцовства, некоторым удивлением матери от этого откры- тия сына. С рождением первенца Михаил «по-взрослому и наедине сам с собой ... понял, что смертен, как смертно в мире все, кроме земли и неба». Анна об этом «знала давным-давно и думала, что он знает тоже». Рождение и смерть не пред- мет размышлений распутинских героев, а содержание жизни человеческой. В повести «Прощание с Матёрой» читаем: «Смерть кажется страшной, но она же, смерть, засеивает в души живых щедрый и полезный урожай, и из семени тайны и тлена созревает семя жизни и понимания.

... Человек не един, немало в нем разных, в одну шкуру, как в одну лодку, со- бравшихся земляков, перегребающих с берега на берег, и истинный человек вы- казывается едва ли не только в минуты прощания и страдания — он это и есть, его и запомните».

К такому итогу приходит Дарья. А в повести «Последний срок» понять это пред- стоит каждому из детей Анны. Рядом с умирающей матерью они чувствуют страх, и этот страх *за себя*. Они воспринимают смерть как небытие, как обрыв существо- вания. Им неведомо то, что знает о смерти мать. Жизнь, которую они прожили, не готовила их к принятию таинства смерти, к тому, что смерть — важная часть *духовной работы* человека над самим собой. Чтобы заставить осознать, пережить момент перехода в новую жизнь без матери, которая «загораживала нас, можно было не бояться», Распутин задерживает детей в затянувшейся и тяжелой для них ситуации прощания.

Смерть старухи Анны в начале повести замещена житейски понятными слова- ми «похороны», «поминки». Вот почему Варвара, войдя во двор, «сразу, как вклю- чила себя», заголосила. Сдержанно, в соответствии с ритмом жизни той среды, которую она теперь представляет, ведет себя Люся. Она тоже «опустила слезу и отошла». Однако привычные житейские регламентации довольно быстро оказа- лись исчерпанными. Михаил купил водки, Люся сшила черное платье, Варвара плачет без конца, а дальше «от самой беды никакого *дела* не шло» (Курсив мой. — Т.Н.). Наступило время работы души.

Перед лицом смерти матери дети утратили извечное право детей на защищен- ность. Они, разумеется, знали, что жизнь есть череда потерь и обретений, но вос- принимали их в житейском ключе. Теперь внезапно проступил иной, скрытый смысл. Так, вспоминая послевоенное голодное детство, Михаил завидует сам себе: «А все-таки тогда как-то интересней было». Заметьте, он не сказал «легче» — «ин- тересней было». В это определение «интереснее» вошла память не о развлечениях или детских играх, а о «взрослых» заботах о куске хлеба. Как о нечастой радости расскажет Михаил о загрузке баржи в родном селе. Баржа была не колхозная, а потому за работу платили сразу по ее окончании. Напомню, что в колхозе получали за труд раз в году по трудовням и не деньгами, а сельскохозяйственной продукци- ей, которую еще надо было «реализовать». Поэтому всякая возможность случайного заработка была радостью, вызывала всеобщее внимание и уважение («Пока не загрузим, все там»). Результатом коллективной работы становился вполне реаль- ный *хлеб* на столе. За него садилась семья — братья и сестры. «А теперь каждый по себе. Что ты хочешь: свои уехали, чужие понаехали», — заключает Михаил.

«Чужие» не по крови, а по духу стали обозначением перемен на душевной глу- бине. «Жизнь теперь совсем другая, все, почитай, переменялось, а они, эти измене- ния, у человека добавки потребовали. Мы сильно устаем, и не так, я скажу тебе, от работы, как черт знает от чего».

Михаил очень точно обозначил смысл произошедшего: изменившийся быт по- требовал от человека неведомых «добавок» — не физических усилий, а душевной работы. Дети старухи Анны, уехав из деревни и оказавшись в новой реальности,

не потерялись, выжили. Сегодня каждый из них, приехав проститься с матерью, невольно демонстрирует неведомый ей социальный опыт. Старуха не случайно опасливо поглядывает на Людмилу («вон какая она красивая и грамотная, даже говорит не так, как говорят здесь»), не может привыкнуть к Илье («видно, то место, где он жил, этому далеко не родня и Илья никак не может от него опомниться»). Свои воспоминания связаны у Анны и с Варварой, и с Михаилом. Такими, какими их помнит и видит мать, дети себя не знают.

Для выживания в новых местах дети Анны освободили свои души от прежнего опыта. Память, по Распутину, качество особое. Память — это культура чувства, глубина человеческой личности. Необходимость памяти представляется В. Распутину важным качеством человеческого бытия, ибо память тесно связывает нас с прошлым, диктует ответственность перед будущим.

«Честь, совесть, не убей, не укради, не прелюбодействуй, любовь в образе сладко поющей волшебной птицы, не разрушающей своего гнезда, традиции и обычая, язык и легенды, покойники и история — все это заметно перестает быть основанием жизни. Основание перестает быть основанием, и чем оно заменится? Победителей этот вопрос не интересует. Чем-нибудь да заменится, на то и завтрашний день».

Это строки «позднего» Распутина, но они о том же, о чем писал и думал молодой писатель во время работы над «Последним сроком», над «Прощанием с Матёрой». И тогда его герои чувствовали ответственность перед родными местами, тогда добровольно меняли «основание жизни».

«Ну, что за чепуха, — раздраженно отмахивается Люся от непривычного чувства вины перед заброшенными полями. — Я здесь совсем ни при чем. Я уехала раньше, задолго до всех этих перемен, я здесь человек посторонний». Оказывается, неблагополучие этих мест не только в том, что «чужие понаехали», как думает Михаил. Беда в том, что «свои» легко стали «посторонними». В таком повороте сюжета критика видела трагедию «разрыва с корнями», нравственную девальвацию городского человека.

Но и деревенские не лучшим образом распоряжаются своими жизнями. Деревенский житель Михаил мало отличается от своего брата Ильи, который, как жалеет его мать, «не походил ни на городского, ни на деревенского, ни на чужого, ни на себя». Вероятно, не в том беда, что меняется село, да и вся жизнь вокруг. Даже не в том, как люди используют открывшиеся социальные возможности. Герой современной литературы достаточно легко перемещается из деревни в город, утратил свою прежнюю территориальную закрепленность, зависимость от деревни. Интересно отметить и тот факт, что термин «деревенская» проза так и остался закрепленным за писателями-реалистами 1970-х годов. И не назовешь «деревенщиками» тех, кто рассказывает о детях, а уж тем более внуках «старинных старух». Но время этих героев пришло позже. А В. Распутин заговорил об их проблемах уже в «Последнем сроке» и «Прощании с Матёрой». И его отношение к ним не было прямым осуждением.

Андрей, внук Дарьи, не ищет в жизни легких путей, не бегаёт от житейских трудностей. Есть у него и четкая жизненная цель: «Я хочу, чтобы было видно мою работу, чтоб она навечно осталась <...>. ГЭС отгрохают, она тыщу лет стоять будет». Внук Дарьи сегодня думает о будущем, уверен, что знает, каким оно будет. Современность и полезность для него — неопровержимые аргументы в споре с Дарьей «Много ли толку от этой Матёры? И ГЭС строят... наверно, подумали, что к чему, а не с бухты-барухты. Значит, сейчас, а не вчера, не позавчера это сильно надо. Значит, самое нужное. Вот я и хочу туда, где самое нужное».

За что же можно осудить Андрея, как осудила критика детей старухи Анны? Или они виноваты только в том, что не дождались кончины матери, пожалев, что

«пришлось напрасно приехать»? Но литература последних десятилетий знает формулировки и пожестче. Не только в этих формулировках дело. Не забудем, что и Дарья не стыдится своих детей, значит, и Андрея тоже. Да и не о конкретных поступках, не о житейских делах повести В. Распутина. Они о главном — об изменившихся ценностях, которыми живет человек.

У В. Распутина не спор «отцов» и «детей», как его понимала русская литература вслед за И. Тургеневым, не смена идеологических воззрений. Перед нами не просто смена мироотношений, представлений о жизненных ценностях. Повести В. Распутина, о которых я веду речь, обозначили тот перекресток национальной истории, с которого должна начинаться уже иная жизнь, если хотите, иная цивилизация. Какими будут новые времена и новая жизнь, не знают ни Дарья, ни Анна. В свою последнюю ночь Анна спрашивала себя: «Знать хотя бы, зачем и для чего она жила, топтала землю и скручивалась в веревку, вынося на себе любой груз? ... только ли для себя или для какой-то пользы еще?» Анна не ответит на этот вопрос, но и детей не обвинит, остро ощутив свое отстояние от них. Глубинное непонимание печалит и Дарью: ее внук ушел из Матёры без боли в душе, без памяти в сердце. «Не прошелся по Матёре, не погоревал тайком, что больше ее никогда не увидит, не подвинул душу...». И она мысленно простится с внуком, как и с затопленной Матёрой: «Прощай и ты, Андрей. Прощай. Не дай господь, чтобы жизнь твоя оказалась тебе легкой».

Многое можно сказать по поводу финалов распутинских главных произведений. По русской традиции, они сложны и многоплановы. К тому же и автор не всегда удерживается от желания подсказать читателю выводы. Так, позиция Андрея («Прощание с Матёрой») плакатно обозначена, лишена какой бы то ни было глубины. Целостному мировоззрению, завершённому характеру Дарьи противостоит схематично обозначенная позиция, не подкреплённая ни характерологическими наблюдениями, ни размышлениями героев. Эта недостаточность в обрисовке фигуры Андрея подчеркнута экранизацией Э. Климова «Прощание» по повести В. Распутина. Тот абрис героя, который лишь намечен В. Распутиным, Э. Климов дописал жестко и едва ли справедливо. В фильме «Прощание» Андрей судим, поставлен на один уровень с Петрухой, поджигаящим родной дом. Кинематографический нажим должен был убедить нас в том, что Андрей бежит с поля боя (не случайно, вероятно, фильм использует бульдозер, как танк), попирая дом, семью, Матёру. И это своеволие режиссера. Однако оно обнаруживает другое важное обстоятельство — из ситуаций, которые предложила к размышлению «деревенская» проза 70-х годов, мы вынесли лишь осуждение «детям», забывающим о родстве.

Перечитаем давние уже повести В. Распутина. Обо всем ли мы подумали так, как предлагал нам писатель? Словами другого писателя тех лет, С.П. Залыгина обозначу те задачи, которые все еще предстоит решать «детям» «старинных старух»: «Время наивных и неосознанных представлений ушло, но не ушла необходимость в самих представлениях, и кто-то ведь должен создавать новую историю души?»

Через десятилетия после этого вопроса мы до сих пор не в состоянии ни ответить на этот вопрос, ни взять на себя ответственность за нелегкое созидание «новой истории души». Мы все еще отрекаемся от прошлого. И если с этой позиции мы взглянем на повесть В.Г. Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана» (2003), то увидим в ней бесстрашие писателя, стремящегося сказать современникам о самом главном — о нашем общем будущем, о необходимости работать для него.

Тамара НИКОНОВА,
доктор филологических наук, профессор
Воронежского государственного
университета



ОТЫСКИВАТЬ СЕБЯ В ПОТОКЕ ВРЕМЕНИ

(Проза писателя Александра Бунеева
в оценках исследователей литературного процесса)

Воронежский поэт и прозаик Александр Владиславович Бунеев — постоянный автор нашего журнала. Его произведения привлекли внимание и рядовых читателей, и профессиональных критиков. Сегодня мы публикуем отзывы о двух его повестях — «Perfect’ум Mobile» («Подъём», №8, 2010) и «Что ты скажешь по этому поводу, брат?» («Подъём», №10, 2011), — исследователей современного литературного процесса, кандидата филологических наук Анны Юрьевны Грязновой и доктора филологических наук Татьяны Анатольевны Терновой.

Мы надеемся на продолжение разговора о публикациях в «Подъёме», о новых темах, произведениях, именах.

Для современного человека городское пространство — привычная среда обитания. Взгляд на город как на культурное явление, сохранившее отпечатки перемен, происходивших со страной и людьми, сегодня, пожалуй, доступен не многим. С одной стороны, причина этого в динамизме современной жизни. Городской ландшафт меняется так же быстро, как и вся наша реальность: новостройки загораживают от взгляда старые здания, сносятся заводы, строятся торговые центры, мемориальные таблички теряются на фоне все более и более возрастающего количества неоновых вывесок. С другой стороны, рутина повседневности не дает возможности более тщательно присмотреться к привычным вещам. Каждый день проходя (а чаще всего пробегая) по одному и тому же маршруту, мы почти не замечаем, что нас окружает застывшая история, и иногда только чей-то взгляд со стороны способен пробудить к ней интерес.

Литература — одно из главных средств, помогающих оживить и наполнить смыслом для обывателя окружающее пространство. Многие городские места обрастают мифами и легендами именно благодаря ей. Конечно, преимуществом в этом плане обладают старые города и столицы. Легко представить тот восторг, возникающий при узнавании в тексте привычных улиц, дворов и зданий, который испытывает, например, москвич, читающий о похождениях свиты Воланда на Арбате, или петербуржец, перелистывающий книги Гоголя или Достоевского. А вот произведений, дарящих такую радость жителю города Воронежа, крайне мало.

Восполняет этот пробел повесть воронежского писателя и журналиста Александра Владиславовича Бунеева «Perfect’ум Mobile». Сюжет ее незатейлив: глав-

ный герой вынужден по непонятным причинам скрываться от неизвестных людей, а на самом деле — отыскивать себя в потоке времени. Поиски убежища приводят его сначала к «юной и прекрасной возлюбленной», живущей в апартаментах с «дурацким хайтековским ремонтом», затем к другу, ютящемуся в старой квартире на низах, затем в дом священника отца Федора, чья кухня увешана измененными при помощи компьютерной техники репродукциями шедевров классической живописи. Однако привлекает эта повесть не остротой сюжета и не его достоверностью. Напротив, и герои, и события в ней как будто набросаны несколькими небрежными штрихами только для того, чтобы было на что нанизать развернутые лирические отступления, содержащие размышления героя (или автора) о времени и о судьбе своего поколения, воспоминания о событиях, связанных с теми или иными местами родного города, о людях, окружавших его.

Не возникает сомнений в том, что именно ради этих отступлений и написана вся повесть: «С тех пор, как отобрали Советский Союз, у тех, кто не смог идентифицировать себя с прежней Россией, нет страны. Рано или поздно такое шаткое внутреннее состояние начинает мешать жить и пользоваться благами цивилизации. Начинаются судорожные поиски подпорок. Если ты левой рукой пытаешься опираться на комсомол (в котором работал), правой на «Deer Purple» (который по долгу службы запрещал), а мостками тебе под ноги ложится Александр Сергеевич Пушкин (которого последний раз ты читал в школе) <...> если ты одновременно декларируешь необходимость рыночных законов <...>, основ православной веры <...>, выполнения устава партии парламентского большинства <...>, и при этом тебя еще хватает на строительство очередного торгово-развлекательного центра, то ты будешь балансировать, пока все вышеперечисленное сохраняется тобой в определенной оптимальной пропорции. Как только ты «посреди рабочего дня» чуть глубже задумаешься о Пушкине, Сталине или «Единой России», — все, конец, почва уйдет из-под ног...»

Располагают к себе свободный стиль повествования и доверительная интонация автора, благодаря которой создается ощущение непосредственного диалога с читателем. Усиливает это ощущение и очевидная близость героя-рассказчика писателю, и фрагментарная композиция повести. Краткие и немногочисленные эпизоды, составляющие сюжет произведения, выделены курсивом. Большой частью они представляют собой диалоги персонажей, которые обрываются на полуслове и уступают место авторскому монологу, который воспринимается как живой разговор с читателем. При этом собеседником Александра Бунева может почувствовать себя абсолютно каждый. С одной стороны, «Perfect'ум Mobile», казалось бы, ориентирована на поколение тех людей, чьи детство и юность прошли в Советском Союзе (и поэтому в повести часто возникает обобщающее «мы» при упоминании реалий советского прошлого), с другой — часто угадывается обращение к современному молодому поколению, которому уже нужно объяснять, что такое колхозы и как на самом деле выглядел СССР. По последнему вопросу писатель составляет даже подробную инструкцию: «Хотите в СССР? Поезжайте не станцию Придача. Для остроты ощущений и большего эффекта — зимним вечером».

Упоминаний воронежских топонимов, как и отсылок к реальным событиям, связанным с жизнью города, в повести очень много. Перед читателем возникают кинотеатр «Пролетарий», Детский парк, площадка с живописным видом, расположенная за улицей Орджоникидзе и до сих пор любовно называемая жителями нашего города «Поле чудес», и многие другие с детства знакомые каждому воронежцу места. Каждое из них писатель разукрашивает личными воспоминаниями или размышлениями, благодаря которым в повести А.В. Бунева создается совершенно особый образ города. Это мистическое пространство, где время сверну-

то в ленту Мебиуса, где прямо в историческом центре города находится «дыра» в материи реальности, где можно отправиться вслед за прекрасной незнакомкой, а потом обнаружить, что ее нет и никогда не существовало.

«Создавалось впечатление, что Воронеж находится не в пятистах верстах от столицы нашей Родины, и даже не на окраине страны, а в каком-то виртуальном мире или параллельном пространстве...», — пишет Александр Бунеев. И в то же время это совершенно реальный, рядовой советский и российский город, внимательный и пристальный взгляд на который дает ключ к пониманию многих происходящих со страной вещей. Так, на примере самой близкой ему области — воронежской журналистики — писатель рассуждает о том, насколько незначительными для мировоззрения людей оказываются в конечном итоге те перемены, которые приносит смена любой власти: «Я читаю воронежские газеты, смотрю воронежские телеканалы и вижу все меньше отличий от приснопамятных времен эпохи развитого социализма, разве что одежда ведущим тогда предоставлялась не салоном, торгующим китайским ширпотребом, а знакомым, работающим в ЦУМе...» При том, что в словах писателя иногда читается ностальгия по прошлому, он не воспринимает случившиеся за два десятилетия с городом и страной перемены как национальную трагедию.

Сдержанный стиль повести в полной мере органичен ее финалу, утверждающему право каждого выбирать, в какой реальности ему существовать. Ощущение свободы пронизывает все произведение: герой ощущает себя на стыке времен, граница между которыми опредмечена городом, его собственной судьбой. И это свобода композиции, делающая «Perfect'um Mobile» повестью, которую можно раскрыть на любой странице — и отправиться в виртуальную вневременную прогулку по городу, сопровождаемую негромкой беседой с человеком, хранящим в своей памяти не оболганный, но и не приукрашенный образ «сказочного тоталитарно-фольклорного государства» и спокойно глядящего на другую, не менее диковинную страну, в которой мы живем сегодня.

Анна ГРЯЗНОВА

НЕРЕАЛИЗОВАННЫЙ СОБЛАЗН

Феномен провинциальной литературы нередко соотносим в общественном сознании с мыслью о вторичности художественного поиска, который выражается в использовании известных словесных и сюжетных клише, создании легко узнаваемых переключек образов и заимствовании композиционных решений. Тем не менее современная литература все чаще демонстрирует ситуацию снятия эстетических границ столичного и периферийного, когда произведения, вне зависимости от места написания, встраиваются в гораздо более масштабный и значимый контекст современной литературы в целом.

Специфика современного литературного процесса состоит, в частности, в присущей ему открытости для разных художественных моделей, причем как являющихся порождением современности, так и извлеченных из культурного фонда прошлого. Одна из актуальных тенденций современного литературного процесса — жанровая маргинализация, при которой для автора по определенным причинам оказываются недостаточными границы привычных жанровых форм, в результате чего создается новая, более соотносимая с авторским замыслом жанровая мо-

дель. Варианты маргинального жанрообразования могут быть самыми разнообразными: от стопроцентной новации до реанимации давно забытых жанровых форм или жанровой диффузии, совмещения признаков уже наработанных культурой жанровых моделей.

Повесть воронежского писателя Александра Бунеева как раз иллюстрирует эту тенденцию, представляя специфический симбиоз очерка, притчи, мемуаров, философской и психологической повести. Возможность для жанрового эксперимента предоставляет фрагментарная композиция текста, действие которого происходит на протяжении всего XX века, проникая иногда и в прошлое, вглубь XIX, а то и XVIII века, и за пределы настоящего, в XXI век.

Расширение временных границ в прошлое фабульно обусловлено тем, что персонажами повести, помимо героя-повествователя, становятся также его прямые и не прямые предки, живущие в переломные эпохи, которые в России сменяют друг друга: во времена пугачевского бунта, крепостнической реформы, сталинской эпохи, перестройки и т.п. Экскурс в 2025 год становится возможен благодаря введению в текст эпизодического образа неизвестного повествователю итальянского сына.

Стоит заметить, что в повести меняется также форма авторского присутствия, ибо в текст включено вставное повествование, дневниковые записи не вполне дневникового, а полноценно художественного характера, принадлежащие одному из родственников повествователя.

Место действия в повести не ограничено даже пределами России, хотя основные события разворачиваются именно здесь: Россия совершенно незаметно размыкается в Италию, Тибет, Канаду... Такое пространственное расширение заставляет читателя обойтись без поиска сугубо национального контекста и не пытаться прочесть повесть через призму только традиционной проблематики национального характера или через опыт русской литературы.

Заявка о практически полной невозможности поиска России в современности, когда нередко утраченной оказывается даже номинативная аутентичность, звучит в самом тексте: «База отдыха «Ани»... Инвестиционный проект компании «Арбайтен унд Бауер»... Я был в таких городках не меньше сотни раз и тоже, по молодости лет, пытался найти в них Россию. Находил. Неблагодарное занятие, скажу я вам...»

Вполне возможно, что у автора (и повествователя) есть желание восстановить его через апелляцию к слову русской классической литературы. Не случайно в художественную ткань повести А. Бунеева включены произведения Н. Гоголя, Н. Бердяева, А. Островского, И. Гончарова, Ф. Достоевского, причем представляющие в самых невероятных переплетениях образов и ассоциаций: так, в одном из фрагментов появляется персонаж помещик Манилов — «типичный купчина из пьес Островского». Симбиоз русской истории и литературы в повести абсолютно органичен и неразделим, он оказывается одновременно дорогой в сознание и культурный опыт как автора, так и его персонажа, парадоксального человека, интеллигента (что в русской культуре, по сути, абсолютно синонимично).

Опыт русской литературы легко размыкается в сторону мировой (в художественной ткани повести присутствуют также тексты Д. Стейнбека), подобно тому, как и сама Россия оказывается не изолированной от большого мира, а в кабине машины русского повествователя разъезжает молчаливый мистер Гаррисон, оказавшийся к середине текста хамелеоном.

Сюжет путешествия, избранный А. Бунеевым в качестве основы повествования, открывает перед ним бесконечные возможности в жанровом плане. Он может быть развернут как основа путевого очерка, сентиментального путешествия, социального, философского и даже мистического романа... Во всех этих ракурсах

хронотоп дороги уже многократно использовался в русской и мировой литературе. Новизна подхода А. Бунеева к известному сюжету состоит в том, что он суммирует предоставляемые хронотопом дороги возможности в пределах одного текста, добавляя к вышеозначенному мотив игры (с исчезновением повествователя из автомобиля) и мотив остранения (когда неожиданно для читателя собеседником героя оказывается хамелеон мистер Гаррисон). Хронологическую линейность повествования, характерную для произведений, в основе которых лежит сюжет путешествия, А. Бунеев также взрывает неожиданным для читателя экскурсом в 2025 год, время юности сына повествователя, так же, как и неизвестный ему отец, тяготеющий к путешествию в неведомое, хотя бы в недра заброшенных кварталов.

Дорога в тексте, таким образом, воспринимается и как обозначение маршрута, и как метафора путешествия в пространстве сознания, памяти, судьбы, на выражах которой возможны удивительные пересечения. Дорога у Бунеева — это одновременно путь человека и страны, мира в целом.

Безграничность, как кажется, еще один архиважный смысл повести «Что ты скажешь по этому поводу, брат?», в которой «русские женщины под старость похожи на негритянок», а башня провинциального города оказывается совсем такой же, как в Пизе.

Естественно преодолены в тексте и границы между столичным и провинциальным: так, дом детства повествователя в периферийном городе по аналогии с московскими помпезными многоэтажками называют сталинской высоткой.

Провинциальный город в изображении А. Бунеева, с одной стороны, открыт для внешнего воздействия (ошибкой в повести названа ситуация, когда архитектура «закукливает» город), а с другой стороны, намеренно защищается от него, сохраняя в себе и передавая своим обитателям «дух места». Причина такой защищенности в повести трактуется двояко: и как естественная попытка сохранения «корней», и как приобретенное, а может, и навязанное извне свойство: «Куда бы в детстве ни возили меня родители — в Москву, Питер, Одессу, Ялту — я возвращался с вокзала на такси или на троллейбусе за невидимую ограду, где обитало неправильно сросшееся племя, намертво загипсованное властью».

Такое осознание специфики соотношения столичного и провинциального составляет один из парадоксов текста — один из немногих, ибо парадокс — суть существования России, в которой, по цитируемым в повести словам Бердяева, «география съела свою историю».

Парадоксален в представлении А. Бунеева и человек, русский и не очень интеллигент, склонный к рефлексии, а значит, по изысканиям еще XIX столетия (А.И. Герцен и вокруг), являющийся личностью. И лишним человеком одновременно. Ищущим и не находящим места во времени, стране, эпохе, собственной судьбе, из которой так и норовит уйти в такую внятную для него неопределенность.

В то же время лишний человек у А. Бунеева парадоксальным образом не одинок: «Разве одинок человек в толпе, в строю, на городской площади, в пустыне, в космосе или во времени?» Как не может быть одинок человек, ощущающий связи с семью поколениями предков, знающий об отдаленных потомках, подключенный через опыт чтения и знание истории к множеству других человеческих сознаний.

Человек в принципе осознан в повести как «потенциальный путешественник в неведомое». Таким путешественником является каждый, как предпринимающий перемещение в пространстве, так и живущий в замкнутых рамках своего «места». Путешественником, например, генетическим, потому что не знает своих отдаленных, а подчас и близких потомков.

Но все-таки самая интересная встреча на дороге жизни, судя по тексту повести, — встреча с самим собой. Увидеть себя со стороны — главный и нереализуемый соблазн. Только в исключительных ситуациях повествователю (читай — каждому) удастся усмотреть сходство с собой в ком-то, как герой видит подобного себе чудака, бессмысленно и осмысленно одновременно балансирующего на балке, дорога по которой в неведомое возможна, а назад — проблематична.

Встречи в пути (с городом, временем, предками, собой, другими) формируют человека так же, как и он в результате этих встреч формирует окружающее.

Большое и малое на разных уровнях повести выстраиваются в систему дихотомических зависимостей: так, человек зависит от мира, а мир от человека, провинция от столицы и столица от провинции, Россия от мира и мир большой от России. Сложная система этих связей и взаимосвязей обуславливает и маргинальный жанр текста А. Бунеева, отмеченный нами в начале нашего рассуждения, где мемуарность обусловлена очерковостью, очерковость художественностью, а за всем этим стоит желание современного писателя заглянуть в бесконечное пространство души человека.

Татьяна ТЕРНОВА





МАТ — ВНЕ ПОЛЯ КУЛЬТУРЫ

(По материалам «круглого стола» на тему
«Язык воронежских писателей: норма и традиция»)

В конце прошлого года в Парламентском центре Воронежской областной Думы состоялся «круглый стол» на тему «Язык воронежских писателей: норма и традиции». Организован он был общественным наблюдательным советом по русскому языку в сфере публичного использования при Воронежской областной Думе.

В «круглом столе» принимали участие председатель Комитета Воронежской областной Думы по труду и социальной защите населения *Игорь Степанович Суровцев*, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой общего языкознания и стилистики Воронежского государственного университета, заместитель председателя общественного наблюдательного совета по русскому языку в сфере публичного использования при Воронежской областной Думе *Иосиф Абрамович Стернин*, член Союза российских писателей *Валентин Михайлович Берман (Нервин)*, член Союза российских писателей *Александр Владиславович Бунеев*, кандидат филологических наук, доцент, декан факультета гуманитарного образования Воронежского института повышения квалификации и переподготовки работников образования *Елена Ивановна Грищук*, кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой теории, истории и методики преподавания русского языка и литературы гуманитарного факультета Воронежского государственного педагогического университета *Светлана Ивановна Добрава*, кандидат филологических наук, преподаватель факультета журналистики Воронежского государственного университета *Лариса Николаевна Дьякова*, председатель правления Воронежского регионального отделения Союза писателей России *Виталий Иванович Жихарев*, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин Института менеджмента, маркетинга и финансов *Людмила Ивановна Зубкова*, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой славянской филологии Воронежского государственного университета *Геннадий Филиппович Ковалев*, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой русского языка и межкультурной коммуникации Воронежского государственного архитектурно-строительного университета *Людмила Владимировна Ковалева*, кандидат филологических наук, руководитель секретариата председателя Воронежской областной Думы *Владимир Васильевич Колобов*, секретарь межконфессионального совета при Воронежской областной Думе *Анатолий Кириллович Никифоров*, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой русской литературы XX и XXI веков, теории литературы и фольклора Воронежского государственного

ного университета *Тамара Александровна Никонова*, член Союза писателей России *Евгений Григорьевич Новичихин*, главный редактор газеты «Воронежский курьер» *Борис Владимирович Подгайный*, кандидат филологических наук, ответственный секретарь Совета *Сергей Александрович Попов*, доктор филологических наук, профессор филологического факультета Воронежского государственного университета *Ольга Николаевна Чарыкова*, журналист, член Союза российских писателей *Александр Анатольевич Ягодкин*.

Редакция журнала «Подъём» считает актуальным и полезным в Год литературы познакомить своих читателей с материалами «круглого стола».

Суровцев И.С.

— От имени депутатов Воронежской областной Думы благодарю членов общественного наблюдательного совета по русскому языку в сфере публичного использования при Воронежской областной Думе за участие в «круглом столе». Я бы хотел начать с болевых точек, с политического дискурса: как язык сегодня развивается и что меня в нем потрясает?

Во-первых, я понял для себя, что пример Жириновского, которого потом все цитируют, просто неизбывен для всех. Молодежный сленг меня волнует, но он быстропроходящий. Вот известный «олбанский» язык с его «аффттар жжот» — ведь его сейчас практически не увидишь в интернете, закончился. Он блеснул, удивил, привлек к себе внимание, и скоро новое что-нибудь появится.

Я бы хотел для начала перефразировать нашего президента В.В. Путина: язык — это часть мозга, вынесенная наружу. Кто как думает — то у него и на языке. Я приведу пример последних дней, который меня поразил: известный российский депутат, зампреда Госдумы Железняк на повторение примаковского разворота самолета над Атлантикой сказал публично: премьер-министр Австралии хотел нашего президента взять за грудки, а взял за то, что значительно пониже. На сессии областной Думы один известный депутат фракции «Единая Россия», куда и я вхожу, чтобы как бы «поставить на место» фракцию КПРФ, вот такую фразу произнес: «Вообще надо ехать в Крым, выращивать для нас там яблоки и картошку вместо Польши и фейхую». И это с трибуны проносится!

Я бы мог множество примеров привести, которые у меня до сих пор в голове как заноза сидят...

Один замечательный поэт как-то сказал другому: «А мы с тобой, как амбарные коты, сохраняем зернохранилище русского языка». Вот надо каким-то образом бороться с этими «мышьями», которые гадят нашу «пшеницу» и нещадно ее поедают. Действительно, накипело!

Стернин И.А.

— Я для нашего сегодняшнего собрания подготовил обзор по внесенным изменениям в Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации». Нам всем надо это знать.

В пункт 6 статьи 1 внесены изменения, вступающие в силу с 1 июля 2014 года: «При использовании русского языка как государственного языка Российской Федерации не допускается использование слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка (добавлено: **в том числе нецензурной брани**), за исключением иностранных слов, не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке».

В пункт 8 статьи 3 («Сферы использования государственного языка Российской Федерации») главы 1 («Государственный язык Российской Федерации подлежит обязательному использованию») добавлен пункт «**при оформлении докумен-**

тов об образовании и (или) о квалификации установленного в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образца».

Пункт 9 теперь звучит так: **«в продукции средств массовой информации».**

Также теперь при показах фильмов в кинозалах и при публичных исполнениях произведений литературы, искусства, народного творчества при проведении театрально-зрелищных, культурно-просветительных, зрелищно-развлекательных мероприятий должен использоваться государственный язык Российской Федерации **в его литературных нормах.**

На мой взгляд, здесь нигде нет упоминания о музыкальных произведениях, песнях. То есть, на песни это не распространяется, там может любая лексика использоваться? Нужно уточнить у юристов. Это остается для толкования.

И к части 1 добавлена часть 1.1: **«В сферах, указанных в пунктах 9, 9.1, 9.2 и 10 части 1 настоящей статьи, и в иных предусмотренных федеральными законами случаях наряду с государственным языком Российской Федерации могут использоваться государственные языки республик, находящихся в составе Российской Федерации, другие языки народов Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, также иностранные языки».**

И последнее изменение — в часть 7 статьи 4: **«В целях защиты и поддержки государственного языка Российской Федерации федеральные органы государственной власти в пределах своей компетенции: ...осуществляют контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации о государственном языке Российской Федерации, в том числе за использованием слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка, путем организации проведения независимой экспертизы».**

Если подвести краткий итог изменениям законодательства, то в публичном использовании не должно быть нецензурной брани и слов, нарушающих литературную норму русского языка, и государство должно следить за тем, чтобы они не употреблялись. Надо сказать, что здесь есть сложность, потому что понятие литературной нормы достаточно неопределенно, но это уже должны трактовать филологи.

И в связи с этим я подготовил для сведения собравшихся классификацию лексики по стилистическим и морально-этическим признакам. Поскольку я много лет занимаюсь лингвистической экспертизой, здесь есть некоторые критерии, как различать, например, разговорную, сниженную, вульгарную, нецензурную, бранную, оскорбительную лексику, что такое сквернословие, что значит некультурная лексика. Для экспертизы это необходимо четко различать. Можно посмотреть эту классификацию и сделать вывод о характере того или иного слова.

Я бы хотел предложить собравшимся не сводить все к нецензурной лексике — с ней по закону все ясно: она запрещена в публичном использовании, и все, тут нет никакой проблемы, надо следовать закону. Это журналистов всегда интересует тема «жаренная», но с этим в плане закона все ясно. Профессор Г.Ф. Ковалев уже давно раскрыл историю этих выражений, показал, что они исконно русские, что они существуют. Поэтому не надо сейчас нам на этом сосредоточиваться, это не главная проблема сейчас, проблем много других.

Слово предоставляется Геннадию Филипповичу Ковалеву, доктору филологических наук, профессору, заведующему кафедрой славянской филологии филологического факультета ВГУ. Тема его выступления — «Нормативность и ненормативность языка писателя (на примере творчества И.А. Бунина, А.П. Платонова, М.М. Пришвина)».

Ковалев Г.Ф.

— Я буду говорить немного шире — о русской литературе, включая этих писателей.

Насколько распространен мат в России, говорить не приходится. Вот побывальщина, рассказанная Всеволодом Ивановым: «Жил-был разбойник. Много он награбил золота, серебра, драгоценных камней. Чует, смерть близка... А отдавать сокровища близким жалко, все дураки. Он их решил закопать, клад устроить. «Ну, чего тебе закапывать? — говорят ему. — Разве от русского человека можно что-нибудь скрыть. Он все равно найдет». — «Я положу зарок». — «Какой же ты положишь зарок?» — «Я такой зарок положу, что пока существует русская земля, того клада не выкоют». Закопал он клад в твердую, каменистую почву и залял зарок — тому получить клад, кто выроет его без единой матерщины!.. И прошло тысяча лет, и тысяча людей рыли тот клад, и не нашлось ни одного, кто бы не выматерился. Так он и лежит по сие время».

И.А. Бунин, когда ему было присвоено звание почетного академика, «в благодарность» решил поднести Академии — «словарь матерных слов» — и очень хвастал этим словарем в присутствии своей жены. Для создания этого словаря «вывез он из деревни мальчишку, чтобы помогал ему собирать матерные слова и непристойные песни».

Этим же занимались и Чехов, и Есенин...

Мат сильно распространен в русском народе. Причем в простом народе, особенно деревенском, он и не почитался за сквернословие. Были теории, что русский человек-де богобоязнен, а матерщина навязана, дескать, тюрками-иноверцами. Поэт И. Шкляревский в своей поэтической были «Пир» осторожно спрашивает читателя: «А бранились теперешним матом // или с кислую вонью Орда // занесла его к нам в города?»

Однако анализ аналогичной лексики в современных славянских языках говорит о всеобщем славянском характере мата. Мат был уделом только нормальных мужчин. Дети и женщины не имели права прикасаться каким-то образом к этим словам. Не потому, что эти слова были погаными, а потому, что они были сакральными, имели отношение к деторождению, к продлению жизни племени. И только после принятия христианства эти слова превратились в то, что мы называем матом.

Мы же уходим от этого слова ужом, потому что в церкви это не принято.

Во многом распространению мата способствовало не только отсутствие должного уровня культуры пользования им, но и официальный на него запрет.

Запретный плод сладок, особенно для людей, только входящих в общественную жизнь. Подросток, употребляя бранную лексику, как бы приобщается к кругу «взрослых» людей, которым «по закону» разрешается выражаться намного свободней, нежели молодым. С другой стороны, мощный потенциал неприличных слов в семантике, свободное их варьирование, прекрасная словообразовательная разработанность позволяют некоторым людям, вообще не выходя из рамок мата, выразить все, что они пожелают. На помощь приходят мимика, жест, интонация, а также характерный ситуативный контекст.

Весьма оригинально, идя от реальной жизни, освятил русский мат известнейший профессор-литературовед Петр Николаев, ветеран Второй мировой войны, бывший главный редактор журнала «Филологические науки»: «Вот утверждают, дескать, на войне ребята бросались в атаку, выкрикивали: «За Родину! За Сталина!» Но во время бега невозможно произнести этой фразы — дыхания не хватит. Бежит мальчик семнадцатилетний и знает, что погибнет. После каждой такой атаки во взводе погибала половина. И они выкрикивали мат. Они спасались этим, чтобы не сойти с ума. Есть мат, который священен. Когда идут по улице молодые

разгильдяи с бутылками пива и девчонки рядом ругаются, у меня это вызывает рвотные чувства, потому что я воспринимаю как оскорбление по отношению к мату, с которым погибали дети России...»

Кстати, практически то же самое написал Юрий Лотман.

И я им верю.

Очень точно, как бы подводят к итогу слова известного кинорежиссера А. Сокурова: «Сквернословие — это та граница, к которой подходить не стоит — за ней начинается насилие. Кроме того, скажем прямо, мат — это мужская речь. И очень обидно, что мы, мужчины, отдали эту часть нашей речи в общенациональное пользование. Обидно, что разрешили пользоваться матом женщинам! Это надо запретить! Я сейчас говорю все это, обращаясь к русским мужчинам. На Кавказе, например, мат из уст женщины я не слышал никогда».

Итак, мы пришли к выводу, что вся «нехорошая» лексика — исконно родная, славянская, связанная тысячами нитей с общенациональным лексическим богатством всех славянских языков. Писателям же можно ею пользоваться, когда без нее теряется содержательность и образность произведения.

Стернин И.А.

— Геннадий Филиппович, русские писатели использовали в своих произведениях мат?

Ковалев Г.Ф.

— Почти все наши писатели были страшными матерщинниками, это было ощущением свободы в языке. Но у большинства наших писателей никогда в произведениях ничего этого не было, потому что у них внутри был внутренний цензор. Например, у И.А. Бунина в художественных произведениях практически нет мата, но почитайте его письма — это какой-то ужас!

Внутренний цензор — характерная черта классика. Если ты умеешь без мата развить сюжет, показать образ — ты уже гениальный писатель.

Стернин И.А.

— Это у них языковая игра, это их личная игра со словом. То, что они сами употребляли, в их творчестве не отражалось.

Ковалев Г.Ф.

— Язык писателя в художественном произведении — это определенные шоры, то, что мы делаем для определенных людей — что-то можно, что-то нельзя.

Стернин И.А.

— Это все-таки действительно признак таланта — обходиться без мата. Бернارد Шоу говорил врачам: «Если вы не можете достичь знаний, не мучая собак, — обойдитесь без знаний!» Это признак гениальности. Я вспоминаю фильм «Председатель», как можно обойтись без мата. Когда герой говорит собеседнику: «Ты меня матом обозвал... Это я, когда матом гнал под кинжальный огонь солдат! А ну-ка, бабы, закрой слух!» Вы помните, как беззвучно герой М. Ульянова говорит, и в конце вороны взлетают? Художественная цель достигнута, но ни одного матерного слова не произнесено. И Геннадий Филиппович привел пример Бунина: «Только матом смог я убедить». Но ведь он не приводит этих слов!

Ковалев Г.Ф.

— Когда Бунин стал ругаться матом на мужиков, они поняли, что барин такой же, как и они, «свой». Он вышел на тот же уровень...

Писатель и его произведение — это разные вещи.

Никонова Т.А.

— Я приготовилась говорить совсем о другом, но, реагируя на выступления И.А. Стернина и Г.Ф. Ковалева, хочу выступить с позиции преподавателя с многолетним педагогическим опытом и с позиции учителя.

Недавно мы обсуждали проблему школьных учебников, какими они должны быть? Надо ли говорить ребятам всю правду о писателе, сколько женщин было у Есенина, ругался ли кто из писателей матом и т.д.? Я бы использовала этот пример с одной целью — разделить уровни культуры и уровни использования слова. То, что может себе позволить Иван Бунин, когда жгут его именование, и то, что он позволит себе, допустим, в повести «Деревня» (при внимательном прочтении вы найдете там слово ненормативное, но оно «на месте», оно вас не «оцарапает», не оскорбит). Если воспитывать школьника, студента, любого человека, осваивающего культуру (а язык — это культура) на нецензурной лексике, он так же и думать будет. Поэтому все богатство русского языка окажется для него закрытым.

Если честно, я тоже знаю нецензурную речь, но я ни разу не произнесла этого слова. И это меня не обеднило. И то, что я не слышу матерную речь, — меня не оскорбляет, меня оскорбляет ее присутствие. Да, в художественном тексте я читаю такую речь, я слышу ее. Поэтому мы не должны обсуждать здесь, что является прерогативой художественного текста.

Закон, который мы здесь обсуждаем, — это закон нашего общения. И в общении я бы хотела исключить эту нецензурную лексику именно потому, что она оскорбительна по отношению к тому, с кем я говорю.

Если вернуться к теме литературы, то художественный текст — это сфера мысли, сфера нашей культуры. Один пример. Телепередача «Умники и умницы». Участникам конкурса привели пример из Н.В. Гоголя, знаменитый текст о птице-тройке. Спрашивают, о чем там речь идет? Отвечает один участник: «Да это Гоголь, только я не помню, откуда это». Самое печальное — им зачили ответ! Они же узнали Гоголя! Вы посмотрите, какое сужение поля национальной культуры — до мата ли тут?

В другой передаче, на радио «Маяк», рассуждают ведущие шоу... Они не могут опознать фрагмент из «Евгения Онегина» и не знают, что на эти слова Чайковский музыку написал! Надо сохранить основу поля национальной культуры, а уж потом вышивать по нему матом. Ведь когда приходит мат? Не будем брать экстремальную ситуацию, когда летят бойцы в штыковую атаку... Не будем цензурировать, поскольку это совсем другая ситуация. Мат — вне поля культуры.

То, о чем мы сейчас говорим, — необходимость сохранения культуры общения, чистоты мысли, чтобы мы не мусорно мыслили и не мусорно говорили. Простите, о воронежской прозе не заговорила... Здесь сидят представители воронежской прозы — у них-то никакого мата в произведениях нет!

Стернин И.А.

— Тамара Александровна, Вы считаете, что школьникам не надо рассказывать, что писатель не являлся нравственным идеалом?

Никонова Т.А.

— Я считаю, что это нужно разделить во времени. Если вы в школе начнете разговор о Пушкине с его донжуанского списка — едва ли вы дойдете до «Евгения Онегина». Это проблема возраста, проблема роста, проблема накопления культурного багажа. Нужно знать, в какой аудитории что говорить. И в первом классе вы не будете начинать сразу круто с алгебры. Как человека нужно готовить к восприятию сложных математических формул, так и к восприятию культуры. Они тоже сложные и непросты в своем выражении. И мы отвечаем за их культуру мысли, культуру

чувства, их душевное и духовное здоровье. Поэтому всему свое время. Геннадий Филиппович несколько раз упоминал, что женщины и дети никогда не употребляли мат. И это правильно! Это должно быть табуировано, всегда. Если ребенок начинает свою жизнь вот в этой среде, то мат не будет для него чем-то исключительным, это станет нормой общения. Так он и будет относиться ко всему, так будет думать. И все остальные поля культуры просто будут для него закрыты.

Поэтому речь не о том, что детей надо беречь от этих сведений, нужно думать, когда и как им эти знания и сведения приносить. Да, в университете я им, может быть, больше всего расскажу. Какие-то обстоятельства, которые заставят трактовать тот или иной художественный текст. Биография художника — это его частное дело. Иван Бунин, который написал «Жизнь Арсеньева» и «Деревню» — это не вполне тот Иван Алексеевич Бунин, который доставлял хлопоты Вере Николаевне в каких-то других делах. Это уже несколько иная сфера.

Стернин И.А.

— Он велик своими произведениями, а не тем, что матерился.

Никонова Т.А.

— Художник — всегда немного миф, потому что он поэт, писатель. И мы к этому так должны относиться. Это тоже часть культуры. Вспомните, как писал Пушкин Вяземскому по поводу уничтоженных записок Байрона: «Толпа жадно читает исповеди, записки и т.п., потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. Он мал, как мы, он мерзок, как мы! Врете, подлецы: он и мал и мерзок — не так, как вы, — иначе!».

Я выступаю резкой противницей мата. Г.Ф. Ковалев обозначил границы использования этих слов — вот там пусть они и остаются. Действительно, Ивану Бунину, может быть, надо было из своего имени матом выгнать мужиков. Но есть и сфера культуры, которая формирует нормального человека вне экстремальной ситуации. Я бы хотела, чтобы в нашей стране не было ситуации, когда в программу «Что? Где? Когда?» присылают детский вопрос: «Назовите имя главного героя романа «Евгений Онегин». Скоро дойдем мы до этого... Вот это печально. Поэтому сегодняшняя культура нуждается в сохранении ясной, четкой, определенной русской речи. Потому что сейчас «как говорю — так и мыслю».

Стернин И.А.

— Хотелось бы привести замечательное высказывание А.С. Пушкина: «Дело не в запрещении какого-то слова или оборота, а в чувстве соразмерности, целесообразности его употребления». Поэтому я согласен с Тamarой Александровной, что нецензурные слова нужны для повседневной жизни человека. Но это не значит, что они должны проникать в границы литературы. Обратите внимание на ту классификацию лексики, которую я раздал: неправильно сводить ненормативность только к мату. Ненормативная лексика — это сниженная, вульгарная, бранная лексика, жаргон. Проблема шире.

Никонова Т.А.

— Проблема культуры — это проблема общения. Поэтому любое сквернословие — это оскорбление человека, с которым ты общаешься. Тут и надо говорить о языке культуры и о языке дурного общения, который унижает твоего собеседника.

Суровцев И.С.

— Вы педагоги, по большей части. Вы общаетесь со студентами. Тамара Александровна, Вы когда-нибудь случайно слышали, как разговаривают ваши студенты в коридоре друг с другом?

Никонова Т.А.

— Да, к сожалению.

Суровцев И.С.

— Кроме двух слов «типа» и «короче», остальное все — мат.

Никонова Т.А.

— Я всю жизнь работаю на филфаке, можно сказать, в лабораторных условиях. И последние лет десять иногда с опаской стала прислушиваться. А до того была спокойна, особенно когда мы занимались с нашими пятикурсниками в корпусе на Пушкинской, 16. Потом там «поселились» юристы. Вот тут уж появилось речевое разнообразие, лексикон был стремительно расширен. Беднее стала речь и филологов, безусловно. Не изолированы мы от общества. Но я хочу также сказать и о том, что ругать молодежь никогда у меня не поднимется язык. Потому что когда начинаешь с ними говорить о том, о чем надо говорить, о каких-то проблемах — у них абсолютно нормальная спокойная речь. Они очень хорошо понимают, чего им сейчас недостает. Они хотят думать, говорить, расширять свой словарный запас. Кстати, к художественным текстам они достаточно требовательны.

Суровцев И.С.

— Приходите к нам в технический вуз, архитектурно-строительный университет, и там абсолютно другая картина. А вы просто работаете в заповеднике.

Мои внуки пошли в детский сад. Буквально через неделю они меня познакомили со всей обсценной лексикой, которую мы узнаем где-нибудь к двадцати годам. Пошел однажды забрать внуков и заодно поинтересоваться... Понимаете, порой в наших детских садах работают нянечками маргинальные дамы. Они, как поют, когда говорят на этом языке. А дети все это, как губка, впитывают и уже дома начинают нам излагать...

В целом молодые люди, по крайней мере, я знаю по своим студентам, по нашей библиотеке, куда я книг по пятьсот каждый год дарю, потому что мои внуки не читают, у них у всех ноутбуки, они в Интернете сидят... Студенты технических вузов вообще не читают книг, либо в легком изложении в Интернете.



«Круглый стол» в Воронежской областной Думе

Никонова Т.А.

— К сожалению, и филологи перестают читать книги. На практических занятиях они меня уже приучили. Я спрашиваю: «Тексты есть?» Отвечают: «Да!» И перед ними лежат телефоны или другие гаджеты. Мне кажется, что с книгой общаться удобнее. Закладки быстрее работают. Книга — это нечто живое. Но я с этим смиряюсь.

Я много лет ездила со студентами в колхоз. И там женщины не ругались матом. И вдруг в 80-е годы прошлого века, одна из последних моих поездок со студентами, слышу — все село повторяло одно и то же слово. И, в конце концов, ну хотя бы изобретательно ругались, а то тупо твердили одно и то же слово, мужчины и женщины... Красоты никакой в нем... И это как-то сразу, одновременно наступило. Эти маргиналы говорили так, как привыкли. И это опять к тому, о чем я говорила раньше — если приучить ребенка жить и говорить в этом словесном окружении — он так и будет жить. Надо что-то с этим делать.

Стернин И.А.

— Вообще, если ребенок принес грубые слова из детсада, он думает, что эти слова — единственные названия соответствующих предметов или понятий, ему надо обязательно объяснить, что это слова нехорошие... Ребенок не понимает, научно говоря, стилистической характеристики слова или выражения, не понимает, для каких ситуаций оно подходит, а в каких ситуациях его категорически нельзя употреблять. Обязательно надо объяснять, где слово или выражение можно употреблять, а где нет. Это взрослые должны делать обязательно, родители — прежде всего. Кстати, и взрослым многим именно это надо объяснять: для какой ситуации какое слово из их привычного репертуара. Не будем делать замечаний — языковая разнузданность станет нормой.

Грицук Е.И.

— Согласна с Иосифом Абрамовичем. Я в этом году была на летней филологической школе на филфаке МГУ. Не знаю, как говорят студенты филфака в общении между собой. Но в женском туалете стены исписаны мелким почерком такими мыслями и в таком языковом оформлении, с такими лексическими подробностями, выражены такими удивительными лексическими средствами, что просто поражаешься. Я подошла к декану филфака МГУ Ремневой и спросила:

— Вы видели?

— Конечно, — сказала она.

— И как вы к этому относитесь?

— Не правда ли, талантливо написано? — сказала декан. — Ведь Пушкин тоже с «Гавриилиады» начинал.

Ковалев Г.Ф.

— Когда у нас в корпусе были юристы, у нас все столы и стены были исписаны похабщиной, сейчас этого нет.

Стернин И.А.

— Да, действительно, могу подтвердить. У нас филологи не пишут на столах. Не пишут всякие гадости. В корпусе стало гораздо чище.

Но предлагаю вернуться к нашей теме — языку писателей. Хотелось бы услышать представителей наших творческих союзов.

Жихарев В.И.

— Я думал, что будет персональный разбор творчества воронежских писателей, в том числе и членов нашего союза. Но докладчики правильно поступили, что не называли фамилии, никого конкретно не разбирали критически. Могу ска-

зять при этом, что вообще ненормативной лексикой, матом наши воронежские писатели не пишут, ни члены нашего Союза, ни члены Союза российских писателей, никто из них такой язык не использует.

У нас Кольцов, как писал Белинский, был с минимумом образования, но писал прекрасным русским языком.

А вот случай из сегодняшней жизни. По Плехановской иду, около одного дома две пяти- или шестиклассницы гуляют, на детской площадке, одна качается на качелях, другая рядом сидит, разговаривают: «Мне так было очково», — говорит одна, а другая отвечает ей матом. Говорю: «Что ж вы, девочки, матом так ругаетесь?» А одна говорит: «Дед, шел бы ты дальше, а то сейчас закричим, что ты ма-ньяк! И будешь бежать».

Помню, я был 4-м классе, дело в глубинке, в Аннинском районе, родители с утра до вечера на работе. Вижусь с ними рано утром или поздно вечером. И вот в утренней передаче по радио читали письма Ленина, и фраза прозвучала — он назвал Троцкого политической проституткой. Я пошел к маме: «Я вот такое слово услышал — проститутка. По радио сказали!»

Мама промолчала. Отец слышал, подозвал меня, отвел в сторонку и сказал: «Ты еще маленький. Тебе такие слова употреблять пока нельзя». Он был фронтовик и в бой наверняка шел с соответствующими словами. Но он знал, для чего нужны эти слова.

От обстановки, воспитания все зависит. В детских садах сейчас действительно много воспитателей с низкой культурой, они приехали из деревни, привезли свой язык, и дети у них учатся.

Я бы хотел перейти к резолюции, проект которой нам дали. Здесь есть вещи, которые мне напоминают постановления партийных органов. Кому мы адресуем эти положения и какие механизмы для реализации тех посылов, которые в документе заложены, у нас есть? Все правильно написано. Но что значит: не следует навязывать, надо информировать о законодательных актах... Нам никто ничего не навязывает. В Москве авторы, о которых мы говорили, сами, по своей воле используют ненормативный язык.

Сейчас, кстати, много литературы издается помимо писательских организаций. В позапрошлом году департамент образования, науки и молодежной науки помог издать альманах молодых писателей. Есть там нормальные стихи, но в некоторых местах — слова явно нецензурные, о которых упоминал профессор Стернин. Говорил я об этом на каком-то форуме в библиотеке, говорил на заседании совета по книгоизданию при департаменте культуры. Но в этой среде, скажу, есть разные мнения — говорят, поэт имеет право, писатель имеет право... При участии органа власти, считаю, такого безобразия не должно быть.

И еще раз о резолюции. В резолюции никого не надо обязывать. Надо избирать другие механизмы для пропаганды. Семинар на базе «Подъёма» — в пользу пойдет, это нужно, но ничего не надо навязывать. Писателю надо только объяснять.

О выступлении Т.А. Никоновой. Не знают, кто такой Евгений Онегин. Придет время — будут знать. Такой пример. Мы решили инициировать установку памятника Андрею Соколову. Выпускницу журфака, которая стажировалась в газете «Коммуна» и хотела работать у нас, послал опросить на улице 5-7 человек, нужен ли в Воронеже памятник Андрею Соколову. Есть памятник собаке, котенку с улицы Лизюкова. В Москве есть памятник Василию Теркину.

Она смотрит на меня своими голубыми глазами: кто это такой?

— Шолохов, говорю, «Судьба человека». Фильм видела — «Судьба человека»?

— А, видела. Это который не закусывал?

Но ведь это памятник русскому характеру, а не тому, кто не закусывал.

Да, этот характер позволял себе крутые выражения. Мой покойный друг писатель Василий Песков тоже анекдоты без этой «соли» не рассказывал, но в произведениях мат не использовал.

Никифоров А.К.

— Мне все выступления понравились, особенно Т.А. Никоновой. Но коренной вопрос: в чем причина, что такая речь появилась у молодежи?

Я в 1949 году поступил в Томский университет, сельский житель. В студенческом общежитии за 5 лет не помню, что бы мы ругались матом при девочках. Были и в колхозе, и сивухой баловались, но этого не было. Пошлого анекдота не было. Что произошло? Пятиклассники хуже портового рабочего при перекурах выражаются.

Я 53 года с женой прожил. У нас в семье «сволочь» — самое крепкое ругательное слово было. Мне кажется, что это оборотная сторона произошедшей дебилизации молодежи. Недавно беседовал с одним выпускником воронежского вуза — попросили поговорить с ним на предмет его пригодности к работе в органах госбезопасности. Спрашиваю — кого из русских императоров знаешь?

— Не знаю.

— А Дзержинский кто был?

— Какой-то предприниматель.

Я сказал: «Андрей, не могу вас рекомендовать. Вы отсталый человек».

В решении предлагаю отразить путь исправления, конкретно обозначить, что делать.

Никонова Т.А.

— Я о литературе не говорила — здесь тема другая сейчас обсуждается. Но причина и в литературе. Литературная молодежь сейчас понимает, что в «нулевые годы» произошел срыв в нашем сознании. «Антропологический поворот конца XX века» — это научный термин, не могу без него обойтись. И в конце XIX века то же самое было. Параллели с двадцатыми годами явно видны. Молодые писатели сейчас идут туда, в тот период, он их интересует — там был слом всего. Но потом, после ужасов гражданской войны, все восстановилось, в 30-40 годы наши правители не матерились.

Надо восстановить уважение к человеку. В сегодняшней прозе авторы болезненно переживают процесс распада уважения к человеку, утраты уважения к человеку. «Распалась связь времен» — гамлетовская тема. Но Шукшин уже об этом думал и остро поставил проблему — что с нами происходит? Мы должны это понять. Надо вернуть уважение к человеку. Ведь сниженную лексику обращают к неуважаемому человеку.

Новичихин Е.Г.

— Яркое воспоминание: я второклассник, в селе, иду по улице, на заборе матерное слово написано — и с ошибкой. Я остановился, стою и думаю — я это слово не употребляю, никогда его не напишу, но я знаю, как оно пишется, есть проверочное слово. А тот, кто его написал — не знает этого. Почему?

Молодые литераторы, которые используют мат — они тоже не знают еще, как писать, а мат уже используют.

Мы много работаем с творческой молодежью, читаю очень много и часто им говорю — это от недовоспитанности вашей вы такие слова употребляете. А они говорят: писать такими словами — это уже требование художественности. Но ее тут нет, художественности. А вот мат уже есть.

А вообще мы слишком увлеклись проблемой мата. Это не главная проблема современного языка, есть много других.

У меня только что вышла книга о Корольковой, я там привожу про сказительницу Королькову пример, который мне рассказал журналист Эдуард Ефремов. Он пришел к ней брать интервью, собирается уходить, ее дочь спрашивает:

— Мама, почему ты не подарила ему книжку свою, что только что вышла?

А сказительница говорит:

— Я Эдику эту книжку дарить не буду, редактор-профессор весь живой язык убрал из моей книжки.

Это ведь тоже проблема. Надо, конечно, работать с писателями.

Стернин И.А.

— Я хочу сказать о пункте проекта решения: «Информировать писателей о состоянии современного состоянии языка и законах о языке».

Я получил письмо от одного старика — письмо в ФСБ, губернатору, еще кому-то в верхах. И копия — мне. Этот старик пишет, что он в Петровском клубе слушал молодых поэтов и крайне возмущен их стихами и особенно их языком — это гибель русского языка, он пишет, ужас, а не поэзия. Пишет, что на этом вечере были представители Союза писателей, но ни слова не проронили, никакого замечания не сделали, сидели и не вмешивались. Как на такие письма реагировать? Мне однажды Ю.Д. Гончаров позвонил: «Караул, смертоубийство!» В его произведении редактор выбросил буквы ё, что изменило смысл. Как реагировать на это?

Дьякова Л.Н.

— Мы в передаче о русском языке «Территория слова» с Иосифом Абрамовичем часто обсуждаем, с чего начинать борьбу за культуру речи и грамотность. Слушатели спрашивают. И мы всегда говорим: надо делать замечания тем, кто говорит неправильно.

Я на днях прочитала прекрасный текст в Интернете, но там был мат. Но текст мне так понравился, что я не удержалась и «лайкнула». Так наш преподаватель, зав. кафедрой стилистики и литературного редактирования, член нашего совета А.М. Шишлянникова меня дождалась и укорила: как можно хвалить такие тексты? Я поняла — сами мы должны подавать пример.

Суровцев И.С.

— Я пытался делать в Думе замечания — не говорите инженерá. А там почти все так говорят. Мы книжечку по культуре речи во ВГАСУ сделали, так мой друг-журналист ее посмотрел и признался, что многого до сих пор не знал. Я сам нашел кое-что новое для себя — всю жизнь говорил катарсис, а литературная норма — катарсис. Вопрос — кому делать замечания, чтобы услышали? Услышат ли?

Помню, в Якутии в стройотряде с юристом кладем печку. Я делал ему замечания, а он надулся и сказал: «Если ты такой умный, давай я с тобой буду на Вы».

Стернин И.А.

— Учительница по культуре общения рассказывала, как она делает в маршрутке на Новую Усмань замечания матерящимся молодым людям: «Ребята, через несколько лет вы будете за эти слова ругать своих детей». Замолчали, задумались.

Еще хочу сказать, повышение квалификации по русскому языку и культуре речи необходимо. Проводится профессиональная переподготовка — включите раздел по русскому языку. Мы с государственными чиновниками Воронежской области уже 4 года работаем, проводим для них курсы повышения квалификации «Культура устной и письменной речи государственного гражданского служащего», «Эффективное общение». Они приходят сначала несколько настороженные, а потом очень довольны: узнают то, о чем хотели спросить, но стеснялись или не у кого было, или времени не было.

Надо везде в профессиональную подготовку вставлять разделы по русскому языку. Люди это понимают.

Нервин В.М.

— Есть такой афоризм — «Культура — это умение материться без мата». У нас поводы материться есть всегда — от состояния дорог до деятельности Центробанка. Но воронежские писатели — люди культурные, они обладают достаточными средствами выразительности, чтобы донести свою мысль без мата, у них есть другие средства выразительности.

Стернин И.А.

— Сердечно благодарю участников сегодняшнего разговора. Нам надо встречаться, надо обсуждать наши проблемы. Я хочу обратить внимание членов нашего Совета, что у нас региональный Совет и нам по статусу следует прежде всего обсуждать региональные проблемы языка — не общие дискуссии об иностранных словах и культуре вообще, а местные проблемы и предлагать решения, направленные на улучшение ситуации в нашем регионе.

Материалы «круглого стола» подготовили
И.А. СТЕРНИН и С.А. ПОПОВ





Станислав Хатунцев

«ОПТИНСКИЙ ОТШЕЛЬНИК» В КРУГУ УЧЕНИКОВ

(Новая книга Ольги Фетисенко о философе Н.К. Леонтьеве)

Работа О.Л. Фетисенко¹ — это крупнейший фундаментальный труд в области леонтьевоведения в последние годы с абсолютно оригинальной темой — прежде всего в том, что касается отношений Леонтьева со своими учениками. Впервые в историографии фигуры этих учеников освещены и исследованы подробно, причем с документальной стороны, на основании источников. В этом смысле исследование Фетисенко сделано новаторски, при этом тщательно и скрупулезно.

«Светилом» Константин Николаевич по своему влиянию на жизнь и политику, на русскую мысль и на общественное мнение России не стал — в отличие от А.И. Герцена, Н.Г. Чернышевского, Н.К. Михайловского, Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского. Даже в отличие от Владимира Сергеевича Соловьева. Леонтьев, подобно последнему, имел некоторый шанс превратиться во властителя дум русской интеллектуальной элиты — декадентов, символистов и т.д. Все они с началом XX столетия стали проявлять к Леонтьеву значительный интерес, особенно после революции 1905 года. Но — не сложилось, и не потому, что Леонтьев был менее

талантлив, менее умен, чем те, которые стали «властителями», не потому, что писал он плохо. Наоборот, с этим у Леонтьева как раз было все в порядке. Однако массовым, так сказать, интеллектуальным запросам своей эпохи творец «Византизма и славянства» не отвечал, а вот Николай Гаврилович, популяризатор Герцена и западных революционно-демократических идей на русской почве, им как раз соответствовал и даже их модерировал. В этом причина его успеха и относительного неуспеха Леонтьева. «Русским Солнцем» Леонтьев не стал, а стал крупной планетой на окраине солнечной системы — «Сатурном», «Юпитером». Или же далекой звездой на отшибе русского космоса с небольшой системой спутников в поле своего тяготения, тоже в основном небольших. Самое крупное и оригинальное из явлений, развившихся в данной системе, — пожалуй, о. Иосиф Фудель, своего рода «Луна», «Меркурий» леонтьевского космоса.

На него, на этот космос, и направлено в основном внимание Фетисенко. В книге изучаются связи, отношения и взаимодействия Константина Леонтьева с другими философами на разных этапах жизни и деятельности.

В корпус знаний о Леонтьеве, в том числе биографических, Фетисенко вносит немало нового. Так, отбрасывая предположения и догадки в опоре на автобиографические

¹ О.Л. Фетисенко. «Гептастилисты. Константин Леонтьев, его собеседники и ученики» (СПб., 2012. 784 с.)

тексты мыслителя, она четко заявляет о том, что настоящим его отцом был не заурядный помещик Н.Б. Леонтьев, а блистательный аристократ В.Д. Дурново, говорит о «запретной любви» Константина Николаевича и его, учитывая «фактор» В.Д. Дурново, полуплемянницы Марии Владимировны. Много интересных биографических данных содержится в последней главе монографии «...И в пределах преподобного Сергия».

Сильная сторона работы — исследование терминологии и образности Леонтьева, тех понятий, которыми он пользовался, в частности понятия «пророчество». «Пророчество» политическое в прямом смысле этого слова, как совершенно справедливо замечает Фетисенко, есть не «одобрение» того или иного события, тенденции, а лишь сообщение о них. Это важно не просто учитывать, а брать на вооружение — особенно тем, которые видят в Леонтьеве едва ли не предтечу сталинизма.

У автора много глубоких, правильных мыслей и замечаний. Например, о том, что Леонтьев скорее не публицист, а политический писатель и мыслитель, что мыслит он проективно, но вместе с тем не является утопистом, так как в принципе никогда не проповедовал «рай на земле».

Фетисенко проделала колоссальную текстологическую работу, доказывающую, в частности, что реплики из «Варшавского дневника», цитируемые как высказывания 1880 года, могут являться вариантом года 1885-го. А это два совершенно разных периода, между которыми пролегло 1 марта 1881 года (день покушения на императора Александра II). В работе вообще очень много тонкого филологического анализа, она буквально вся насыщена им — и основной текст, и «многоэтажные» подвалы примечаний: настоящий «сад расходящихся тропок», стремящихся далеко за пределы книги.

Обширные примечания, которые сами по себе могут составить целую книгу, с одной стороны, разрыхляют монографию. Но, с другой стороны, они же выводят ее в безбрежные горизонты русской культуры, общественно-политической мысли и в целом жизни России с 1850-х по 1930-е годы.

Интересны разные конкретные выводы и послы Фетисенко. Так, начало перелома в воззрениях Леонтьева, начало его ухода от

юношеского либерализма она обоснованно относит даже не к весне 1861 года, а к 1860-му, постулирует, что «прогрессивно-охранительное направление» целиком сложилось у Леонтьева к 1880-1881 годам, и своеобразным манифестом его стала предназначенная для правительственных кругов «Записка о необходимости новой большой газеты в Санкт-Петербурге». Также исследовательница отмечает, что «оптинский отшельник» на целую эпоху предвосхитил Г. Гессе с его «эпохой фельетонов», осмеянной в «Игре в бисер».

Автор монографии очень тщательно анализирует историю создания многих леонтьевских текстов, в частности «Византизма и славянства», выявляет круг чтения и соответственно многие источники, из которых его создатель мог черпать импульсы, зародыши идей и идеи, развитые им впоследствии.

В раскрытии гептастилизма в узком значении этого слова — как учения о семи столпах «нового созидания» — автор монографии идет намного дальше хорошо известного письма Леонтьева отцу И. Фуделю от 6-23 июля 1888 года, но не за зарницы и выси. Фетисенко прибавляет к этому документу новооткрытые источники — фрагменты, наброски, записки. Важнейший и интереснейший из них — найденная и впервые дешифрованная Г.Б. Кремневым записка Леонтьева своему ученику Я.А. Денисову, в которой прорисованы все семь позиций «эптастилизма», чего не встречается ни в одном из документов, известных современной науке.

Однако никакого «стройного учения» гептастилизма, явленного в четкой и законченной форме, сквозь призму которого Фетисенко стремится рассмотреть важнейшие процессы и явления консервативных течений в русской литературе указанного периода, на страницах книги нет — если, конечно, не называть этим именем воззрения Леонтьева — так, как мы называем ницшеанством взгляды Ф. Ницше. Наверное, последнее было бы правильно. В этом случае гептастилизм (или «анатолизм») не следует насильственно и непременно расписывать по «задекларированным» в его названии семи пунктам.

Гептастилизму посвящены два, от силы три десятка страниц более чем 700-странич-

ного текста книги как такового. В целом «номинальный» гептастилизм как был провозглашенной заявкой на создание доктрины, предназначенной для сотворения новой, небывало пышной четырехосновной культуры (вспомним идеал Н.Я. Данилевского), так ею и остался. И это не случайно, а совершенно закономерно. Гептастилизм «сугубый», если понимать под ним именно и исключительно «сдьмистолпие», является стройплощадкой, неким почти всегда неполным, «гуляющим» (что немаловажно) реестром государственно-культурных конструкций и помещений, которые следует возвести. Византийская плинфа со скрепляющими растворами на стройку «анатолизма» завезена — хранится себе на складах, мозаика, настенные рисунки продумываются. Но дальше мечты-«утопии» дело не пошло, да и пойти не могло, поскольку законченный семиглавый комплекс «эптастилизма» стал бы отрицанием глубинных основ всей леонтьевской мысли как таковой. Он бы перечеркнул и разрушил «гипотезу триединого процесса», потому что «узкий» гептастилизм — это о том, как пожилому уже, стареющему человеку, точнее — культурно-политическому организму (России), взять да и шагнуть в «акме» на целый жизненный срок (1000–1200 лет, по Леонтьеву, и здесь к его оценке очень близок немецкий культурфилософ XX века О. Шпенглер). Но такое в принципе невозможно, будь то человек, государство или цивилизация. Как бы реален в качестве идеала или некогда существовавшего биологического вида ни был «летающий крокодил» (птеродактиль), о котором рассуждал русский консерватор-мыслитель в своих заметках, — попробуй-ка создай чудо-монстра хотя бы в современных лабораториях. А средствами, имевшимися в конце XIX века?

«Гептастилизм» самой исследовательницы — не какая-то открытая ею «тайная доктрина» мыслителя, лежавшая до поры под спудом, а лишь реконструкция его культурно-исторической грезы. Такого рода реконструкции с разной степенью успеха и адекватности предпринимали многие исследователи Леонтьева, начиная со сборника, посвященного 20-летию со дня его смерти, и попытка автора книги находится в том же ряду, не сильно из него выбиваясь в плане гносео-

логического прорыва. Тем не менее, Фетисенко сделала хорошее и объективное обобщение, основанное на великолепном знании творческого наследия Леонтьева, на его глубокой, тщательной проработке.

Говоря о взаимоотношениях своего героя с И.С. Аксаковым, одним из его постоянных внутренних оппонентов, автор книги находит «очевидную» — если потрудиться над текстами Леонтьева так, как старатель работает с золотоносным песком — тенденцию к смягчению отзывов о нем. Учитывая, что в пореформенный период Иван Сергеевич в целом эволюционировал «вправо», это закономерно. В каких-то пунктах Аксаков даже сближался с Леонтьевым вплоть до совпадения, что отмечал историк С.М. Сергеев. Данную закономерность Фетисенко подтверждает выводом, основанным на эмпирическом материале.

Она же подмечает черту, общую для Леонтьева и Н.П. Гилярова-Платонова, столь разных и непохожих своими политическими воззрениями. Это — их всегдашний «дальний план», устремленность не в «завтра», а в «послезавтра».

Нехристианскому почитанию монарха в кругах охранителей «отвечало обожествление «народа» демократическими кругами и почвенниками». Мимо этой, казалось бы, очевидной мысли проходили целые поколения ученых — одно за другим, и лишь О.Л. Фетисенко ее озвучила.

Не могу не отметить главы о взаимоотношениях основного фигуранта книги с государственным контролером, знатоком восточного христианства и собирателем русского песенного фольклора Т.И. Филипповым. И написано хорошо, с душой — впрочем, как и вся монография, и эти самые отношения исследованы превосходно.

Анализируя «нескончаемый спор» Леонтьева с Ф.М. Достоевским, автор задается весьма нетривиальным вопросом — почему первый столь ревностно пристрастен по отношению ко второму, нет ли тут чего-нибудь личного?

Что касается рассматриваемых Фетисенко взаимоотношений мыслителя с Л.Н. Толстым, то хочется отметить: если «зеркало русской революции» называло Леонтьева скандальным «разбивателем стекол», то сам Толстой был, так сказать, «стекольщи-

ком»: он отливал и устанавливал стекла, через которые русская публика смотрела на мир — да и на войну тоже.

Очень оригинальна глава о литературных знакомствах Леонтьева в 1870-1880-х годах.

Полная новизна отличает главы о контактах мыслителя с публицистом и издателем Н.Н. Дурново и писателем И.Л. Леонтьевым (Щегловым). Ими никто и никогда не занимался, да и сами Дурново со Щегловым редко попадали в поле зрения исследователей и критиков. Интересно, что дневник последнего — единственный источник, указывающий на знакомство Леонтьева, которого в начале прошлого века стали называть «русским Ницше», с сочинениями германского философа. Это одна из ценнейших находок автора монографии.

Малоизученными до выхода «Гептастилистов» оставались также связи Леонтьева с С.Ф. Шараповым, представителем «аксаковского», то есть либерального, стиля в славянофильстве. В рассматриваемой книге они получили весьма солидное, если не фундаментальное, освещение. Фетисенко выходит далеко за рамки этих связей и очень основательно «прописывает» фигуру Шарапова.

Так, она ссылается на слова этого «запоздалого славянофила» о том, как он обрел личную веру в Бога. Но их можно было бы обыграть, сопоставив со свидетельствами Леонтьева о том, как сам он расставался с либерализмом в начале 1860-х и обратился к «личному» православию в Салониках в 1871 году.

Однако Фетисенко замечает и даже артикулирует сходство Шарапова с Шатовым из «Бесов». Оно заключается в преодолении нигилизма, исповедании славянофильских идей и мучительном пути «от национально-политического (славянофильского) исповедания к церковному». Кроме того, автор книги четко выделяет основной предмет несогласий между Шараповым и Леонтьевым. Это, помимо панславизма, понимание ими самодержавия и «вертикали власти».

Фетисенко тщательно выявляет персоналии учеников «оптинского отшельника» и в целом той молодежи, которая так или иначе попала в круг общения с ним. В частности, она выясняет, что двое из ближайшего «коммуникационного периметра» Леонтьева

ва были, пусть и недолго, обер-прокурорами Святейшего Синода. Это А.Д. Оболенский и А.В. Волжин.

Впервые во всей имеющейся историографии автор подробно, в деталях и в общем плане, говорит о таких последователях мыслителя, как Г.И. Замараев, Я.А. Денисов, Н.А. Уманов, Ф.П. Чуфрин, И.И. Кристи. Последний был ближайшим и любимейшим учеником Леонтьева, «Иоанном Богословом» гептастилизма, которого мыслитель прочит в свои преемники. Однако судьба «Ванечки», по словам Фетисенко, была нескладной, а потом и вовсе трагической.

По-новому смотрит Фетисенко и на А.А. Александрова — редактора, преподавателя, публициста. Мнение о нем высказывается не самое лестное, но — на основании глубокой проработки источников. В текстах Александрова автор книги, за редкими исключениями, находит больше официальной риторики, чем «живой души». Очень хорошо раскрыта деятельность Александрова в журнале «Русское обозрение», обрисовано само это издание, весьма примечательное и, к сожалению, остающееся практически неизученным.

Много ценных сведений изложено об о. И.И. Фуделе, также не избалованном вниманием исследователей. Автор показывает, что протоиерей, которого Константин Николаевич любил как сына, был в намного большей степени «леонтьевцем», нежели этого хотелось его собственному сыну, Сергею Иосифовичу, убежденному антилеонтьевцу.

В монографии два главных «прямых наследника» Леонтьева с их семьями как бы противопоставляются друг другу. «Православный немец»-аккуратист Фудель и его жена являются своего рода антитезой несколько неряшливому Александрову с его невыносимой «Тарасовной». Автор гораздо больше симпатизирует первой, нежели второй супружеской паре.

Фетисенко создает живые, разносторонние портреты учеников Леонтьева, что, как уже говорилось, ново, интересно, оригинально. Многие из них на сегодня являются самыми полными в историографии очерками-исследованиями о них.

Между прочим, из книги хорошо видно, что стратегического продолжения дела ве-

ликого русского консерватора через его учеников быть не могло. Да и разработанной программы у Константина Николаевича не имелось: одни только наброски, наметки, фантазии, «общие планы»...

Заключение фактически является особой главой, в основном посвященной судьбам творческого наследия Леонтьева со времени его смерти до 1917 года.

Нельзя объять необъятное. Обо всех «леонтьевских» персоналиях в одной лишь монографии не напишешь. Но вот чего, пожалуй, в ней не хватает — так это отдельного специального очерка о М.В. Леонтьевой, бывшей в кругу людей ближайших к «оптинскому отшельнику» и сыгравшей в его судьбе и сохранении памяти о нем огромную роль.

На мой взгляд, в монографии можно было бы сократить цитаты из источников, публиковавшихся ранее. Обилие больших кусков цитируемых документов местами делает работу похожей на хрестоматию или на компиляцию. Но несмотря на это складывающееся порой впечатление, перед нами — классический исследовательский текст, вышедший из-под пера нерядового филолога.

Монографию Фетисенко можно рассмотреть как серию очерков, раскрывающих единую, но очень многоплановую сюжетную линию. Полностью готовой панорамы взаимоотношений Леонтьева с окружающим миром она не дает. Это в рамках одной-единственной книги попросту невозможно. По той же причине не претендует она и на всеохватность раскрытия леонтьевской темы. Ее страницы полны прекрасными замечаниями и обобщениями, а в целом картина выходит очень разносторонней. Но порой эта разносторонность оборачивается дробностью, а иногда — рыхловатостью. В конечном итоге получается большое, многофункциональное здание с обилием причудливо разбросанных помещений, похожее на Кносский дворец. В нем уже вполне можно жить и работать, но оно еще не сдано «под ключ»; есть участки, отделка и доводка которых все еще продолжаются.

Книга Ольги Леонидовны Фетисенко не столько музей или «пешеходная экскурсия по леонтьевским местам», сколько живая, творческая лаборатория — даже, пожалуй, целый научно-исследовательский институт, в котором решаются «горячие» проблемы леонтьевоведения и ставятся новые.



